А·И·ГЕРЦЕН

КТО
ВИНОВАТ?
○
ПОВЕСТИ
○
РАССКАЗЫ
○

А·И·ГЕРЦЕН

КТО ВИНОВАТ?
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
1980

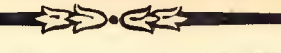
Р1
Г41

Текст печатается по изданию:
А. И. Герцен. Сочинения в девяти томах, т. 1, 8.
М., Гослитиздат, 1955—1958.

Художник М. З. ШЛОСБЕРГ

Г $\frac{4702010100-145}{044(01)-80}$ без объявл.

КТО ВИНОВАТ?



РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

Наталье Александровне Герцен
в знак глубокой симпатии
от писавшего.
Москва. 1846.

А случай сей за неоткрытием виновных предать воле божией, дело же, почислив решенным, сдать в архив.

Протокол

Кто виноват?» была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки (в 1841) и окончил гораздо позже в Москве.

Правда, еще прежде я делал опыты писать что-то вроде повестей; но одна из них не *написана*, а другая — не *повесть*. В первое время моего переезда из Вятки в Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез[1].

Разумеется, что я не сладил с своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих впоследствии стращал меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи, — я напечатаю твою повесть, она у меня!» По счастью, он не исполнил своей угрозы.

В конце 1840 были напечатаны в «Отечественных записках» отрывки из «Записок одного молодого человека»,— «Город Малинов и малиновцы» нравились многим; что касается до остального, в них заметно сильное влияние гейневских «Reisebilder»[2].

Зато «Малинов» чуть не навлек мне бед.

Один вятский советник хотел жаловаться министру внутренних дел и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновников в г. Малинове до того похожи на почтенных сослуживцев его, что от этого может пострадать уважение к ним от подчиненных. Один из моих вятских знакомых спрашивал, какие у него дока-

[1] «Былое и думы». — «Полярная звезда», III, с. 95—98. *(Примеч. А. И. Герцена.)*

[2] «Путевых картин» (*нем.*).

зательства на то, что малиновцы — *пашквиль* на вятичей. Советник отвечал ему: «Тысячи»; например, **а в т о р** прямо говорит, что у жены директора гимназии бальное платье брусничного цвета, — ну разве не так?» Это дошло до директорши, — та взбесилась, да не на меня, а на советника. «Что он, слеп или из ума шутит? — говорила она. — Где он видел у меня платье брусничного цвета? У меня, действительно, было темное платье, но цвету *пансэ*». Этот оттенок в колорите сделал мне истинную услугу. Раздосадованный советник бросил дело, — а будь у директорши в самом деле платье брусничного цвета да напиши советник, так в те прекрасные времена брусничный цвет наделал бы мне, наверное, больше вреда, чем брусничный сок Лариных мог повредить Онегину.

Успех «Малинова» заставил меня приняться за «Кто виноват?».

Первую часть повести я привез из Новгорода в Москву. Она не понравилась московским друзьям, и я бросил ее. Несколько лет спустя мнение об ней изменилось, но я и не думал ни печатать, ни продолжать ее. Белинский взял у меня как-то потом рукопись, — и с своей способностью увлекаться он, совсем напротив, переценил повесть в сто раз больше ее достоинства и писал ко мне: «Если бы я не ценил в тебе человека, так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира», сказал бы тебе: «Умри, Герцен!» Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал «Недоросля». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать: «*Он прав,* давно бы ему приняться за повесть!» Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур».

Цензура сделала разные урезывания и вырезывания, — жаль, что у меня нет ее обрезков. Несколько выражений я вспомнил (они напечатаны курсивом) и даже целую страницу (и то, когда лист был отпечатан, и прибавил его к стр. 38[1]). Это место мне особенно памятно потому, что Белинский выходил из себя за то, что его не пропустили.

8 июня 1859 г.
Park-House, Fulham

И-р

[1] Страница 28 настоящего издания.



Часть первая

I. ОТСТАВНОЙ ГЕНЕРАЛ И УЧИТЕЛЬ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ К МЕСТУ

Дело шло к вечеру. Алексей Абрамович стоял на балконе: он еще не мог прийти в себя после двухчасового послеобеденного сна; глаза его лениво раскрывались, и он время от времени зевал. Вошел слуга с каким-то докладом; но Алексей Абрамович не считал нужным его заметить, а слуга не смел потревожить барина. Так прошло минуты две-три, по окончании которых Алексей Абрамович спросил:

— Что ты?

— Покаместь ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли из Москвы, которого доктор нанял.

— А? (что, собственно, тут следует: вопросительный знак (?) или восклицательный (!) — обстоятельства не решили).

— Я его провел в комнатку, где жил немец, что изволили отпустить.

— А!

— Он просил сказать, когда изволите проснуться.

— Позови его.

И лицо Алексея Абрамовича сделалось доблестнее и величественнее. Через несколько минут явился казачок и доложил:

— Учитель вошел-с.

Алексей Абрамович помолчал, потом, грозно взглянув на казачка, заметил:

— Что у тебя, у дурака, мука во рту, что ли? Мямлит, ничего не поймешь. — Впрочем, прибавил, не дожидаясь повторения: — Позови учителя, — и тотчас сел.

Молодой человек лет двадцати трех-четырех, жиденький, бледный, с белокурыми волосами и в довольно узком черном фраке, робко и смешавшись, явился на сцену.

— Здравствуйте, почтеннейший! — сказал генерал, благосклонно улыбаясь и не вставая с места. — Мой доктор очень хорошо отзывался об вас; я надеюсь, мы будем друг другом довольны. Эй, Васька! (При этом он свистнул.) Что ж ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, так и не надо. У-у! Когда вас оболванишь и сделаешь похожими на людей! Прошу покорно. У меня, почтеннейший, сын-с; мальчик добрый, со способностями, хочу его в военную школу приготовить. По-французски он у меня говорит, по-немецки не то чтоб говорил, а понимает. Немчура попался пьяный, не занимался им, да и, признаться, я больше его употреблял по хозяйству, — вот он жил в той комнате, что вам отвели; я прогнал его. Скажу вам откровенно, мне не нужно, чтоб из моего сына вышел магистер или философ; однако, почтеннейший, я хоть и слава богу, но две тысячи пятьсот рублей платить даром не стану. В наше время, сами знаете, и для военной службы требуют все эти грамматики, арифметики... Эй, Васька, позови Михайла Алексеича!

Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и собирался что-то сказать; у него шумело в ушах от прилива крови; он даже не вовсе отчетливо понимал слова генерала, но чувствовал, что вся его речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой коже против шерсти. По окончании воззвания он сказал:

— Принимая на себя обязанность быть учителем вашего сына, я поступлю, как совесть и честь... разумеется, насколько силы мои... впрочем, я употреблю все старания, чтоб оправдать доверие ваше... вашего превосходительства...

Алексей Абрамович перебил его:

— Мое превосходительство, любезнейший, лишнего не потребует. Главное — уменье заохотить ученика, этак, шутя, понимаете? Ведь вы кончили ученье?

— Как же, я кандидат.

— Это какой-то новый чин?

— Ученая степень.

— А позвольте, здравствуют ваши родители?

— Живы-с.
— Духовного звания?
— Отец мой уездный лекарь.
— А вы по медицинской части шли?
— По физико-математическому отделению.
— По-латыни знаете?
— Знаю-с.

— Это совершенно ненужный язык; для докторов, конечно, нельзя же при больном говорить, что завтра ноги протянет; а нам зачем? помилуйте...

Не знаем, долго ли бы продолжалась ученая беседа, если б ее не прервал Михайло Алексеевич, то есть Миша, тринадцатилетний мальчик, здоровый, краснощекий, упитанный и загоревший; он был в куртке, из которой умел в несколько месяцев вырасти, и имел вид общий всем дюжинным детям богатых помещиков, живущих в деревне.

— Вот твой новый учитель, — сказал отец.

Миша шаркнул ногой.

— Слушайся его, учись хорошенько; я не жалею денег — твое дело уметь пользоваться.

Учитель встал, учтиво поклонился Мише, взял его за руку и с кротким, добрым видом сказал ему, что он сделает все, что может, чтоб облегчить занятия и заохотить ученика.

— Он уже кой-чему учился, — заметил Алексей Абрамович, — у мадамы, живущей у нас; да поп учил его — он из семинаристов, наш сельский поп. Да вот, милый мой, пожалуйста, поэкзаменуйте его.

Учитель сконфузился, долго думал, что бы спросить, и наконец сказал:

— Скажите мне, какой предмет грамматики?

Миша посмотрел по сторонам, поковырял в носу и сказал:

— Российской грамматики?
— Все равно, вообще.
— Этому мы не учились.
— Что ж с тобой делал поп? — спросил грозно отец.
— Мы, папашенька учили российскую грамматику до деепричастия и катехизец до таинств.
— Ну поди покажи классную комнату... Позвольте, как вас зовут?
— Дмитрием, — отвечал учитель, покраснев.
— А по батюшке?

— Яковлевым.

— А, Дмитрий Яковлич! Вы не хотите ли с дороги перекусить, выпить водки?

— Я ничего не пью, кроме воды.

«Притворяется!» — подумал Алексей Абрамович, чрезвычайно уставший после продолжительного ученого разговора, и отправился в диванную к жене. Глафира Львовна почивала на мягком турецком диване. Она была в блузе: это ее любимый костюм, потому что все другие теснят ее; пятнадцать лет истинно благополучного замужества пошли ей впрок: она сделалась Adansonia baobab[1] между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она подняла заспанную голову, долго не могла прийти в себя и, как будто отроду в первый раз уснула не вовремя, с удивлением воскликнула: «Ах, боже мой! Ведь я, кажется, уснула? представь себе!» Алексей Абрамович начал ей отдавать отчет о своих трудах на пользу воспитания Миши. Глафира Львовна была всем довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякий день перед чаем кушала квас.

Не все бедствия кончились для Дмитрия Яковлевича аудиенцией у Алексея Абрамовича; он сидел, молчаливый и взволнованный, в классной комнате, когда вошел человек и позвал его к чаю. Доселе наш кандидат никогда не бывал в дамском обществе; он питал к женщинам какое-то инстинктуальное чувство уважения; они были для него окружены каким-то нимбом; видел он их или на бульваре, разряженными и неприступными, или на сцене московского театра, — там все уродливые фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведут представлять к генеральше, да и одна ли она будет? Миша успел ему рассказать, что у него есть сестра, что у них живет мадам да еще какая-то Любонька. Дмитрию Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, каких лет сестра Миши; он начинал об этом речь раза три, но не смел спросить, боясь, что лицо его вспыхнет. «Что же? пойдемте-с!» — сказал Миша, который с дипломатией, общей всем избалованным детям, был чрезвычайно скромен и тих с посторонним. Кандидат, вставая, не надеялся, поднимут ли его ноги; руки у него охолодели и были влажны; он сделал гигантское усилие и вошел, близкий к

[1] Баобаб (*лат.*).

обмороку, в диванную; в дверях он почтительно раскланялся с горничной, которая выходила, поставив самовар.

— Глаша, — сказал Алексей Абрамович,— рекомендую тебе — новый ментор нашего Миши.

Кандидат кланялся.

— Мне очень приятно, — сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и с некоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. — Наш Миша так давно нуждается в хорошем наставнике; мы, право, не знаем, как благодарить Семена Иваныча, что он доставил нам ваше знакомство. Прошу вас быть без церемонии; не угодно ли вам сесть?

— Я все сидел, — пробормотал кандидат, истинно сам не зная, что говорил.

— Не стоя же ехать в кибитке! — сострил генерал.

Это замечание окончательно погубило кандидата; он взял стул, поставил его как-то эксцентрически и чуть не сел возле. Глаз он боялся поднять, как пущего несчастия; может быть, девицы тут в комнате, а если он их увидит, надобно будет поклониться, — как? Да и потом, вероятно, надобно было не садившись поклониться.

— Я тебе говорил, — сказал генерал вполслуха, — красная девка!

— Le pauvre, il est à plaindre[1], — заметила Глафира Львовна, кусая жирные губки свои.

Глафире Львовне с первого взгляда понравился молодой человек; на это было много причин: во-первых, Дмитрий Яковлевич с своими большими голубыми глазами был *интересен;* во-вторых, Глафира Львовна, кроме мужа, лакеев, кучеров да старика доктора, редко видала мужчин, особенно молодых, интересных,—а она, как мы после узнаем, любила, по старой памяти, платонические мечтания; в-третьих, женщины в некоторых летах смотрят на юношу с тем непонятно влекущим чувством, с которым обыкновенно мужчины смотрят на девушек. Кажется, будто это чувство близко к состраданию, — чувство материнское, — что им хочется взять под свое покровительство беззащитных, робких, неопытных, их полелеять, поласкать, отогреть; это кажется всего более им самим: мы не так думаем об этом, но не считаем нужным говорить, как думаем... Глафира

[1] Бедняжка, он достоин жалости (*фр.*).

Львовна сама подвинула чашку чая кандидату; он сильно прихлебнул и обварил язык и нёбо, но скрыл боль с твердостью Муция Сцеволы. Это обстоятельство было благотворно для него: сделалось отвлечение, и он немного успокоился. Мало-помалу он начинал даже подымать взоры. На диване сидела Глафира Львовна; перед нею стоял стол, и на столе огромный самовар возвышался, как какой-нибудь памятник в индийском вкусе. Против нее — для того ли, чтоб пользоваться милым vis-à-vis[1], или для того, чтоб не видать его за самоваром, — вдавливал в пол какие-то дедовские кресла Алексей Абрамович; за креслами стояла девочка лет десяти с чрезвычайно глупым видом; она выглядывала из-за отца на учителя: ее-то трепетал храбрый кандидат! Миша находился также за столом; перед ним миска кислого молока и толстый ломоть решетного хлеба. Из-под салфетки, покрывавшей стол и на которой был представлен довольно удачно город Ярославль, оканчивавшийся со всех сторон медведем, высовывалась голова легавой собаки; драпри скатерти придавали ей какой-то египетский вид: она неподвижно вперила два жиром заплывшие глаза на кандидата. У окна, на креслах, с чулком в руке,— миньятюрная старушка, с веселым и сморщившимся видом, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. Дмитрий Яковлевич догадался, что это француженка-мадам. У дверей стоял казачок, подававший Алексею Абрамовичу трубку; возле него горничная, в ситцевом платье с холстинными рукавами, ожидавшая с каким-то благоговением, когда господа окончат церемонию пития чая. Еще одно лицо присутствовало в комнате, но его Дмитрий Яковлевич не видал, потому что оно было наклонено к пяльцам. Лицо это принадлежало бедной девушке, которую воспитывал добрый генерал. Разговор долго не клеился, да и когда склеился, был как-то отрывчат, не нужен и утомителен для кандидата.

Странно было это столкновение жизни бедного молодого человека с жизнью семьи богатого помещика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до скончания века не встречаясь. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося, каким-то диссонансом попала в тучную жизнь

[1] Здесь: в смысле — сидящим напротив (*фр.*).

Алексея Абрамовича и его супруги,— попала, как птица в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека, совершенно не знавшего практического мира и неопытного.

Но что это за люди такие — генеральская чета, блаженствующая и преуспевающая в счастливом браке, этот юноша, назначенный для выделки Мишиной головы настолько, чтоб мальчик мог вступить в какую-нибудь военную школу?

Я не умею писать повестей: может быть, именно потому мне кажется вовсе не излишним предварить рассказ некоторыми биографическими сведениями, почерпнутыми из очень верных источников. Разумеется, сначала —

II. БИОГРАФИЯ ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВ

Алексей Абрамович Негров, отставной генерал-майор и кавалер, толстый, рослый мужчина, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен, мог служить лучшим и полнейшим опровержением на знаменитую книгу Гуфланда «О продолжении жизни человеческой». Он вел себя диаметрально противоположно каждой странице Гуфланда — и был постоянно здоров и румян. Одно правило гигиены он исполнял только: не расстроивал пищеварения умственными напряжениями и, может быть, этим стяжал право не исполнять всего остального. Строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жестокий на деле, нельзя сказать, что он был злой человек от природы; всматриваясь в резкие черты его лица, не совсем уничтожившиеся в мясных дополнениях, в густые черные брови и блестящие глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила в нем не одну возможность. Четырнадцати лет, воспитанный природой и француженкой, жившей у его сестры, Негров был записан в кавалерийский полк; получая много денег от нежной родительницы, он лихо проводил свою юность. После кампании 1812 года Негров был произведен в полковники; полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиром; военная служба начала ему надоедать, и он, послужив еще немного и «находя себя не способ-

ным продолжать службу по расстроенному здоровью», вышел в отставку и вынес с собою генерал-майорский чин, усы, на которых оставались всегда частицы всех блюд обеда, и мундир для важных оказий. Когда отставной генерал поселился в Москве, которая успела уже обстроиться после пожара, перед ним открылась бесконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятия, которым бы он умел или хотел заняться. Он ездил из дома в дом, поигрывал в карты, обедал в клубе, являлся в первом ряду кресел в театре, являлся на балах, завел себе две четверки прекрасных лошадей, холил их, учил денно и нощно словами и руками кучера, сам преподавал тайну конной езды форейтору... Так прошло года полтора; наконец кучер выучился сидеть на козлах и держать вожжи, форейтор выучился сидеть на лошади и держать поводья, скука одолела Негрова; он решился ехать в деревню хозяйничать и уверил себя, что эта поездка необходима для предупреждения важного расстройства. Теория его хозяйства была очень несложна: он бранил всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были, с своей стороны, довольны барином: о крестьянах не знаю, они молчали. Месяца через два в окнах господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками. В то же самое время староста, нисколько не занимавшийся устройством деревни, доложил енаралу, что у Емельки Барбаша изба плоха и что не соблаговолит ли Алексей Абрамович явить отеческую милость и дать ему леску. Лес был пункт помешательства Алексея Абрамовича; он себе на гроб не скоро бы решился срубить дерево; но... но тут он был в добром расположении духа и разрешил Барбашу нарубить леса на избу, прибавив старосте: «Да ты смотри у меня, рыжая бестия, за лишнее бревно — ребро». Староста сбегал на заднее крыльцо и доложил Авдотье Емельяновне о полном успехе, называя ее «матушкой и заступницей». Бедняжка краснела до ушей, но в простоте душевной была рада, что у отца ее будет новая изба. Мы находим в источниках наших мало сведений о завоевании голубых

глазок, о встрече с ними. Я полагаю — потому, что эти победы делаются очень просто.

Как бы то ни было, сельская жизнь, в свою очередь, надоела Негрову: он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву. Багаж его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенок ехали в особой бричке. В Москве их поместили в комнатку окнами на двор. Алексей Абрамович любил малютку, любил Дуню, любил и кормилицу, — это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было беспрестанно тошно,— доктор сказал, что она не может больше кормить. Генерал жалел об ней: «Вот попалась редкая кормилица: и здоровая, и усердная, и такая услужливая, да молоко испортилось... досадно!» Он подарил ей двадцать рублей, отдал повойник и отпустил для излечения к мужу. Доктор советовал заменить кормилицу козою,— так было и сделано; коза была здорова. Алексей Абрамович ее очень любил, давал ей собственноручно черный хлеб, ласкал ее, но это не помешало ей выкормить ребенка. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, как и в первый приезд; он его выдержал около двух лет, но далее не мог. Совершенное отсутствие всякой определенной деятельности невыносимо для человека. Животное полагает, что все его дело — жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. Хотя Негров с двенадцати часов утра и до двенадцати ночи не бывал дома, но все же скука мучила его; на этот раз ему и в деревню не хотелось; долго владела им хандра, и он чаще обыкновенного давал отеческие уроки своему камердинеру и реже бывал в комнате окнами на двор. Однажды, воротившись домой, он был в необыкновенном состоянии духа, чем-то занят, то морщил лоб, то улыбался, долго ходил по комнате и вдруг остановился с решительным видом. Заметно было, что дело внутри кончено. Кончив внутри, он свистнул,— свистнул так, что спавший в другой комнате на стуле казачок от испуга бросился в противоположную сторону от двери и насилу после сыскал. «Спишь все, щенок,— сказал ему генерал, но не тем громовым голосом, после которого сыпались отеческие молнии, а так, просто.— Поди скажи Мишке, чтоб

завтра чем свет сходил к немцу-каретнику и привел бы его ко мне к восьми часам, да непременно привел бы». Видно было, что камень свалился с плеч Алексея Абрамовича, и он мог спокойно опочить. На другой день, в восемь часов утра, явился каретник-немец, а в десять окончилась конференция, в которой с большою отчетливостью и подробностью заказана была четвероместная карета, кузов мордоре-фонсе[1], гербы золотые, сукно пунцовое, басон коклико, парадные козлы о трех чехлах.

Четвероместная карета значила ни более ни менее как то, что Алексей Абрамович намерен жениться. Намерение это вскоре обнаружилось недвусмысленными признаками. После каретника он позвал своего камердинера. В длинной и довольно нескладной речи (что служит к большой чести Негрова, ибо в этой нескладности отразилось что-то вроде того, что у людей называется совестью) он изъявил ему свое благоволение за его службу и намерение наградить его примерным образом. Камердинер понять не мог, куда это идет, кланялся и говорил учтивости вроде: «Кому ж нам и угождать, как не вашему превосходительству; вы наши отцы, мы ваши дети». Комедия эта надоела Негрову, и он в кратких, но выразительных словах объявил камердинеру, что он позволяет ему жениться на Дуньке. Камердинер был человек умный и сметливый, и хотя его очень поразила нежданная милость господина, но в два мига он расчел все шансы pro и contra[2] и попросил у него поцеловать ручку за милость и неоставление: нареченный жених понял, в чем дело; однако ж, думал он, не совсем же в немилость посылают Авдотью Емельяновну, коли за меня отдают: я человек близкий, да и баринов нрав знаю; да и жену иметь такую красивую недурно. Словом, жених был доволен. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она невеста, поплакала, погрустила, но, имея в виду или ехать в деревню к отцу, или быть женою камердинера, решилась на последнее. Она без содрогания не могла вздумать, как бывшие ее подруги будут над ней смеяться; она вспомнила, что и во времена ее силы и славы они ее называли вполслуха *полубарыней*. Через неделю их обвенчали. Когда, на

[1] темно-коричневого цвета с металлическим оттенком (от *фр.* mordorě fonsě)

[2] за и против (*лат.*).

другое утро, молодые пришли с конфектами на поклон, Негров был весел, подарил новобрачным сто рублей и сказал повару, случившемуся тут: « Учись, осел, люблю наказать, люблю и жаловать: служил хорошо, и ему хорошо». Повар отвечал: «Слушаю, ваше превосходительство», но на лице его было написано: «Ведь я же тебя надуваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести; дурака нашел!» Вечером камердинер давал пир, от которого вся дворня двое суток пахла водкой, и, точно, он расходов не пожалел. Была, впрочем, мучительно горькая минута для бедной Дуни: маленькую кроватку, а с нею и дочь ее велели перенести в людскую. Дуня безмерно любила малютку всей простой, безыскусственной душой. Алексея Абрамовича она боялась — остальные в доме боялись ее, хотя она никогда никому не сделала вреда; обреченная томному гаремному заключению, она всю потребность любви, все требования на жизнь сосредоточила в ребенке; неразвитая, подавленная душа ее была хороша; она, безответная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорблениями, не могла вынести одного — жестокого обращения Негрова с ребенком, когда тот чуть ему надоедал; она поднимала тогда голос, дрожащий не страхом, а гневом; она презирала в эти минуты Негрова, и Негров, как будто чувствуя свое унизительное положение, осыпал ее бранью и уходил, хлопнув дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колени перед иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись,— говорила она,— молись, мое сокровище, идем мы с тобою мыкать горе; пресвятая богородица, заступись за ребенка малого, ни в чем не виноватого... А я-то, глупая, думала: вырастет она, моя сердечная, будет ездить в карете да ходить в шелковых платьях; из-за двери в щелочку посмотрела бы на тебя тогда; спряталась бы от тебя, мой ангел,— что тебе за мать крестьянка!.. А теперь вырастешь ты не на радость себе: сделают тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мылом объест... Господи боже мой! Чем пред тобой согрешил младенец?..» И Дуня, рыдая, бросилась на пол; сердце ее раздиралось на части; испуганная малютка уцепилась за нее руками, плакала и смотрела на нее такими глазами, как будто все понимала... Через час кроватка была в людской, и Алексей Абрамович прика-

вал камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? В Москве есть особая varietas[1] рода человеческого; мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам; однообразный порядок и какое-то затаенное озлобление против всего нового составляет главный характер обитателей этих домов, глубоко стоящих на дворе, с покривившимися колоннами и нечистыми сенями; они воображают себя представителями нашего национального быта, потому что им «квас нужен, как воздух», потому что они в санях ездят, как в карете, берут за собой двух лакеев и целый год живут на запасах, привозимых из Пензы и Симбирска. В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинишна. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром, и он писал ей в альбом силлабическим размером мадригал, «сиречь виршную хвалебницу», в которой один стих оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующий стих — словами: «толь протерва». Но от природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихам, ожидая какой-то блестящей партии. Между тем отец ее умер, а брат, управлявший нераздельным имением, лет в десять пропил и проиграл почти все достояние. Столичная жизнь стала слишком дорога; надобно было жить скромнее. Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за тридцать лет, и она разом открыла две ужасные вещи: состояние расстроено, а молодость миновала. Тут она сделала несколько отчаянных опытов выйти замуж — они не удались; тогда, запрятав страшную злобу внутри своей груди, она переселилась в Москву, говоря, что ей шум большого света опротивел и что она ищет одного покоя. Сначала в Москве ее носили на руках, считали за особенную рекомендацию на светское значение ездить к графине; но мало-помалу желчный язык ее и нестерпимая надменность отучили от ее дома почти всех. Брошенная, оставленная всеми, старая дева еще более исполнилась негодованием и нена-

[1] разновидность (*лат.*).

вистью, окружила себя разными приживающими старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всех концов города, ужасалась развратному веку и ставила себе в высокое достоинство свое бесконечное девство. Граф-братец, окончательно промотавший свое имение, для поправки состояния решился на геройский подвиг для того времени — женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекал ее происхождением, проиграл до копейки приданое, согнал ее со двора, опился и умер. Год спустя умерла и жена, оставив после себя пятилетнюю дочь без всякого состояния. Мавра Ильинишна взяла ее к себе на воспитание. Мудрено сказать, что побудило ее к этому: фамильная гордость, участие к ребенку или ненависть к брату,— как бы то ни было, жизнь маленькой девочки была некрасива: она была лишена всех радостей своего возраста, застращена, запугана, притеснена. Эгоизм старух-девиц ужасен: он хочет выместить на всем окружающем пробелы, оставшиеся в их вымороженном сердце. Безотрадно и скучно подрастала маленькая графиня; по несчастию, она не принадлежала к тем натурам, которые развиваются от внешнего гнета; начав приходить в сознание, она нашла в себе два сильные чувства: непреодолимое желание внешних удовольствий и сильную ненависть к образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племяннице никакого рассеяния, но убивала претщательно все удовольствия и невинные наслаждения, которые она сама находила; она думала, что жизнь молодой девушки только для того и назначена, чтоб читать ей вслух, когда она спит, и ходить за нею остальное время; она хотела поглотить всю юность ее, высосать все свежие соки души её — в благодарность за воспитание, которого она ей не давала, но которым упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сделалась невестой, и весьма невестой,— ей было уже двадцать три года. Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли — вырваться из ада теткина дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксус, чтоб получить чахотку, но он не помогал ей; она хотела идти в монастырь, но в ней не было довольно решимости. Вскоре мысли ее приняли другой оборот. Старинные французские романы, которые она,

не знаю как, отрыла в теткином гардеробе, пояснили ей, что есть, кроме смерти и монастыря, значительные утешения; она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую, с усами и кудрями. Тысячи романических картин мучили ее и день и ночь; она сочиняла себе целые повести: он ее увозит, их преследуют, «любить им не велят», раздаются выстрелы... «Ты моя навеки!» — говорит он, сжимая пистолет, и проч. На эту тему с бесчисленными вариациями сводились все мечты, все помыслы ее, все сновидения, и бедная с ужасом просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозит, никто не говорит: «ты моя навеки»,— и тяжело подымалась ее грудь, и слезы лились на ее подушки, и она с каким-то отчаянием пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще с большим — шнуровалась потом, зная, что некому любоваться на ее стан. Такое состояние духа не могло быть вполне побеждено сывороткой, а вело прямо к сентиментальности и экзальтации. Графиня начала покровительствовать всех горничных и прижимать к сердцу засаленных детей кучера,— период, после которого девушке или тотчас надобно идти замуж, или начать нюхать табак, любить кошек и стриженых собачонок и не принадлежать ни к мужескому, ни к женскому полу. По счастию, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и в эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: *зовущее* всего существа ее, ее томные глаза, ее неровно подымающаяся грудь победили Негрова. Он увидел ее раз у Старого Вознесенья — и судьба его жизни была решена. Генерал вспомнил корнетские годы, начал искать всевозможных случаев увидеть графиню, ждал часы целые на паперти и несколько конфузился, когда из допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню с видом вороны в чепчике и мешали выпрыгнуть молодой графине с видом центифольной розы. У генерала была в Москве двоюродная сестра... У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кузине,— та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она

тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала; кузина выгнала из ближней комнаты горничных, чтоб никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с раскрасневшимся лицом выбежала от кузины и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день, утром в девять часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в одиннадцать часов и еще не приходила; наконец желанная гостья явилась, и с нею другая особа, в чепчике; словом, дело кипело с необычайною быстротою и с достодолжным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены: с окон сняли сторы из равендука и велели вымыть, замки было велено вычистить кирпичом с квасом (суррогат уксуса); в передней, где ужасно пахло кожей, оттого что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми, Мавра Ильинишна была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею и сама осматривала ее с ног до головы.

— Да для чего, это, maman, вы мне приказываете одеваться? Разве будут гости?

— Не твое дело, душечка,— отвечала графиня, но добрым, приветливым голосом.

Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло от огня, пробежавшего по ее жилам; она догадывалась, подозревала, не смела верить, не смела не верить... она должна была выйти на воздух, чтоб не задохнуться. В сенях горничные донесли ей, что сегодня ждут генерала, что генерал этот сватается за нее... Вдруг въехала карета.

— Палашка, я умру, я умираю!— говорила молодая графиня.

— И, полноте, ваше сиятельство, кто ж умирает, когда сватаются, да еще такие женихи... Я вот всегда говорила: нашей графине быть за генералом,— извольте всех спросить.

Чье перо в состоянии описать все, что перечувствовала бедная девушка во время *показа и смотра!*.. Когда она несколько пришла в себя, первое, что поразило

ее,— это фрак Алексея Абрамовича: она так твердо верила в его мундир и эполеты... Впрочем, Негров и без мундира мог тогда еще нравиться; хотя ему было под сорок, но, благодаря доброму здоровью, он сохранил себя удивительно, и, от природы не слишком речистый, он имел ту развязность, которую имеют все военные, особенно служившие в кавалерии; остальные недостатки, какие могла в нем открыть невеста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отделанными на тот раз. Свадьба ладилась. Через неделю после смотра графиню Мавру Ильинишну явились поздравлять ее знакомые,— люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они лет тридцать упорно сражались с смертью и не сдались, где они лет тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличом, с удушьем и глухотой. Графиня всем говорила одно: «Новость эта меня удивила не меньше вас; я и не думала свою Коко так рано отдавать замуж; дитя еще; ну да, батюшка, божья воля! Человек он солидный и честный, отцом может служить ей: она так неопытна. А генеральство его и богатство — не важная вещь: и через золото слезы текут. Да и нечего сказать, я вкусила плод благочестивого воспитания моего (при этом она прикладывала к глазам платок); истинно, что делает воспитание! Можно ли было ждать от такого отца развращенного — царство ему небесное — и от купчихи такого детища? Не поверите: ведь она с ним четырех слов не молвила, а я только посоветовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово против: если вам, maman, угодно, говорит, так я, говорит, охотно пойду, говорит...» — «Это истинно редкая девица в наш развращенный век!» — отвечали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильинишны, и потом начинались сплетни и бессовестное черненье чужих репутаций. Словом, немного прошло времени, как к пышно убранной квартире цуг вороных лошадей привез в четвероместной карете мордоре-фонсе генерала Негрова, одетого в мундир с ментиком, и супругу его Глафиру Львовну Негрову, в венчальном платье из воздуха с лентами. Хор певчих, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блеск, духи встретили молодую; вся дворня стояла в сенях, добиваясь увидеть молодых, камердинерова жена в том числе; ее муж, как высший сановник передней, распоряжался в

кабинете и спальне. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это ее, и сам генерал ее,— и молодая была счастлива от маленького пальца на ноге до конца длиннейшего волоса в косе: так или иначе, мечты ее сбылись.

Спустя несколько недель после свадьбы Глафира Львовна, цветущая, как развернувшийся кактус, в белом пеньюаре, обшитом широкими кружевами, наливала утром чай; супруг ее, в позолоченном халате из тармаламы и с огромным янтарем в зубах, лежал на кушетке и думал, какую заказать коляску к Святой: желтую или синюю, хорошо бы желтую, однако и синюю недурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайник и *мечтательно* склонила голову на руку; иногда румянец пробегал по ее щекам, иногда она показывала явное беспокойство. Наконец муж заметил необыкновенное расположение ее и сказал:

— Ты что-то не в духе, Глашенька; нездоровится, что ли, тебе?

— Нет, я здорова,— отвечала она и при этом подняла глаза к нему с видом человека, просящего помощи.

— Как хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на уме.

Глафира Львовна встала, подошла к мужу, обняла его и сказала голосом трагической актрисы:

— Алексис, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу!

Алексис начал удивляться.

— Посмотрим, посмотрим,— отвечал он.

— Нет, Алексис, поклянись исполнить мою просьбу могилой твоей матери.

Он вынул чубук изо рта и посмотрел на нее с изумлением.

— Глашенька, я не люблю таких дальних обходов; я солдат: что могу — сделаю, только скажи мне просто.

Она спрятала лицо на его груди и пропищала в слезах:

— Я все знаю, Алексис, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви... я понимаю неопытность, пылкость юности (Любоньке было три года!..). Алексис, она твоя, я ее видела: у ней твой нос, твой затылок.. О, я ее люблю! Пусть она будет

моей дочерью, позволь мне взять ее, воспитать... и дай мне слово, что не будешь мстить, преследовать тех, от кого я узнала. Друг мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы!— И слезы текли обильным ручьем по тармаламе халата.

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени, и прежде нежели успел прийти в себя, жена вынудила его дать позволение и поклясться могилой матери, прахом отца, счастьем их будущих детей, именем их любви, что не возьмет назад своего позволения и не будет доискиваться, как она узнала. Разжалованная в дворовые, малютка снова была произведена в барышни, и кроватка опять переехала в бельэтаж. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать — матерью, хотели ее вырастить в мысли, что Дуня — ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком мосту детское платье, разодела Любоньку, как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. «Сиротка,— говорила она ей,— у тебя нет папаши, нет мамаши, я тебе буду все... Папаша твой там!»— и она указала на небо.—«Папа с крылышками»,— пролепетал ребенок,— и Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «О, небесная простота!» А дело было очень просто: на потолке, по давнопрошедшей моде, был представлен амур, дрягавший ногами и крыльями и завязывавший какой-то бант у черного железного крюка, на котором висела люстра.— Дуня была на верху счастия; она на Глафиру Львовну смотрела как на ангела; ее благодарность была без малейшей примеси какого бы то ни было неприязненного чувства; она даже не обижалась тем, что дочь отучали быть дочерью; она видела ее в кружевах, она видела ее в барских покоях — и только говорила: «Да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая,— кажись, ей и нельзя надеть другого платьица; красавица будет!» Дуня обходила все монастыри и везде служила заздравные молебны о доброй барыне.

Многие сочтут экс-графиню героиней. Я полагаю, что ее поступок сам в себе был величайшею необдуманностью,— по крайней мере, равною необдуманности выйти замуж за человека, о котором она только и знала, что он мужчина и генерал. Причина — очевидно, романтическая экзальтация, предпочитающая всему

на свете трагические сцены, самопожертвования, натянуто благородные поступки. Справедливость требует присовокупить, что Глафира Львовна не имела при этом никакой хитрой мысли, ни даже тщеславия; она сама не знала, для чего она хотела воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дела. Алексей Абрамович, позволив однажды, нашел очень естественным странное положение ребенка и не дал даже себе труда подумать, хорошо или худо он сделал, согласившись на это... В самом деле, хорошо или худо он сделал? Можно многое сказать и «за» и «против». Кто считает высшей целью жизни человеческой развитие, во что бы оно ни стало, какие бы оно последствия ни привело,— тот будет со стороны Глафиры Львовны. Кто считает высшей целью жизни счастье, довольство, в каком бы кругу оно ни было и насчет чего бы оно ни досталось,— тот будет против нее. Любонька в людской, если б и узнала со временем о своем рождении, понятия ее были бы так тесны, душа спала бы таким непробудимым сном, что из этого ничего бы не вышло; вероятно, Алексей Абрамович, чтобы вполне примириться с совестью, дал бы ей отпускную и, может быть, тысячу-другую приданого; она была бы при своих понятиях чрезвычайно счастлива, вышла бы замуж за купца третьей гильдии, носила бы шелковый платок на макушке, пила бы по двенадцати чашек цветочного чая и народила бы целую семью купчиков; иногда приходила бы она в гости к дворечихе Негрова и видела бы с удовольствием, как на нее с завистью смотрят ее бывшие подруги. Так она могла бы прожить до ста лет и надеяться, что сто извозчичьих дрожек проводят ее на Ваганьковское кладбище. Любонька в гостиной — совсем иное дело: как бы глупо ее ни воспитывали, она получала возможность образоваться; самая даль от грубых понятий людской — своего рода воспитание. С тем вместе она должна была понять всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельэтаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе, развитию чахотки. Итак, выбирайте сами, хорошо или худо сделала m-me Негров.

Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу; на всех каретных гуляньях являлась его чет-

верня и блестящий экипаж и пышущая счастьем чета в этом экипаже. Их наверное можно было встретить и в Сокольниках 1 мая, и в Дворцовом саду в Вознесенье, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели абонированную ложу. Но страшное однообразие убивает московские гулянья: как было в прошлом году, так в нынешнем и в будущем; как тогда с вами встретился толстый купец в великолепном кафтане с чернозубой женой, увешанной всякими драгоценными каменьями, так и нынче непременно встретится — только кафтан постарше, борода побелее, зубы у жены почернее,— а все встретится; как тогда встретился хват с убийственными усами и в шутовском сюртуке, так и нынче встретится, несколько исхудалый; как тогда водили на гулянье подагрика, покрытого нюхательным табаком, так и нынче его поведут... От одного этого можно запереться у себя в комнате. Алексей Абрамович был человек выносливый, однако силы человеческие сочтены: дольше десяти лет он не мог протянуть, надоело и ему и Глаше. В это десятилетие у них родились сын и дочь, и они начали тяжелеть не по дням, а по часам; одеваться не хотелось им больше, и они начали делаться домоседами и, не знаю, как и для чего, а полагаю — больше для всесовершеннейшего покоя, решились ехать на житье в деревню. Это случилось года четыре прежде ученого разговора генерала с Дмитрием Яковлевичем.

III. БИОГРАФИЯ ДМИТРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Разумеется, биография бедного молодого человека не может иметь той занимательности, как биография Алексея Абрамовича с домочадцами. Мы должны из мира карет мордоре-фонсе перейти в мир, где заботятся о завтрашнем обеде, из Москвы переехать в дальний губернский город, да и в нем не останавливаться на единственной мощеной улице, по которой иногда можно ездить и на которой живет аристократия, а удалиться в один из немощеных переулков, по которым почти никогда нельзя ни ходить, ни ездить, и там отыскать почерневший, перекосившийся домик о трех окнах, —

домик уездного лекаря Круциферского, скромно стоящий между почерневшими и перекосившимися своими товарищами. Все эти домики скоро развалятся, заместятся новыми, и никто об них не помянет; а между тем во всех них развивалась жизнь, кипели страсти, поколения сменялись поколениями, и обо всех этих существованиях столько же известно, сколько о диких в Австралии, как будто они человечеством оставлены вне закона и не признаны им. Но вот домик, который мы искали. В нем лет тридцать жил добрый, честный старик с своей женою. Жизнь его была постоянною битвою со всевозможными нуждами и лишениями; правда, он вышел довольно победоносно, то есть не умер с голода, не застрелился с отчаяния, но победа досталась не даром: в пятьдесят лет он был и сед, и худ, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатым запасом сил и здоровья. Не бурные порывы, не страсти, не грозные перевороты источили это тело и придали ему вид преждевременной дряхлости, а беспрерывная, тяжелая, мелкая, оскорбительная борьба с нуждою, дума о завтрашнем дне, жизнь, проведенная в недостатках и заботах. В этих низменных сферах общественной жизни душа вянет, сохнет в вечном беспокойстве, забывает о том, что у нее есть крылья, и, вечно наклоненная к земле, не подымает взора к солнцу. Жизнь лекаря Круциферского была огромным продолжительным геройским подвигом на неосвещенном поприще, награда — насущный хлеб в настоящем и надежна не иметь его в будущем. Он учился на казенный счет в Московском университете и, выпущенный лекарем, прежде назначения женился на немке, дочери какого-то провизора; приданое ее, сверх доброй и самоотверженной души, сверх любви, которую она, по немецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло из нескольких платьев, пропитанных запахом розового масла с ребарбаром. Страстно влюбленному студенту в голову не приходило, что он не имеет права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этих прав есть свой ценз, вроде французского электорального ценза. Через несколько дней после свадьбы его назначили полковым лекарем в действующую армию. Восемь лет номадной[1] жизни вынес он; на девятый устал и

[1] кочевой (*от греч.* nomas — кочевники).

начал просить постоянного места,— ему дали одну из открывшихся вакансий. И Круциферский потащился с женой и детьми с одного края России в другой и поселился в губернском городе NN. Сначала он имел кой-какую практику. Хотя сановники и помещики в губернских городах предпочитают лечиться у немцев, но, по счастию, немца (кроме часовщика) под рукой не находилось. Это был счастливейший период жизни Круциферского; тогда он купил свой домик о трех окнах, а Маргарита Карловна сюрпризом мужу, ко дню Иакова, брата господня, ночью обила старый диван и кресла ситцем, купленным на деньги, собранные по копейке. Ситец был превосходный; на диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сарра грозилась; на креслах с правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сарры, а с левой — их головы. Но эта счастливая эпоха не долго продолжалась. Один богатый помещик, село которого было под самым городом, привез с собою домового доктора, отбившего всю практику у Круциферского. Молодой доктор был мастер лечить женские болезни; пациентки были от него без ума; лечил он от всего пиявками и красноречиво доказывал, что не только все болезни — воспаление, но и жизнь есть не что иное, как воспаление материи; о Круциферском он отзывался с убийственным снисхождением; словом, он вошел в моду. Весь город шил ему по канве подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старом лекаре старались забыть. Правда, купцы и духовные остались верными Круциферскому, но купцы никогда не бывали больны, всегда, слава богу, здоровы, а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрению терлись и мазались в бане всякой дрянью — скапидаром, дегтем, муравьиным спиртом — и всегда выздоравливали — или умирали через несколько дней. В обоих случаях Круциферскому не приходилось ничего делать, а смерть падала на его счет, и молодой доктор всякий раз говорил дамам: «Странная вещь, ведь Яков Иванович очень хорошо знает свое дело, а как не догадался употребить t-rae opii Sydenhamii капель X, solutum in aqua distillata[1], да не поставил под ложечку сорок пять

[1] Сиденгэмовой настойки опия капель 10, разведенных в дистиллированной воде (*лат.*).

пиявок; ведь человек-то бы был жив». Слыша латинские слова, сама губернаторша верила, что человек бы был жив. И так, мало-помалу, Круциферский был сведен на одно жалованье: оно состояло, кажется, из четырехсот рублей; у него было пять человек детей; жизнь становилась тяжелее и тяжелее. Яков Иванович не знал, как прокормиться; скарлатина указала ему выход: трое из детей умерли друг за другом, остались старшая дочь и меньшой сын. Мальчик, кажется, избегнул смерти и болезни своею чрезвычайною слабостью: он родился преждевременно и был не более, как жив; слабый, худой, хилый и нервный, он иногда бывал не болен, но никогда не был здоров. Несчастия этого ребенка начались прежде его рождения. В то время как Маргарита Карловна была тяжела им, над ними готово было разразиться ужасное несчастие. Губернатор возненавидел Круциферского за *то, что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика*[1]. Яков Иванович был на вершок от гибели и с какой-то кроткой, геройской грустью, молча и самоотверженно ждал страшного удара,— удар прошел мимо головы его. В это тревожное время беспрерывных слез родился Митя, единственный наказанный в деле о найденном теле кучера. Дитя это было идолом Маргариты Карловны; чем болезненнее, чем слабее оно казалось, тем упорнее хотела мать сохранить его; она, кажется, делилась с ним своей силой, любовь оживляла его и исторгла его у смерти. Она будто чувствовала, что он останется у них один,— опора, надежда, утешение. А что же сталось с его сестрой? Ей было лет семнадцать, когда в NN стоял пехотный полк; когда он ушел, ушла и лекарская дочь с каким-то подпоручиком; через год писала она из Киева, просила прощенья и благословения и извещала, что подпоручик женился на ней; через год еще писала она из Кишинева, что муж ее оставил, что она с ребенком в крайности. Отец послал ей двадцать пять рублей. После этого не было об ней и вести. Когда Митя подрос, его отдали в гимназию; он учился хорошо; вечно застенчивый, кроткий и тихий, он был даже любим инспектором, который считал не вовсе сообразным с своей должностью любить детей.

[1] Эти строки были выпущены цензурой. (*Примеч. А. И. Герцена.*)

Отец хотел после курса записать его в канцелярию гражданского губернатора, в чем ему обещал протежировать секретарь, у которого он лечил безвозмездно детей, вечно золотушных. Вдруг Мите открылась другая дорога. Какой-то меценат и тайный советник проезжал по городу NN, отправляясь из деревни в Москву[1]. *Директор гимназии, имевший талант узнавать явно приближение тайных советников, тотчас отправился просить удостоительной чести посещения вертограда и рассадника отечественного просвещения. Меценату не хотелось, но он любил радушные приемы и с тем вместе почтительные. Директор, в мундире и поддерживая шляпой шпагу, объяснил меценату подробно, отчего сени сыры и лестница покривилась (хотя меценату до этого дела не было); ученики были развернуты правильной колонной; учители, сильно причесанные и с крепко повязанными галстухами, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикам и сторожу, всего менее потерявшемуся. Учитель физики просил позволения его превосходительства убить кролика под колпаком пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем директор, тронутый, посмотрел на всех учителей и на всех учеников, как бы говоря: «Величие всегда сопровождается кротостью». Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда неумолимый учитель все-таки, к большому удовольствию всего города, принес их на жертву науке и образованию. Затем один из учеников вышел вперед, и учитель французского языка спросил его: «Не имеет ли он им что-нибудь сказать по поводу высокого посещения рассадника наук?» Ученик тотчас же начал на каком-то франкоцерковном наречии: «Коман пувонн ну поверь анфан ремерсиерь лилюстрь визитерь»[2].*

Глядя по сторонам во время этой кельто-славянской речи, меценат обратил как-то внимание на болезненный и нежный вид Мити, подозвал его к себе, поговорил, приласкал. Директор сказал, что это отличнейший ученик, что он пошел бы далеко, но что отец его

[1] Эти строки были выпущены цензурой. (*Примеч. А. И. Герцена.*)

[2] Как нам, бедным детям, отблагодарить знаменитого посетителя (от *фр.* comment pouvons-nous, pauvres enfanfs, remercier l'illustre visiteur).

не имеет чем содержать его в Москве и проч. Меценат был меценат и сказал Мите, что через месяц или два поедет его управитель, что если его родители согласны, то он ему прикажет привезти Митю в Москву и велит дать ему уголок в своем флигеле вместе с детьми управляющего. Директор послал тотчас письмоводителя за Яковом Ивановичем. Яков Иванович застал мецената, уже садящегося в дормез. Старик был истинно тронут, плакал, как дитя, и простым языком, нескладным и прерывистым, благодарил его. Меценат указал на плечистого мужчину, помогавшего застегивать какие-то ремешки у кареты, и сказал: «Это мой управляющий, он повезет вашего сына»,— сказал и уехал, милостиво улыбнувшись. Через месяц кибитка с бубенчиками выехала из ворот Круциферского, и в ней сидел Митя, покрытый одеялом, увязанный и одетый матерью, и приказчик — в одном сюртуке, потому что он в пути предпочитал нагреваться изнутри. И вот от чего зависит судьба человека! Если б меценат не проезжал через город NN, Митя поступил бы в канцелярию, и рассказа нашего не было бы, а был бы Митя со временем старший помощник правителя дел и кормил бы он своих стариков бог знает какими доходами,— и отдохнули бы Яков Иванович и Маргарита Карловна. Отъезд Мити был переломом жизни стариков: они остались одни; тишина, грусть еще более овладели их домиком. Управляющий мецената, человек не слабонервный, почувствовал что-то вроде слез, когда старики расставались с сыном. Бедный отец прощается не так, как богатый; он говорил сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба; я более для тебя ничего не могу сделать; пролагай свою дорогу и вспоминай нас!» И увидятся ли они, найдет ли он себе хлеб — все покрыто черной, тяжкой завесой... Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности; он десять раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего недостает, и знает, что негде взять... Это сцены, никому не известные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце! Хорошо, что они скрыты!

Молодой Круциферский через четыре года сделался

кандидатом. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображения, он любовью к науке, постоянным прилежанием вполне заслужил полученную им степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований,— существований тихих, благородных, счастливых в немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой учено-педагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу, в котором через двадцать лет муж еще влюблен в жену, а жена еще краснеет от каждой двусмысленной шутки; это существования маленьких патриархальных городков в Германии, пасторских домиков, семинарских учителей, чистые, нравственные и незаметные вне своего круга... Но будто у нас возможна такая жизнь? Я решительно думаю, что нет; нашей душе не свойственна эта среда; она не может утолять жажду таким жиденьким винцом: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже,— но в обоих случаях шире. Сделавшись кандидатом, Круциферский сначала попытался получить место при университете; потом думал пробиться частными уроками,— но все попытки были напрасны: он унаследовал от отца удачу во всех предприятиях...

Через несколько месяцев после того, как при звуках литавр и труб было возвещено о кандидатстве Круциферского, он получил письмо от старика, извещавшее его о болезни матери и мимоходом намекавшее на тесные обстоятельства. Зная характер отца, он понял, что одна страшная крайность заставила его сделать такой намек. Последние деньги были прожиты Круциферским, одно средство оставалось: у него был патрон, профессор какой-то *гнозии*, принимавший в нем сердечное участие; он написал к нему письмо открыто, благородно, трогательно и просил взаймы сто пятьдесят рублей. Профессор отвечал учтивейшим образом, тронулся запиской, но денег не прислал; в postscriptum'e[1] ученый муж упрекал самым милым образом Круциферского, что он не приходит никогда к нему обедать. Записка поразила молодого человека,— так мало знал он цену людям или, лучше сказать, деньгам! Ему было

[1] приписке (*лат.*).

очень тяжело; он бросил милую записку доброго профессора на стол, прошелся раза два по комнатке и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать; слезы потихоньку скатывались со щек его; ему так живо представлялась убогая комната и в ней его мать, страждущая, слабая, может быть, умирающая,— возле старик, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь, хочется,— но она скрывает, чтоб не увеличить горести мужа, а тот догадывается и тоже скрывает, боясь, что придется отказать ей... Читатель, если вы богаты или, по крайней мере, *обеспечены,*— принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствует полученное нами наследство! да здравствует родовое и благоприобретенное!

В эту тяжелую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явным образом не столичная, вошла, снимая темный картуз с огромным козырьком. Козырек этот бросал тень на здоровое, краснощекое и веселое лицо человека пожилых лет; черты его выражали эпикурейское спокойствие и добродушие. Он был в поношенном коричневом сюртуке с воротником, какого именно тогда не носили, с бамбуковой палкой в руках и, как мы сказали, с видом решительного провинциала.

— Вы господин Круциферский, кандидат здешнего университета?

— Я,— отвечал Дмитрий Яковлевич,— к вашим услугам.

— А вот, господин кандидат, позвольте мне сперва сесть; я постарше вас, да и пришел пешком.

С этими словами он хотел было сесть на стул, на котором висел вицмундирный фрак; но оказалось, что этот стул может только выносить тяжесть фрака без человека, а не человека в сюртуке. Круциферский, сконфузившись, просил его поместиться на кровать, а сам взял другой (и последний) стул.

— Я,— начал посетитель с убийственною медленностью,— инспектор врачебной управы NN, доктор медицины Крупов, и пришел к вам вот по какому делу...

Инспектор был человек методический, остановился, вынул большую табакерку, положил ее возле себя, потом вынул красный платок и положил его возле таба-

керки, потом белый платок, которым обтер себе пот, и, нюхая табак, продолжал таким образом:

— Вчерашнего числа я был у Антона Фердинандовича... мы с ним одного выпуска... нет, извините, он вышел годом ранее... да, годом ранее, точно,— все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вот-с я и прошу его, не может ли он мне указать хорошего учителя в отъезд-де, в нашу губернию, кондиции, мол, такие и такие, и вот, мол, требуют то и то. Антон-ат Фердинандович и дал мне ваш адрес и, признаюсь, очень лестно отзывался об вас; а потому, если вы желаете иметь кондицию в отъезд, то я мог бы с вами дело покончить.

Антон Фердинандович был именно профессор-патрон: он в самом деле любил Круциферского, но только не рисковал своими деньгами, как мы видели,— а рекомендацию всегда был готов дать.

Тяжелый доктор Крупов показался Круциферскому небесным посланником; он откровенно рассказал ему свое положение и заключил тем, что ему выбора нет, что он обязан принять место. Крупов вытащил из кармана что-то среднее между бумажником и чемоданом и вынул письмо, покоившееся в обществе кривых ножниц, ланцетов и зондов, и прочел: «Предложите таковому 2000 рублей в год и никак не более 2500, потому что за 3000 рублей у моего соседа живет француз из Швейцарии. Особая комната, утром чай, прислуга и мытье белья, как обыкновенно. Обедать за столом».

Круциферский не делал никаких требований, краснея говорил о деньгах, расспрашивал о занятиях и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить в посторонний дом, жить у чужих людей. Крупов был тронут, уговаривал его не бояться Негровых... «Ведь вам с ними не детей крестить; будете учить мальчика, а с отцом, с матерью видаться за обедом. Генерал денежно вас не обидит, за это я вам отвечаю; жена его вечно спит,— стало, и она вас не обидит, разве во сне. Дом Негрова, поверьте мне, не хуже... признаться, и не лучше всех помещичьих домов». Словом, торг сладился: Круциферский шел внаем за 2500 рублей в год. Инспектор был обленившийся в провинциальной жизни человек, но, однако, человек. Узнав рядом горьких опытов, что все прекрасные мечты, великие слова остаются

до поры до времени мечтами и словами, он поселился на веки веков в NN и мало-помалу научился говорить с расстановкой, носить два платка в кармане, один красный, другой белый. Ничто в мире не портит так человека, как жизнь в провинции. Но он не совсем еще вымер: в глазах его еще попрыгивали огоньки. Многое встрепенулось в душе Крупова при виде благородного, чистого юноши; ему вспомнилось то время, когда он с Антоном Фердинандовичем мечтал сделать переворот в медицине, идти пешком в Геттинген... и он горько улыбнулся при этих воспоминаниях. Когда торг кончился, ему пришло в голову: «Хорошо ли я делаю, вталкивая этого юношу в глупую жизнь полустепного помещика?» Даже мысль дать ему своих денег и уговорить его не покидать Москвы пришла ему в голову; лет пятнадцать тому назад он та́к бы и сделал, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелек. «Судьба!» — подумал Крупов и утешился. Странно, что в этом случае он поступил точь-в-точь, как с древнейших времен поступает человечество: Наполеон говаривал, что судьба — слово, не имеющее смысла, — оттого оно так и утешительно.

— Итак, мы дело сладили, — сказал наконец инспектор после маленького молчания, — я еду через пять дней и буду оче́нь рад, если вы разделите со мною тарантас.

IV. ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

Давно известно, что человек везде может оклиматиться, в Лапландии и Сенегалии. Потому дивиться, собственно, нечему, что Круциферский мало-помалу начал привыкать к дому Негрова. Образ жизни, суждения, интересы этих людей сначала поражали его, потом он стал равнодушнее, хотя и был далек от примирения с такою жизнию. Странное дело: в доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного; но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всесовершеннейшая, самая многосторонняя царила в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постелей, зачем двигались, для чего жили — трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отве-

чать. Добрые люди эти жили потому, что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения; какие тут цели да задние мысли... Это все из немецкой философии! Генерал вставал в 7 часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком; вошедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове: так глубокомысленно курил он; но бродил один дым, и то не в голове, а около головы. Глубокомысленное курение продолжалось час. Алексей Абрамович все это время тихо ходил по зале, часто останавливаясь перед окном, в которое он превнимательно всматривался, щурил глаза, морщил лоб, делал недовольную мину, даже кряхтел, но и это был такой же оптический обман, как задумчивость. Управитель должен был в это время стоять у дверей, рядом с казачком. Окончив куренье, Алексей Абрамович обращался к управителю, брал у него из рук рапортичку и начинал его ругать не на живот, а на смерть, присовокупляя всякий раз, что «кончено, что он его знает, что он умеет учить мошенников и для примера справедливости отдаст его сына в солдаты, а его заставит ходить за птицами!» Была ли это мера нравственной гигиены вроде ежедневных обливаний холодной водой,— мера, посредством которой он поддерживал страх и повиновение своих вассалов, или просто патриархальная привычка — в обоих случаях постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушал отеческие наставления с безмолвным самоотвержением: слушать их казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной с его должностью, как красть пшеницу и ячмень, сено и солому. «Ах ты разбойник!— кричал генерал.— Да тебя мало трех раз повесить!» — «Воля вашего превосходительства»,— отвечал с величайшим спокойствием управитель и смотрел своими плутовскими глазами как-то косвенно вниз. Беседа эта продолжалась до появления детей здороваться; Алексей Абрамович протягивал им руку; с ними являлась миньятюрная *француженка*-мадам, которая как-то уничтожалась, уходя сама в себя, приседая a la Pompadour; она извещала, что чай готов, и Алексей Абрамович отправлялся в диванную, где Глафира Львовна уже дожидалась его перед самоваром. Разговор обыкновенно начинался жалобою Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессоницу; она чувствовала в пра-

вом виске непонятную, живую боль, которая переходила в затылок и в темя и не давала ей спать. Алексей Абрамович слушал бюллетень о здоровье супруги довольно равнодушно, потому ли, что он один во всем роде человеческом очень хорошо и основательно знал, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видел, как эта хроническая болезнь полезна здоровью Глафиры Львовны,— не знаю. Зато Элиза Августовна приходила в ужас, жалела о страдалице и утешала ее тем, что и княгиня Р***, у которой она жила, и графиня М***, у которой она могла бы жить, если б хотела, точно так же страдают живою болью и называют ее tic douloureux[1]. Во время чая приходил повар; благородная чета начинала заниматься заказом обеда и бранить за вчерашний, хотя блюда и были вынесены пусты. Повар имел то преимущество перед приказчиком, что его ежедневно бранил барин, как и приказчика, да, сверх того, бранила барыня. После чая Алексей Абрамович отправлялся по полям; несколько лет жив безвыездно в деревне, он не много успел в агрономии, нападал на мелкие беспорядки, пуще всего любил дисциплину и вид безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти перед глазами, и он большей частию не замечал, а когда замечал, то так неловко принимался за дело, что всякий раз оставался в дураках. Как настоящий глава и отец общины, он часто говаривал: «Вору спущу, мошеннику спущу, но уж дерзости не могу стерпеть»,— в этом у него состоял патриархальный point d'honneur![2] Глафира Львовна, кроме чрезвычайных случаев, никогда не выходила из дома пешком, разумется, исключая старого сада, который от запущенности сделался хорошим и который начинался от самого балкона; даже собирать грибы ездила она всегда в коляске. Это делалось следующим образом. С вечера отдавался приказ старосте, чтоб собрать легион мальчишек и девчонок с кузовками, корзинками, плетушками и проч. Глафира Львовна с француженкой ехали шагом по просеке, а саранча босых, полуголых и полусытых детей, под предводительством старухи птичницы, барчонка и барышни, нападала на масленки, волвянки, сыроежки, рыжики,

[1] нервный тик (*фр.*).
[2] вопрос чести (*фр.*).

белые и всякие грибы. Гриб удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей к матушке-енеральше; им изволили любоваться и ехали далее. Возвратившись домой, она всякий раз жаловалась на усталь и ложилась уснуть перед обедом, употребив для восстановления сил какой-нибудь остаток вчерашнего ужина — барашка, теленка, поенного одним молоком, индейку, кормленную грецкими орехами, или что-нибудь в этом роде, легкое и приятное. Между тем уж и Алексей Абрамович хватил горькой, закусил, *повторил* и отправился прогуляться в саду; он особенно в это время любил пройтись по саду и заняться оранжереей, расспрашивая обо всем садовникову жену, которая во всю жизнь не умела отличить груш от яблок, что не мешало ей иметь довольно приятную наружность. В это время, то есть часа за полтора до обеда, француженка занималась образованием детей. Что она им преподавала, как — это покрывалось непроницаемой тайной. Отец и мать были довольны: кто же имеет право мешаться в семейные дела после этого? — В два часа подавался обед. Каждое блюдо было достаточно, чтоб убить человека, привыкнувшего к европейской пище. Жир, жир и жир, едва смягчаемый капустой, луком и солеными грибами, перерабатывался, при помощи достаточного количества мадеры и портвейна, в упругое тело Алексея Абрамовича, в расплывшееся — Глафиры Львовны и в сморщившееся тельце, едва покрывавшее косточки Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала от Алексея Абрамовича в употреблении мадеры (и заметим притом шаг вперед XIX века: в XVIII веке нанимавшейся мадаме не было бы предоставлено право пить вино за столом); она уверяла, что в ее родине (в Лозанне) у них был виноградник и она дома всегда вместо кваса пила мадеру из своих лоз и тогда еще привыкла к ней. После обеда генерал ложился на полчаса уснуть на кушетке в кабинете и спал гораздо долее, а Глафира Львовна отправлялась с мадамой в диванную. Мадам говорила беспрерывно, и Глафира Львовна засыпала под ее бесконечные рассказы. Иногда, для разнообразия, Глафира Львовна посылала за женой сельского священника; та являлась,— какое-то дикое несвязное существо, вечно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна целые часы проводила с ней и потом говорила мадаме: «Ah,

comme elle est bête, insupportable!»[1] И в самом деле, попадья была непроходимо глупа. Потом чай, потом ужин около десяти часов, после ужина семья начинала зевать всеми ртами. Глафира Львовна замечала, что в деревне надобно жить по-деревенски, то есть раньше ложиться спать,— и семья расходилась. В одиннадцать часов дом храпел от конюшни до чердака. Изредка наезжал какой-нибудь сосед — Негров под другой фамилией — или старуха тетка, проживавшая в губернском городе и поврежденная на желании отдать дочерей замуж; тогда на миг порядок жизни изменялся; но гости уезжали — и все шло по-прежнему. Разумеется, что за всеми этими занятиями все еще оставалось довольно времени, которое не знали куда деть, особенно в ненастную осень, в долгие зимние вечера. Весь талант француженки был употребляем на то, чтоб конопатить эти дыры во времени. Надобно заметить, что ей было что порассказать. Она приехала в последние годы царствования покойной императрицы Екатерины портнихой при французской труппе; муж ее был *второй любовник*, но, по несчастию, климат Петербурга оказался для него гибелен, особенно после того, как, оберегая с бо́льшим усердием, чем нужно женатому человеку, одну из артисток труппы, он был гвардейским сержантом выброшен из окна второго этажа на улицу; вероятно, падая, он не взял достаточных предосторожностей от сырого воздуха, ибо с той минуты стал кашлять, кашлял месяца два, а потом перестал — по очень простой причине, потому что умер. Элиза Августовна овдовела именно в то время, когда муж всего нужнее, то есть лет в тридцать... поплакала, поплакала и пошла сначала в сестры милосердия к одному подагрику, а потом в воспитательницы дочери одного вдовца, очень высокого ростом, от него перешла к одной княгине и т. д.,— всего не перескажешь. Довольно, что она умела чрезвычайно хорошо прилаживаться к нравам дома, в котором находилась, вкрадывалась в доверенность, делалась необходимой, исполняла тайные и явные поручения, хранила на всех действиях какую-то печать клиентизма и уничижения, уступала место, предупреждала желания. Словом, чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек. Она, хохотав и вязав

[1] Ах, до чего она глупа, невыносимо! (*фр.*)

чулок, жила себе беззаботно и припеваючи; ей, вечно втянутой во все маленькие истории, совершающиеся между девичьей и спальней, никогда не приходило в голову о жалком ее существовании. Итак, в скучное время Элиза Августовна тешила своими рассказами, тогда как Алексей Абрамович раскладывал гранпасьянс, а Глафира Львовна, ничего не делая, сидела на диване. Элиза Августовна знала тысячи похождений и интриг о своих *благодетелях* (так она называла всех, у кого жила при детях); повествовала их она с значительными добавлениями и приписывая себе во всяком рассказе главную роль, худшую или лучшую — все равно. Алексей Абрамович еще с бо́льшим интересом, нежели его жена, слушал скандальные хроники воспитательницы своих детей и хохотал от всего сердца, находя, что это — клад, а не мадам. Почти так тянулся день за днем, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшениями дней, увеличением дней, именинами и рождениями, и Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ах, боже мой, ведь послезавтра Рождество, а кажется, давно ли выпал снег!»

Но где же во всем этом Любонька, бедная девушка, которую воспитывали добрые Негровы? Мы ее совсем забыли. В этом она больше нас виновата: она являлась, большею частью молча, в кругу патриархальной семьи, не принимая почти никакого участия во всем происходившем и принося самым этим явный диссонанс в слаженный аккорд прочих лиц семейства. В этой девице было много странного: с лицом, полным энергии, сопрягались апатия и холодность, ничем не возмущаемые, по-видимому; она до такой степени была равнодушна ко всему, что самой Глафире Львовне было это невыносимо подчас, и она звала ее ледяной англичанкой, хотя андалузские свойства генеральши тоже подлежали большому сомнению. Лицом она была похожа на отца, только темно-голубые глаза наследовала она от Дуни; но в этом сходстве была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметом нового тома кудрявых фраз: жесткие черты Алексея Абрамовича, оставаясь теми же, искуплялись, так сказать, в лице Любоньки; по ее лицу можно было понять, что в Негрове могли быть хорошие возможности, задавленные жизнию и погуб-

ленные ею; ее лицо было объяснением лица Алексея Абрамовича: человек, глядя на нее, примирялся с ним. Но отчего же она всегда была задумчива? отчего немногое веселило ее? отчего она любила сидеть одна у себя в комнате? Много было на это причин, и внутренних и внешних,— начнем с последних.

Положение ее в доме генерала не было завидно — не потому, чтобы ее хотели гнать или теснить, а потому, что, исполненные предрассудков и лишенные деликатности, которую дает одно развитие, эти люди были бессознательно грубы. Ни генерал, ни его супруга не понимали странного положения Любоньки у них в доме и усугубляли тягость его без всякой нужды, касаясь до нежнейших фибр ее сердца. Жесткая и отчасти надменная натура Негрова, часто вовсе без намерения, глубоко оскорбляла ее, а потом он оскорблял ее и с намерением, но вовсе не понимая, как важно влияние иного слова на душу, более нежную, нежели у его управителя, и как надобно было быть осторожным ему с беззащитной девушкой, дочерью и не дочерью, живущей у него по праву и по благодеянию. Эта деликатность была невозможна для такого человека, как Негров; ему и в голову не приходило, чтоб эта девочка могла обидеться его словами; *что она такое,* чтоб обижаться? Алексей Абрамович, желая укрепить более и более любовь Любоньки к Глафире Львовне, часто повторял ей, что она всю жизнь обязана бога молить за его жену, что ей одной обязана она всем своим счастием, что без нее она была бы не барышней, а горничной. Он в самых мелочных случаях давал ей чувствовать, что хотя она воспитывалась так же, как его дети, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало шестнадцать лет, Негров смотрел на всякого неженатого человека как на годного жениха для нее; заседатель ли приезжал с бумагой из города, доходил ли слух о каком-нибудь мелкопоместном соседе, Алексей Абрамович говорил при бедной Любоньке: «Хорошо, кабы посватался заседатель за Любу, право, хорошо: и мне бы с руки, да и ей чем не партия? Ей не графа же ждать!» Глафира Львовна еще менее не теснила Любоньки, даже в иных случаях по-своему баловала ее: заставляла сытую есть, давала не вовремя варенье и проч.; но и от нее бедная много терпела. Глафира Львовна считала себя обязанною каждой вновь знако-

мившейся даме представлять Любоньку, присовокупляя: «Это сиротка, воспитывающаяся с моими малютками»,— потом начинала шептать. Любонька догадывалась, о чем речь, бледнела, сгорала от стыда, особенно когда провинциальная барыня, выслушав тайное пояснение, устремляла на нее дерзкий взгляд, сопровождая его двусмысленной улыбкой. В последнее время Глафира Львовна немного переменилась к сиротке; ее начала посещать мысль, которая впоследствии могла развиться в ужасные гонения Любоньке: несмотря на всю материнскую слепоту, она как-то разглядела, что ее Лиза — толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но с каким-то прибавлением глупого выражения, — будет всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой, сверх красоты, самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ее. Увидев это, она совершенно была согласна с Алексеем Абрамовичем, что если подвернется какой-нибудь секретарик добренький или заседатель, тоже добренький, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видать. Сверх сказанного, ее теснило и все окружающее; ее отношения к дворне, среди которой жила *ее кормилица,* были неловки. Горничные смотрели на нее, как на выскочку и, преданные аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же они убедились в чрезвычайной кротости Любоньки, в ее невзыскательности, когда увидели, что она никогда не ябедничает на них Глафире Львовне, тогда она была совершенно потеряна в их мнении, и они почти вслух, в минуты негодования, говорили: «Холопку как ни одевай, все будет холопка: осанки, виду барственного совсем нет». Все это мелочи, не стоящие внимания с точки зрения вечности, — но прошу того сказать, кто испытал на себе ряд ничтожных, нечистых названий, оскорблений,—тот или, лучше, та пусть скажет, легки они или нет. К довершению бедствий Любоньки приезжала иногда проживавшая в губернском городе тетка Алексея Абрамовича с тремя дочерьми. Старуха — злая, полубезумная и ханжа — не могла видеть несчастную девушку и обращалась с нею возмутительно. «С какой стати, матушка, — говорила она, покачивая головой,—принарядилась так? а? Скажите пожалуйста! Да вас, сударыня, можно принять за равную моим дочерям! Глафира Львовна, для

чего вы ее так балуете? Ведь Марфушка, родная тетка ее, у меня птичницей, рабыня моя; а это с какой стати, право? Да и Алексей-то, старый грешник, постыдился бы добрых людей!» Эти ругательные замечания она заключала всякий раз молитвою, чтоб господь бог простил ее племяннику грех рождения Любоньки. Дочери тетки — три провинциальные грации, из которых старшая года два-три уже стояла на роковом двадцать девятом году, — если не говорили с такою патриархальною простотою, то давали в каждом слове чувствовать Любе всю снисходительность свою, что они удостоивают ее своей лаской. Любонька при людях не показывала, как глубоко ее оскорбляют подобные сцены, или, лучше, люди, окружавшие ее, не могли понять и видеть прежде, нежели им было указано и растолковано; но, уходя в свою комнату, она горько плакала... Да, она не могла стать выше таких обид — да и вряд ли это возможно девушке в ее положении. Глафире Львовне было жаль Любоньку, но взять ее под защиту, показать свое неудовольствие — ей и в голову не приходило; она ограничивалась обыкновенно тем, что давала Любоньке двойную порцию варенья, и потом, проводив с чрезвычайной лаской старуху и тысячу раз повторив, чтоб chère tante[1] их не забывала, она говорила француженке, что она ее терпеть не может и что всякий раз после ее посещения чувствует нервное расстройство и живую боль в левом виске, готовую перейти в затылок.

Нужно ли говорить, что воспитание Любоньки было сообразно всему остальному? Кроме Элизы Августовны, никто не учил ее; сама же Элиза Августовна занималась с детьми одной французской грамматикой, несмотря на то что тайна французского правописания ей не далась и она до седых волос писала с большими промахами. Кроме грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочем, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двух сыновей в университет. Книг в доме Негрова водилось немного, у самого Алексея Абрамовича ни одной; зато у Глафиры Львовны была библиотека; в диванной стоял шкаф, верхний этаж его был занят никогда не употреблявшимся парадным чайным сервизом, а нижний — книгами; в нем было с полсотни французских романов; часть их тешила и образовывала

[1] милая тетя (*фр.*).

в незапамятные времена графиню Мавру Ильинишну, остальные купила Глафира Львовна в первый год после выхода замуж, — она тогда все покупала: кальян для мужа, портфель с видами Берлина, отличный ошейник с золотым замочком... В числе этих ненужностей купила она десятка четыре модных книг; между ними попались две-три английские, также переехавшие в деревню, несмотря на то что не только в доме Негрова, но на четыре географические мили кругом никто не знал по-английски. Их она взяла за лондонский переплет; переплет был действительно очень хорош. Глафира Львовна охотно позволяла Любоньке брать книги, даже поощряла ее к этому, говоря, что и она страстно любит чтение и очень жалеет, что многосложные заботы по хозяйству и воспитанию не оставляют ей времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно; но особенного пристрастия к чтению у ней не было: она не настолько привыкла к книгам, чтоб они ей сделались необходимы; ей что-то все казалось вяло в них, даже Вальтер Скотт наводил подчас на Любоньку страшную скуку. Однако ж бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развития, — совсем напротив, пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста. Как? — Это тайна женской души. Девушка или с самого начала так прилаживается к окружающему ее, что уж в четырнадцать лет кокетничает, сплетничает, делает глазки проезжающим мимо офицерам, замечает, не крадут ли горничные чай и сахар, и готовится в почтенные хозяйки дома и в строгие матери, или с необычайною легкостью освобождается от грязи и сора, побеждает внешнее внутренним благородством, какимто откровением постигает жизнь и приобретает такт, хранящий, напутствующий ее. Такое развитие почти неизвестно мужчине; нашего брата учат, учат и в гимназиях, и в университетах, и в бильярдных, и в других более или менее педагогических заведениях, а все не ближе, как лет в тридцать пять, приобретаем, вместе с потерею волос, сил, страстей, ту ступень развития и пониманья, которая у женщины вперед идет, идет об руку с юностью, с полнотою и свежестью чувств.

Любоньке было двенадцать лет, когда несколько слов, из рук вон жестких и грубых, сказанных Негровым в минуту отеческой досады, в несколько часов вос-

питали ее, дали ей толчок, после которого она не останавливалась. С двенадцати лет эта головка, покрытая темными кудрями, стала работать; круг вопросов, возбужденных в ней, был не велик, совершенно личен, тем более она могла сосредоточиваться на них; ничто внешнее, окружающее не занимало ее; она думала и мечтала, мечтала для того, чтоб облегчить свою душу, и думала для того, чтобы понять свои мечты. Так прошло пять лет. Пять лет в развитии девушки — огромная эпоха; задумчивая, скрытно пламенная, Любонька в эти пять лет стала чувствовать и понимать такие вещи, о которых добрые люди часто не догадываются до гробовой доски; она иногда боялась своих мыслей, упрекала себя за свое развитие — но не усыпила деятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся в груди; под конец, не имея силы носить всего в себе, она попала на мысль, очень обыкновенную у девушки: она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это было нечто вроде журнала; для того чтоб познакомить вас с нею, выписываем из этого журнала следующие строки:

«Вчера вечером сидела я долго под окном; ночь была теплая, в саду так хорошо... Не знаю, отчего мне все делалось грустнее и грустнее; будто темная туча поднялась из глубины души; мне было так тяжело, что я плакала, горько плакала... У меня есть отец и мать, — но я сирота: я одна-одинехонька на всем белом свете, я с ужасом чувствую, что *никого не люблю*. Это страшно! На кого ни посмотришь, все любят когонибудь; мне все чужие, — хочу любить и не могу. Мне иногда кажется, что я люблю Алексея Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру, — но я себя обманываю. Алексей Абрамович так жестко обращается со мной, он мне больше чужой, нежели Глафира Львовна; но он отец мой, — разве дети судят своего отца? разве они любят его за что-нибудь? Его любят за то, что он отец, — я не могу. Сколько раз давала я себе слово с кротостью слушать его несправедливые упреки, не могу привыкнуть... Как только Алексей Абрамович становится жёсток, мое сердце бьется сильнее, и кажется, если б я дала себе волю, то отвечала бы ему с той же жесткостью... Любовь мою к матери у меня испортили, отняли; едва четыре года, как я узнала, что

она — моя мать; мне было поздно привыкнуть к мысли, что у меня есть мать: я ее любила как кормилицу... Ее-то я люблю, но, боюсь признаться, мне неловко с ней; я должна многое скрывать, говоря с нею: это мешает, это тяготит; надобно все говорить, когда любишь; мне с нею не свободно; добрая старушка — она больше дитя, нежели я; да к тому же она привыкла звать меня барышней, говорить мне *вы*, — это почти тяжелее грубого языка Алексея Абрамовича. Я молилась о них и о себе, просила бога, чтоб он очистил мою душу от гордости, смирил бы меня, ниспослал бы любовь, но любовь не снизошла в мое сердце».

Через неделю.— «Неужели все люди похожи на *них*, и везде так живут, как в этом доме? Я никогда не оставляла дома Алексея Абрамовича, но мне кажется, что можно лучше жить даже в деревне; иногда мне невыносимо тяжело с ними, — или я одичала, сидя все одна? То ли дело, как уйду в липовую аллею да сяду на лавочке в конце ее и смотрю вдаль, — тогда мне хорошо, я забываю их; не то чтоб весело, скорее грустно — но хорошо грустно... Под горою село; люблю я эти бедные избы крестьян, речку, текущую возле, и рощу вдали; я целые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь — то песня раздается вдали, то стук цепов, то лай собак и скрип телег... А тут, лишь только увидят мое белое платье, бегут ко мне крестьянские мальчики, приносят мне землянику, рассказывают всякий вздор; и я слушаю их, и мне не скучно. Какие славные лица у них, открытые, благородные! Кажется, если б их воспитать так, как Мишу, что за люди из них вышли бы! Они приходят иногда к Мише на господский двор, только я прячусь там от них; наши дворовые и сама Глафира Львовна так грубо обращаются с ними, что у меня сердце кровью обливается; они, бедняжки, стараются всем на свете услужить брату, бегают, ловят ему белок, птиц, — а он обижает их... Странно, Глафира Львовна пречувствительная, плачет, когда рассказывают что-нибудь печальное, а иногда я удивлялась ее жестокости; она, как будто стыдясь, всегда говорит: «Они этого не понимают, с ними нельзя обходиться почеловечески, тотчас забудутся». Мне не верится: видно, крестьянская кровь моей матери осталась в моих жилах! Я всегда с крестьянками говорю, как с другими,

как со всеми, и они меня любят, носят мне топленое молоко, соты; правда, они мне не кланяются в пояс, как Глафире Львовне, зато встречают всегда с веселым видом, с улыбкой... Не могу никак понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей, которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их, — а ведь те учились и все помещики, чиновники, — а такие все противные...»

Вероятно ли, чтоб девушка, воспитанная в патриархальной семье Негрова, лет семнадцати от роду, никуда не выезжавшая, мало читавшая, еще менее видевшая, так чувствовала?—За фактическую достоверность журнала отвечает совесть собиравшего документы; за психическую позвольте вступиться мне. Странное положение Любоньки в доме Негрова вы знаете; она, от природы одаренная энергией и силой, была оскорбляема со всех сторон двусмысленным отношением ко всей семье, положением своей матери, отсутствием всякой деликатности в отце, считавшем, что вина ее рождения падает не на него, а на нее, наконец, всей дворней, которая, с свойственным лакеям аристократическим направлением, с иронией смотрела на Дуню. Куда же было деться Любоньке, отовсюду отталкиваемой? Она, может быть, бежала бы в полк или не знаю куда, если б она была мужчиной; но девушкой она бежала в самое себя; она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли; когда мало-помалу часть бродившего в ее душе стала оседать, когда не было удовлетворения естественной, сильной потребности высказаться кому-нибудь, — она схватила перо, она стала писать, то есть высказывать, так сказать, самой себе занимавшее ее и тем облегчить свою душу.

Немного надо проницательности, чтоб предвидеть, что встреча Любоньки с Круциферским при тех обстоятельствах, при которых они встретились, даром не пройдет. Едва многолетние усилия воспитания и светская жизнь достигают до притупления в молодых людях способности и готовности любить. Любонька и Круциферский не могли не заметить друг друга: они были одни, они были в степи... Долгое время застенчивый кандидат не смел сказать с Любонькой двух слов; судьба их познакомила молча. Первое, что сблизило молодых людей, была отеческая простота в обращении

Негрова с своими домашними и с прислугой. Любонька целой жизнию, как сама высказала, не могла привыкнуть к грубому тону Алексея Абрамовича; само собою разумеется, что его выходки действовали еще сильнее в присутствии постороннего; ее пылающие щеки и собственное волнение не помешали, однако ж, ей разглядеть, что патриархальные манеры действуют точно так же и на Круциферского; спустя долгое время и он, в свою очередь, заметил то же самое; тогда между ними устроилось тайное пониманье друг друга; оно устроилось прежде, нежели они поменялись двумя-тремя фразами. Как только Алексей Абрамович начинал *шпынять* над Любонькой или поучать уму и нравственности какого-нибудь шестидесятилетнего Спирьку или седого как лунь Матюшку, страдающий взгляд Любоньки, долго прикованный к полу, невольно обращался на Дмитрия Яковлевича, у которого дрожали губы и выходили пятна на лице; он точно так же, чтоб облегчить тяжелонеприятное чувство, искал украдкой прочитать на лице Любоньки, что делается в душе ее. Они сначала не думали, куда поведут эти симпатические взгляды — их больше, нежели кого-нибудь, потому что во всем их окружавшем не было ничего, что могло бы не только перевесить, но держать в пределах, развлекать возникавшую симпатию; совсем напротив, совершенная чуждость остальных лиц способствовала ее развитию.

Я никак не намерен рассказывать вам слово в слово повесть любви моего героя; мне музы отказали в способности описывать любовь:

О ненависть, тебя пою!

Скажу вам вкратце, что через два месяца после водворения в доме Негрова Круциферский, от природы нежный и восторженный, был безумно, страстно влюблен в Любоньку. Любовь его сделалась средоточием, около которого расположились все элементы его жизни; ей он подчинил все: и свою любовь к родителям, и свою науку — словом, он любил, как может любить нервная, романтическая натура, любил, как Вертер, как Владимир Ленский. Долго не признавался он сам себе в новом чувстве, охватившем всю грудь его, еще долее не высказывал его ей, даже не смел об этом думать, — по большей части и не следует думать: такие вещи делаются сами собою.

Однажды после обеда, когда Негров в кабинете, а Глафира Львовна в диванной отдыхали, в зале сидела Любонька, и Круциферский читал ей вслух стихотворения Жуковского. До какой степени опасно и вредно для молодого человека читать молодой девице что-нибудь, кроме курса чистой математики, это рассказала на том свете Франческа да Римини Данту, вертясь в проклятом вальсе della bufera infernale[1]: она рассказала, как перешла от чтения к поцелую и от поцелуя к трагической развязке. Наши молодые люди этого не знали и уже несколько дней раздували свою любовь Жуковским, которого привез кандидат. Пока они читали «Ивиковы журавли», все шло хорошо, но, открыв убийцу по этому делу, они перешли к «Алине и Альсиму», — тогда случилось вот что. Круциферский, прочитав дрожащим голосом первую строфу, отер с лица своего пот и, задыхаясь, осилил еще следующие стихи:

Когда случится жизни в цвете
Сказать душой
Ему: ты будь моя на свете, —

остановился и зарыдал в три ручья; книга выпала у него из рук, голова склонилась — и он рыдал, рыдал безумно, рыдал, как только может рыдать человек, в первый раз влюбленный. «Что с вами?» — спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно и слезы навернулись на глазах. «Что с вами?» — повторила она, боясь всей душой ответа. Круциферский схватил ее руку и, одушевленный какой-то новой, неведомой силой, не смея, впрочем, поднять глаз, сказал ей: «Будьте, будьте моей Алиной!.. я... я...» Больше он не мог ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою руку; ее щеки пылали, она заплакала и вышла вон. Круциферский не сделал ничего, чтоб остановить ее; вряд ли даже желал он этого. «Боже мой! — думал он, — что я наделал... Но она так тихо, так кротко выпула свою руку...» И он опять плакал, как ребенок.

Вечером в тот день Элиза Августовна сказала шутя Круциферскому: «Вы, верно, влюблены? рассеянны, печальны...» Круциферский покраснел до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать; не хотите ли, я вам загадаю на картах?» Дмитрий Яковлевич испытал все,

[1] адского вихря (*ит.*).

что может испытать злейший преступник, не знающий, что известно производящему следствие и на что он намекает. «Ну что же, хотите?» — спрашивала неотвязчивая француженка.

— Сделайте одолжение, — отвечал молодой человек.

И вот Элиза Августовна начала с какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вот дама de vos pensées...[1] да вы пресчастливый: она легла возле вашего сердца!.. Поздравляю, поздравляю... возле червонный туз... она вас очень любит... Это что? — не смеет вам сказать. Да вы что за жестокий кавалер, заставляете ее страдать!!» и проч. При каждом слове Элиза Августовна устремляла на него проницательные глазки свои и радовалась от всей души пытке, которой подвергала несчастного молодого человека. «Pauvre jeune homme[2], она вас не заставит так страдать, — ну, где же найти такую каменную душу... Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви? Верно, нет!» — Круциферский бледнел, краснел, синел, желтел — и, наконец, спасся бегством. Пришедши к себе в комнату, он схватил лист бумаги; сердце его билось; он восторженно, увлекательно изливал свои чувства; это было письмо, поэма, молитва; он плакал, был счастлив — словом, писавши, он испытал мгновения полного блаженства. Эти мгновения, обыкновенно реющие как молния, — лучшее, прекраснейшее достояние нашей жизни, которого мы не умеем ценить, и вместо того, чтобы упиваться им, мы торопимся, тревожные, ожидающие все чего-то в будущем...

Окончив послание, Круциферский сошел вниз. Пили чай. Любонька не выходила из своей комнаты, у ней болела голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на нее никто не обратил внимания. Алексей Абрамович глубокомысленно курил свою трубку (вы, вероятно, не забыли, что его вид был оптический обман). Элиза Августовна, проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно с ним поговорить. Разговор не вязался; Миша дразнил собаку, она лаяла, — Негров велел ее выгнать; наконец горничная с холстинными рукавами унесла самовар, Алексей Абрамович раскладывал гранпасьянс, Глафира

[1] владеющая вашими помыслами (*фр.*).
[2] Бедный молодой человек (*фр.*).

Львовна жаловалась на боль в голове. Круциферский вышел в залу; начинало смеркаться. Элиза Августовна была уже там. «Когда смеркнется, выйдите на балкон; вас будут ждать»,—сказала она. Круциферский был ни жив ни мертв... Верить ли, нет ли?.. Ему назначено свиданье; может быть, она, негодующая, хочет высказать ему свой гнев, может... И он выбежал в сад; ему показалось, что вдали, в липовой аллее, мелькнуло белое платье, но идти туда он не смел, он не знал даже, пойдет ли он на балкон,—да разве для того, чтоб отдать письмо, на одну минуту — только отдать... но страшно вздумать, как взойти на балкон... Он посмотрел наверх: в углу балкона виднелось, несмотря на то что совсем смерклось, белое платье. Это она, она, грустная, задумчивая,—она, быть может, любящая!.. И он стал на первую ступеньку лестницы, которая вела из сада на балкон. Как он достигнул наконец верхней, я не берусь вам передать.

— Ах, это вы? — спросила *Любонька* шепотом.

Он молчал, захлебываясь воздухом, как рыба.

— Какой вечер прекрасный! — продолжала *Любонька*.

— Простите меня, простите, бога ради! — отвечал Круциферский и рукою мертвеца взял ее руку. *Любонька* не отдергивала.

— Прочтите эти строки, — сказал он, — и вы узнаете то, о чем мне говорить так трудно...

Снова поток слез оросил его пылающие щеки. *Любонька* жала его руку; он облил слезами ее руку и осыпал поцелуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевление его росло, и не знаю, как случилось, но уста его коснулись ее уст; первый поцелуй любви — горе тому, кто не испытал его! *Любонька*, увлеченная, сама напечатлела страстный, долгий, трепещущий поцелуй... Никогда Дмитрий Яковлевич не был так счастлив; он склонил голову себе на руку, он плакал... и вдруг... подняв ее, вскрикнул:

— Боже мой, что я наделал!

Он тут только разглядел, что это была вовсе не *Любонька*, а Глафира Львовна.

— Друг мой, успокойся! — сказала умирающая от избытка жизни Негрова, но Дмитрий Яковлевич давно уже сбежал с лестницы; сойдя в сад, он пустился бежать по липовой аллее, вышел вон из сада, прошел село и упал на дороге, лишенный сил, близкий к удару.

Тут только вспомнил он, что письмо осталось в руках Глафиры Львовны. Что делать? — Он рвал свои волосы, как рассерженный зверь, и катался по траве.

Для пояснения странного qui pro quo[1] нам надобно приостановиться и сказать несколько пояснительных слов. — Маленькие глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и приобученные к делу, заметили, что с тех пор как семья Негрова увеличилась вступлением в нее Круциферского, Глафира Львовна сделалась несколько внимательнее к своему туалету; что блуза ее как-то иначе надевалась; появились всякие воротнички, разные чепчики, обращено было внимание на волосы, и густая коса Палашки, имевшая несчастие подходить под цвет остатков шевелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, несмотря на то что ее уже немножко подъела моль. В самом мягком и дородном лице почтенной матери семейства оказались какие-то новые черты, доселе тихо скрывавшиеся в полноте ее ланит; то улыбка — и глаза сделаются масленые, то вздох — и глаза сделаются медовые... Элиза Августовна не проронила ни одной из этих перемен; когда же она, случайно зашедши в комнату Глафиры Львовны во время ее отсутствия и случайно отворив ящик туалета, нашла в нем початую баночку rouge végétal[2], которая лет пятнадцать покоилась рядом с какой-то глазной примочкой в кладовой, — тогда она воскликнула внутри своей души: «Теперь пора и мне выступить на сцену!» В тот же вечер, оставшись наедине с Глафирой Львовной, мадам начала рассказывать о том, как одна — разумеется, княгиня — *интересовалась* одним молодым человеком, как у нее (то есть у Элизы Августовны) сердце изныло, видя, что ангел-княгиня сохнет, страдает; как княгиня, наконец, пала на грудь к ней, как к единственному другу, и живописала ей свои волнения, свои сомнения, прося ее совета; как она разрешила ее сомнения, дала советы; как потом княгиня перестала сохнуть и страдать, напротив, начала толстеть и веселиться. Глафира Львовна сгорала вечерним огнем своим от этих рассказней. Обыкновенно думают, что толстые люди не способны ни к какой страсти, — это неправда: пожар бывает очень продолжите-

[1] недоразумения (*лат.*).
[2] румян (*фр.*).

лен там, где много жирных веществ, — лишь бы разгореться. А Элиза Августовна, как видите, заняла должность раздувательных мехов и раздула маленькие эротические искорки, бегавшие но Глафире Львовне, в довольно большой огонек. Она не дошла, правда, до того, чтоб Глафира Львовна ей поверила свою тайну; она имела даже великодушие не вынуждать у нее признания, потому что это было вовсе не нужно: она хотела иметь Глафиру Львовну в своей власти — и успех был несомненен. Глафира Львовна в продолжение двух недель сделала ей два подарка — купавинской фабрики платок и одно из своих шелковых платьев.

Круциферский, чистый и девственный не только в поступках, но и в самых мечтах, не догадывался, что значит предупредительная услужливость француженки, ее двусмысленные намеки и, наконец, двусмысленные взгляды Глафиры Львовны. Эта недогадливость его, застенчивая рассеянность и потупленные взоры раздували более и более страсть сорокалетней женщины; странное ниспровержение обыкновенного отношения полов придавало особый интерес; в самом деле, Глафира Львовна играла роль завоевателя и соблазнителя, а Дмитрий Яковлевич — невинной девушки, около которой злонамеренный паук начал плесть свою паутину. Добрый Негров ничего не замечал, ходил по-прежнему расспрашивать садовникову жену о состоянии фруктовых деревьев, и тот же мир и совет царил в патриархальном доме Алексея Абрамовича. Теперь мы можем возвратиться на балкон.

Глафира Львовна, не понимая хорошенько бегства своего Иосифа и прохладив себя несколько вечерним воздухом, пошла в спальню, и, как только осталась одна, то есть вдвоем с Элизой Августовной, она вынула письмо; ее обширная грудь волновалась; она дрожащими перстами развернула письмо, начала читать и вдруг вскрикнула, как будто ящерица или лягушка, завернутая в письмо, скользнула ей за пазуху. Три горничные вбежали в комнату, Элиза Августовна схватила письмо. Глафира Львовна требовала одеколон, испуганная горничная подала ей летучей мази, она велела себе лить ее на голову... «Ah, le traître, le scélérat!..[1] можно ли было ожидать от этой скром-

[1] Ах, изменник, злодей (*фр.*)

ницы!.. Англичанка-то наша... нет, этого хамова поколения ничем не облагородишь: ни искры благодарности, ничего... я отогрела змею на груди своей!» Элиза Августовна была в положении одного моего знакомого чиновника, который, всю жизнь успешно плутовав, подал в отставку, будучи уверен, что его некем заменить; подал в отставку, чтоб остаться на службе, — и получил отставку: обманывая целый век, он кончил тем, что обманул самого себя. Как женщина сметливая, она поняла, в чем дело, поняла, какого маху она дала, да с тем вместе сообразила, что она и Глафира Львовна столько же в руках Круциферского, сколько он в их, сообразила, что, если ревность Глафиры Львовны раздражит его, он может уличить Элизу Августовну, и если не имеет средства доказать, то все же бросит недоверие в душу Алексея Абрамовича. Пока она обдумывала, как укротить гнев оставленной Дидоны, вошел в спальню Алексей Абрамович, зевая и осеняя крестом рот свой, — Элиза Августовна была в отчаянии.

— Алексис! — воскликнула негодующая супруга. — Никогда бы в голову мне не пришло, что случилось; представь себе, мой друг: этот скромный-то учитель — он в переписке с Любонькой, да в какой переписке,— читать ужасно; погубил беззащитную сироту!.. Я тебя прошу, чтоб завтра его нога не была в нашем доме. Помилуй, перед глазами нашей дочери... она, конечно, еще ребенок, но это может подействовать на имажинацию[1].

Алексис не был одарен способностью особенно быстро понимать дела и обсуживать их. К тому же он был удивлен не менее, как в медовый месяц после свадьбы, когда Глафира Львовна заклинала его могилой матери, прахом отца позволить ей взять дитя преступной любви. Сверх всего этого, Негров хотел смертельно спать; время для доклада о перехваченной переписке было дурно выбрано: человек сонный может только сердиться на того, кто ему мешает спать, — нервы действуют слабо, все находится под влиянием устали.

— Что такое? Какая переписка у Любы?

— Да, да, переписка у Любоньки с этим студентом... Благонравница-то наша... Уж признаться, от такого рождения всегда бывают такие плоды!..

[1] воображение (от *фр.* imagination).

— Ну, что же в этой переписке? Стакнулись, что ли? А? Поди береги девку в семнадцать лет; недаром все одна сидит, голова болит, да то да се... Да я его, мошенника, жениться на ней заставлю. Что он, забыл, что ли, у кого в доме живет! Где письмо? Фу ты, пропасть какая, как мелко писано! Учитель, а сам писать не умеет, выводит мышиные лапки. Прочти-ка, Глаша.

— Я и читать не стану таких скандалей.

— Вздор какой несет! Сорок лет бабе, а все еще туда же! Дашка, принеси очки из кабинета.

Дашка, хорошо знавшая дорогу в кабинет, принесла очки. Алексей Абрамович сел к свечке, зевнул, приподнял верхнюю губу, что придало его носу очень почтенное выражение, прищурил глаза и начал с большим трудом, с каким-то тяжело книжным произношением читать:

«Да, будьте моей Алиной. Я безумно, страстно, восторженно люблю вас; ваше имя Любовь...»

— Экой балясник какой! — прибавил генерал.

«...Я ничего не надеюсь, я не смею и мечтать об вашей любви; но моя грудь слишком тесна, я не могу не высказать вам, что я вас люблю. Простите мне, у ваших ног прошу вас — простите...»

— Фу ты, вздор какой! Это еще начало первой страницы... нет, брат, довольно! Покорный слуга читать белиберду такую!.. Предупредить было не ваше дело? чего смотрели? зачем дали им стакнуться?.. Ну, да беда-то не велика, у бабы волос долог, да ум короток. Что нашли в письме? враки; а то есть насчет того ничего нет... А замуж Любу пора, и он чем не жених? Доктор говорит, что он десятого класса. Попробуй-ка позаартачиться у меня... Утро вечера мудренее; пора спать; прощай, Лизавета Августовна, глаза зорки, а не доглядела... ну, да завтра поговорим!

И генерал стал раздеваться и через минуту захрапел, уснув с мыслию, что Круциферский у него не отвертится, что он его женит на Любе, — ему наказанье, а ее пристроит к месту.

Это был день неудач. Глафира Львовна никак не ожидала, что в уме Негрова дело это примет такой оборот; она забыла, как в последнее время сама беспрестанно говорила Негрову о том, что пора Любу отдать замуж; с бешенством влюбленной старухи броси-

лась она на постель и готова была кусать наволочки, а может быть, и в самом деле кусала их.

Бедный Круциферский все это время лежал на траве; он так искренно, так от души желал умереть, что будь это во время дамского управления Парок, они бы не вытерпели и перерезали бы его ниточку. Удрученный тягостными чувствами, преданный отчаянию и страху, страху и стыду, изнеможенный, он кончил тем, чем начал Алексей Абрамович, то есть уснул. Не будь у него febris erotica[1], как выражался насчет любви доктор Крупов, у него непременно сделалось бы febris catharralis[2], но тут холодная роса была для него благотворна: сон его, сначала тревожный, успокоился, и, когда он проснулся часа через три, солнце всходило... Гейне совершенно прав, говоря, что это — старая штука: отсюда оно всходит, а там садится; тем не менее эта старая штука недурна; какова она должна быть для влюбленного — и говорить нечего. Воздух был свеж, полон особого внутреннего запаха; роса тяжелыми, беловатыми массами подавалась назад, оставляя за собою миллионы блестящих капель; пурпуровое освещение и непривычные тени придавали что-то новое, странно изящное деревьям, крестьянским избам, всему окружающему; птицы пели на разные голоса; небо было чисто. Дмитрий Яковлевич встал, и на душе у него сделалось легче; перед ним вилась и пропадала дорога, он долго смотрел на нее и думал: не уйти ли ему по ней, не убежать ли от этих людей, поймавших его тайну, его святую тайну, которую он сам уронил в грязь? Как он воротится домой, как встретится с Глафирой Львовной... лучше бы бежать! Но как же оставить ее, где найти силы расстаться с нею?.. И он тихими шагами пошел назад. Вошедши в сад, он увидел в липовой аллее белое платье; яркий румянец выступил у него на щеках при воспоминании о страшной ошибке, о первом поцелуе; но на этот раз тут была Любонька; она сидела на своей любимой лавочке и задумчиво, печально смотрела вдаль. Дмитрий Яковлевич прислонился к дереву и с каким-то вдохновенным упоением смотрел на нее. В самом деле, в эту минуту она была поразительно хороша; какая-то мысль сильно занимала ее; ей было

---

[1] любовной лихорадки (*лат.*).
[2] катаральная лихорадка (*лат.*).

грустно, и грусть эта придавала нечто величественное чертам ее, энергическим, резким, юно-прекрасным. Молодой человек долго стоял, погруженный в созерцание; его взгляд был полон любви и благочестия; наконец он решился подойти к ней. Необходимость с нею поговорить была велика; ее надобно было предупредить насчет письма. Любонька несколько смутилась, увидя Круциферского, но тут не было никакой натяжки, ничего театрального; бросив быстро взгляд на утренний наряд свой, в котором она не ожидала встречи ни с кем, и так же быстро оправив его, она подняла спокойный, благородный взгляд на Дмитрия Яковлевича. Дмитрий Яковлевич стоял перед нею, сложив руки на груди; она встретила взор его, умоляющий, исполненный любви, страдания, надежды, упоения, и протянула ему руку; он сжал ее со слезами на глазах... Господа! как в юности хорош человек!..

Признание, вырвавшееся по поводу «Алины и Альсима», сильно потрясло Любоньку. Она гораздо прежде, с той женской проницательностью, о которой мы говорили, чувствовала, что она любима; но это было нечто подразумеваемое, не названное словом; теперь слово было произнесено, и она вечером писала в своем журнале:

«Едва могу сколько-нибудь привести в порядок мои мысли. Ах, как он плакал! Боже мой, боже мой! Я никогда не думала, чтоб мужчина мог так плакать. Его взгляд одарен какой-то силой, заставившей меня трепетать, и не от страха; его взгляд так нежен, так кроток, кроток, как его голос... Мне так жаль его было; кажется, если б я послушалась моего сердца, я бы сказала ему, что люблю его, поцеловала бы его для того, чтоб утешить. Он был бы счастлив... Да, он любит меня; я это вижу, я сама люблю его. Какая разница между ним и всеми, кого я видала! Как он благороден, нежен! Он мне рассказывал о своих родителях: как он их любит! Зачем он мне сказал: «Будь моей Алиной!», у меня есть свое имя, оно хорошо; я его люблю, я могу быть его, оставаясь собою... Достойна ли я любви его? Мне кажется, что не могу так сильно любить! Опять эта черная мысль, вечно терзающая меня...»

— Прощайте,—сказала Любонька,—да перестаньте же так бояться письма; я ничего не боюсь, я знаю их.

Она пожала ему руку так дружески, так симпатично и скрылась за деревьями. Круциферский остался. Они долго говорили. Круциферский был больше счастлив, нежели вчера несчастлив. Он вспоминал каждое слово ее, носился мечтами бог знает где, и один образ переплетался со всеми. Везде она, она... Но мечтам его положил предел казачок Алексея Абрамовича, пришедший звать его к нему. Утром в такое время его ни разу не требовал Негров.

— Что? — спросил его Круциферский с видом человека, которому на голову вылили ушат холодной воды.

— Да то-с, что к барину пожалуйте, — отвечал казачок довольно грубо.

Видно было, что история письма проникла в переднюю.

— Сейчас,—сказал Круциферский, полумертвый от страха и стыда.

Чего было бояться ему? Кажется, не было никакого сомнения, что Любонька его любит: чего ему еще? Однако он был ни жив ни мертв от страха, да и был ни жив ни мертв от стыда; он никак не мог сообразить, что роль Глафиры Львовны вовсе не лучше его роли. Он не мог себе представить, как встретится с нею. Известное дело, что совершались преступления для поправки неловкости...

— А что, любезнейший, — сказал Негров, с видом величественным и приличным важному делу, его занимавшему, — а что, это у вас в университете, что ли, обучают цидулки-то любовные писать?

Круциферский молчал; он был так взволнован, что тон Негрова его не оскорблял. Этот вид, растерянный и страдающий, пришпорил храброго Алексея Абрамовича, и он чрезвычайно громко продолжал, глядя прямо в лицо Дмитрию Яковлевичу:

— Как же вы, милостивый государь, осмелились в моем доме заводить такие шашни? Да что же вы думаете об моем доме? Да и я-то что, болван, что ли? Стыдно, молодой человек, и безнравственно совращать бедную девушку, у которой ни родителей, ни защитников, ни состояния... Вот нынешний век! Оттого что всему учат вашего брата — грамматике, арифметике, а морали не учат... Ославить девушку, лишить доброго имени...

— Да помилуйте, — отвечал Круциферский, у которого мало-помалу негодование победило сознание нелепого своего положения, — что же я сделал? Я люблю Любовь Александровну (ее звали Александровной, вероятно, потому, что отца звали Алексеем, а камердинера, мужа ее матери, Аксёном) и осмелился высказать это. Мне самому казалось, что я никогда не скажу ни слова о моей любви, — я не знаю, как это случилось; но что же вы находите преступного? Почему вы думаете, что мои намерения порочны?

— А вот почему: если б вы имели честные намерения, так вы бы не стали с толку сбивать девушку своими билье-ду[1], а пришли бы ко мне. Вы знаете, по плоти я ей отец, так вы бы и пришли ко мне, да и попросили бы моего согласия и позволения; а вы задним крыльцом пошли, да и попались, — прошу на меня не пенять, я у себя в доме таких романов не допущу; мудреное ли дело девке голову вскружить! Нет, не ожидал я от вас; вы мастерски прикидывались скромником; и она-то отличилась, поблагодарила за воспитание и за попечение! Глафира Львовна всю ночь проплакала.

— Письмо в ваших руках, — заметил Круциферский, — вы из него можете увидеть, что оно первое.

— Первый блин, да комом. А что, в этом первом письме вы просите ее руки, что ли?

— Я не смел и думать.

— Как это на одно так смелы, а на другое робки? С какою же целью вы писали мышиные лапки на целом почтовом листе кругом?

— Я, право, — отвечал Круциферский, пораженный словами Негрова, — не смел и думать о руке Любови Александровны: я был бы счастливейший из смертных, если б мог надеяться...

— Красноречие — вот вас этому-то там учат, морочить словами! А позвольте вас спросить: если б я и позволил вам сделать предложение и был бы не прочь выдать за вас Любу, — чем же вы станете жить?

Негров, конечно, не принадлежал к особенно умным людям, но он обладал вполне нашей национальной сноровкой, этим особым складом практического ума, который так резко называется: себе на уме. Выдать Любу

[1] любовными записками (от *фр.* billet doux).

замуж за кого бы то ни было — было его любимою мечтою, особенно после того, как почтенные родители заметили, что при ней милая Лизонька теряет очень много. Гораздо прежде письма Алексею Абрамовичу приходило в голову женить Круциферского на Любоньке, да и пристроить его где-нибудь в губернской службе. Мысль эта явилась на том основании, на котором он говорил, что если секретарик добренький подвернется, то Любу и отдать за него. Первое, что ему пришло в голову, когда он открыл любовь Круциферского, — заставить его жениться; он думал, что письмо было шалостью, что молодой человек не так-то легко наденет на себя ярмо брачной жизни; из ответов Круциферского Негров ясно видел, что тот жениться не прочь, и потому он тотчас переменил сторону атаки и завел речь о состоянии, боясь, что Круциферский, решась на брак, спросит его о приданом.

Круциферский молчал; вопрос Негрова придавил чугунной плитою его грудь.

— Вы, — продолжал Негров,—вы не ошибаетесь ли насчет ее состояния? У нее ничего нет и ждать неоткуда; конечно, из моего дома я выпущу ее не в одной юбке, но, кроме тряпья, я не могу ничего дать: у меня своя невеста растет.

Круциферский заметил, что вопрос о приданом совершенно чужд для него. Негров был доволен собою и думал про себя: «Вот настоящая овца, а еще ученый!»

— Вот то-то, любезнейший; с конца добрые люди не начинают. Прежде, нежели цидулки писать да сбивать с толку, надобно бы подумать, что вперед; если вы в самом деле ее любите да хотите руки просить, отчего же вы не позаботились о будущем устройстве?

— Что мне делать? — спросил Круциферский голосом, который потряс бы всякого человека с душою.

— Что делать? Ведь вы — классный чиновник да еще, кажется, десятого класса. Арифметику-то да стихи в сторону; попроситесь на службу царскую; полно баклуши бить — надобно быть полезным; подите-ка на службу в казенную палату: вице-губернатор нам свой человек; со временем будете советником, — чего вам больше? И кусок хлеба обеспечен, и почетное место.

Отроду Круциферскому не приходило в голову идти на службу в казенную или в какую бы то ни было палату; ему было так же мудрено себя представить со-

ветником, как птицей, ежом, шмелем или не знаю чем. Однако он чувствовал, что в основе Негров прав; он так был непроницателен, что не сообразил оригинальной патриархальности Негрова, который уверял, что у Любоньки ничего нет и что ей ждать неоткуда, и вместе с тем распоряжался ее рукой, как отец.

— Я мог бы лучше занять место учителя гимназии, — сказал наконец Дмитрий Яковлевич.

— Ну, это будет поплоше. Что такое учитель гимназии? Чиновник и нет, и к губернатору никогда не приглашают, разве одного директора, жалованье бедное.

Последняя речь была произнесена обыкновенным тоном; Негров совершенно успокоился насчет негоциации и был уверен, что Круциферский из его рук не ускользнет.

— Глаша! — закричал Негров в другую комнату. — Глаша!

Круциферский помертвел: он думал, что последний поцелуй любви для Глафиры Львовны так же был важен и поразителен, как для него первый поцелуй, попавшийся не по адресу.

— Что тебе? — отвечала Глафира Львовна.

— Поди сюда.

Глафира Львовна вошла, придавая себе гордую и величественную мину, которая, разумеется, к ней не шла и которая худо скрывала ее замешательство. По несчастию, Круциферский не мог этого заметить: он боялся взглянуть на нее.

Глаша! — сказал Негров. — Вот Дмитрий Яковлевич просит Любонькиной руки. Мы ее всегда воспитывали и держали, как дочь родную, и имеем право располагать ее рукою; ну, а все же не мешает с нею поговорить; это твое женское дело.

— Ах, боже мой! вы сватаетесь? какие новости! — сказала с горечью Глафира Львовна. — Да это сцена из «Новой Элоизы»!

Если б я был на месте Круциферского, то сказал бы, чтоб не отстать в учености от Глафиры Львовны: «Да-с, а вчерашнее происшествие на балконе — сцена из «Фоблаза», — Круциферский промолчал.

Негров встал в ознаменование конца заседания и сказал:

— Только прошу не думать о Любонькиной руке, пока не получите места. После всего советую, государь

мой, быть осторожным; я буду иметь за вами глаза да глаза. Вам почти и оставаться-то у меня в доме неловко. Навязали и мы себе заботу с этой Любонькой!

Круциферский вышел. Глафира Львовна с величайшим пренебрежением отзывалась о нем и заключила свою речь тем, что такое холодное существо, как Любонька, пойдет за всякого, но счастия не может доставить никому.

На другой день утром Круциферский сидел у себя в комнате, погруженный в глубокую думу. Едва прошли двое суток после чтения «Алины и Альсима», и вдруг он почти жених, она его невеста, он идет на службу... Что за странная власть рока, которая так распоряжается его жизнию, подняла его на верх человеческого благополучия, и чем же? Подняла тем, что он поцеловал одну женщину вместо другой, отдал ей чужую записку. Не чудеса ли, не сон ли все это? Потом он припоминал опять и опять все слова, все взгляды Любоньки в липовой аллее, и на душе у него становилось широко, торжественно.

Вдруг послышались чьи-то тяжелые шаги по корабельной лестнице, которая вела к нему в комнату. Круциферский вздрогнул и с каким-то полустрахом ждал появления лица, поддерживаемого такими тяжелыми шагами. Дверь отворилась, и вошел наш старый знакомый, доктор Крупов; появление его весьма удивило кандидата. Он всякую неделю ездил раз, а иногда и два к Негрову, но в комнату Круциферского никогда не ходил. Его посещение предвещало что-то особенное.

— Этакая проклятая лестница! — сказал он, задыхаясь и обтирая *белым* платком пот с лица. — Нашел же Алексей Абрамович для вас комнату.

— Ах, Семен Иванович! — произнес быстро кандидат и покраснел бог знает почему.

— Ба! — продолжал доктор. — Да какой вид из окон! Это вон вдали-то белеется дубасовская церковь, что ли, вот вправо-то?

— Кажется; наверное, впрочем, не знаю, — отвечал Круциферский, пристально посмотрев налево.

— Студент, неизлечимый студент! Ну, как живете вы здесь месяцы и не знаете, что из окна видно. Ох, молодость!.. Ну, дайте-ка вашу руку пощупать.

— Я, слава богу, здоров, Семен Иванович.

— Вот вам и слава богу, — продолжал доктор, подержав руку Круциферского, — я знал это; усиленный и неравномерный. Позвольте-ка... раз, два, три, четыре... лихорадочный, жизненная деятельность сильно поднята. Вот с таким-то пульсом человек и решается на всякие глупости: бейся пульс ровно, тук, тук, тук, никогда бы вы не дошли до этого. Мне там, внизу, почтеннейший мой, говорят: «Хочет-де жениться», — ушам не верю; ну, ведь малый, думаю, не глупый, я же его и из Москвы привез... не верю; пойду посмотрю; так и есть: усиленный и неравномерный; да при этом пульсе не только жениться, а черт знает каких глупостей можно наделать. Ну, кто же в лихорадочном состоянии решится на такой важный шаг? Подумайте. Полечитесь прежде, приведите орган мышления, то есть мозг, в нормальное состояние, чтоб кровь-то ему не мешала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вам кровь, ну, так, чайную чашечку с половинкой?

— Покорнейше благодарю; я не чувствую никакой нужды.

— Где же вам знать, что нужно и что нет: ведь вы медицине совсем не учились, а я выучился. Ну, не хотите кровопусканья, примите глауберовой соли; аптечка со мной, я, пожалуй, дам.

— Я вам очень благодарен за участие, но должен предупредить вас, что я здоров и вовсе не шутя, а в самом деле хочу (здесь он запнулся)... жениться и не понимаю, что вы имеете против моего благополучия.

— Очень многое! — Старик сделал пресерьезное лицо. — Я вас люблю, молодой человек, и потому жалею. Вы, Дмитрий Яковлевич, на закате моих дней напомнили мне мою юность, много прошедшего напомнили; я вам желаю добра, и молчать теперь мне показалось преступлением. Ну, как вам жениться в ваши лета? Ведь это Негров вас надул... Вот видите ли, как вы взволнованы, вы не хотите меня слушать, я это вижу, но я вас заставлю выслушать меня; лета имеют свои права...

— О, нет, Семен Иванович, — сказал молодой человек, несколько смешавшись от слов старика, — я понимаю, что из любви ко мне, из желания добра вы высказываете свое мнение; мне жаль только, что оно несколько излишне, даже поздно.

— О, если бы только то вы имели против моего мнения, это — сущая безделица; никогда не поздно остановиться. Брак... у-у какое тяжелое дело! Беда в том, что одни те и не думают, что такое брак, которые вступают в него, то есть после-то и раздумывают на досуге, да поздненько: это все — febris erotica; где человеку обсудить такой шаг, когда у него пульс бьется, как у вас, любезный друг мой? Вы понтируете на все свое состояние: может быть, и удастся сорвать банк, может... да какой же умный человек будет рисковать? Ну, да в картах сам виноват, сам и наказан: по делам вору му́ка. А в женитьбе непременно с собою топишь еще человека. Эй, Дмитрий Яковлевич, подумай! Я верю, что вы ее любите, что и она вас любит, но это ничего не значит. Будьте уверены, что любовь пройдет в обоих случаях: уедете куда-нибудь — пройдет; женитесь — еще скорее пройдет; я сам был влюблен и не раз, а раз пять, но бог спас, и я, возвращаясь теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю от своих трудов; день я весь принадлежу моим больным, вечерком в вистик сыграешь, да и ляжешь себе без заботы... А с женою хлопоты, крик, дети, да весь мир погибай, кроме моей семьи! Трудно жить на месте, трудно перебираться; пойдут мелкие сплетни, вертись около своего очага, книгу под лавку; надобно думать о деньгах, о запасах. Теперь, хоть бы об вас молвить: придет иной раз нужда — что за беда, всякое бывает! Мы, бывало, с Антоном Фердинандовичем,—знакомый вам человек,—денег какой-нибудь рубль, а есть и курить хочется, — купим четверку «фалеру», так уж, кроме хлеба, ничего и не едим, а купим фунт ветчины, так уж не курим, да оба и хохочем над этим, и все ничего; а с женой не то: жену жаль, жена будет реветь...

— О, нет! Эта девушка, наверное, найдет силы перенести нужду. Вы ее не знаете!

— Это-то, любезнейший, еще хуже; как бы очень-то начала кричать, рассердит, по крайней мере, плюнешь, да и прочь пойдешь; а как будет молчать да худеть, а ты-то себе: «Бедная, за что я тебя стащил на антониеву пищу»... Поломаешь голову, как бы достать денег. Ну, честным путем, брат, не разживешься, плутовать не станешь, — вот ты подумаешь, подумаешь да для освежения головы и хватишь горьконького; оно ничего — я сам употребляю желудочную, — а знаешь, как

вторую с горя-то да третью... понимаешь? Ну, да, положим, что и будет кусок хлеба... то есть не больше; ведь она хоть и дочь Негрову, а Негров-то хоть и богат, да ведь я его знаю — не разгуляется! Вот за дочерью-то он приготовил пятьсот душ, ну, а Любоньке разве пять тысяч рублей даст, — что за капитал?.. Ох, жаль мне тебя, Дмитрий Яковлевич! Ну, пусть другие, которые лучшего ничего из себя не сделают, — ты-то бы поберег себя. Я бы предложил вам другое место; поскорее отсюда вон — любовь-то и порассеялась бы; у нас в гимназии открылась хорошая ваканция. Не ребячься, будь мужчина!

— Право, Семен Иваныч, я благодарен вам за участие; но все это совершенно лишнее, что вы говорите: вы хотите застращать меня, как ребенка. Я лучше расстанусь с жизнию, нежели откажусь от этого ангела. Я не смел надеяться на такое счастие; сам бог устроил это дело.

— Эк его! — сказал неумолимый Крупов. — А все я его погубил: ну, зачем было рекомендовать в этот дом! Бог устроил — как же! Негров тебя надул да твоя молодость. Так и быть, не хочу ничего утаивать. Я, любезный Дмитрий Яковлевич, долго жил на свете и не похвастаюсь умом, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведет нас не в гостиную, не в залу, а в кабинет да в спальню. Я много видел на своем веку людей и ни одного не пропускал, чтобы не рассмотреть его на обе корки. Вы ведь все людей видите в ливреях да в маскарадных платьях, — а мы за кулисы ходим; нагляделся я на семейные картины; стыдиться-то тут некого, люди тут нараспашку, без церемонии. Homo sapiens[1] — какой sapiens, к черту! — ferus[2], зверь, самый дикий, в своей берлоге кроток, а человек в берлоге-то своей и делается хуже зверя... К чему бишь я это начал?.. да... да... ну, так я привык такие характеры разбирать. Не пара тебе твоя невеста, уж что ты хочешь, — эти глаза, этот цвет лица, этот трепет, который иногда пробегает по ее лицу, — она тигренок, который еще не знает своей силы; а ты — да что ты? Ты — невеста; ты, братец, немка; ты будешь жена, — ну, годно ли это?

---

[1] Человек разумный (*лат.*).
[2] дикий (*лат.*).

Круциферский обиделся последней выходкой и, против своего обыкновения, довольно холодно и сухо сказал:

— Есть случаи, в которых принимающие участие помогают, а не читают диссертации. Может быть, все то, что вы говорите, правда, — я не стану возражать; будущее — дело темное; я знаю одно: мне теперь два выхода, — куда они ведут, трудно сказать, но третьего нет: или броситься в воду, или быть счастливейшим человеком.

— Лучше броситься в воду: разом конец! — сказал Крупов, тоже несколько оскорбленный, и вынул *красный* платок.

Разговор этот, само собою разумеется, не принес той пользы, которой от него ждал доктор Крупов; может быть, он был хороший врач тела, но за душевные болезни принимался неловко. Он, вероятно, по собственному опыту судил о силе любви: он сказал, что был несколько раз влюблен, и, следственно, имел большую практику, но именно потому-то он и не умел обсудить такой любви, которая бывает один раз в жизни.

Крупов ушел рассерженный и вечером того дня за ужином у вице-губернатора декламировал полтора часа на свою любимую тему — бранил женщин и семейную жизнь, забыв, что вице-губернатор был женат на третьей жене и от каждой имел по нескольку человек детей. Слова Крупова почти не сделали никакого влияния на Круциферского, — я говорю *почти*, потому что неопределенное, неясное, но тяжелое впечатление осталось, как после зловещего крика ворона, как после встречи с покойником, когда мы торопимся на веселый пир. Все это изгладилось, само собою разумеется, при первом взгляде Любоньки.

— Повесть, кажется, близка к концу, — говорите вы, разумеется, радуясь.

— Извините, она еще не начиналась, — отвечаю я с должным почтением.

— Помилуйте, остается послать за священником!

— Да-с; но ведь я считаю концом, когда за священником посылают, чтоб он соборовал маслом, да и то иной раз не конец. А когда служитель церкви яв-

ляется с тем, чтоб венчать, то это начало совсем новой повести, в которой только те же лица. Они не замедлят явиться перед вами.

V. ВЛАДИМИР БЕЛЬТОВ

В***, — впрочем нет никакой необходимости астрономически и географически точно определять место и время,—в XIX столетии были в губернском городе NN дворянские выборы. Город оживлялся; часто были слышны бубенчики и скрип дорожных экипажей; часто были видны помещичьи зимние повозки, кибитки, возки всех возможных видов, набитые внутри всякою всячиною и украшенные снаружи целой дворней, в шинелях и тулупах, подвязанных полотенцами; часть ее обыкновенно городом шла пешком, кланялась с лавочниками, улыбалась стоящим у ворот товарищам; другая спала во всех положениях человеческого тела, в которых неудобно спать. Мало-помалу помещичьи лошади перевезли почти всех главных действующих лиц в *губернию,* и отставной корнет Дрягалов был уже налицо и украшал пунцового цвета занавесами окна своей квартиры, нанятой на последние деньги; он ездил в пять губерний на все выборы и на главнейшие ярмарки и нигде *не проигрывался,* несмотря на то что с утра до ночи играл в карты, и не наживался, несмотря на то что с утра до ночи выигрывал. И отставной генерал Хрящов, славившийся музыкантами, богач, наездник, несмотря на 65 лет, был налицо; он являлся на выборы давать четыре бала и всякий раз отказываться болезнью от места губернского предводителя, которое всякий раз предлагали ему благодарные дворяне. В гостиных начали появляться странные фраки, покоившиеся целое трехлетие, переложенные табачным листом, с бархатными воротниками, изменившимися в цвете и сохранившими какую-то отчаянную форму; вместе с ними явились и странные мундиры всех времен: и милиционные, и с двумя рядами пуговиц, и однобортные, и с одной эполетой, и совсем без эполет. С утра до ночи делались визиты; три года часть этих людей не видалась и с тяжелым чувством замечала, глядя друг на друга, умножение седых волос, морщин, худобы и толщины; те же лица, а будто не те: гений разрушения

оставил на каждом свои следы; а со стороны, с чувством, еще более тяжелым, можно было заметить совсем противоположное, и эти три года так же прошли, как и тринадцать, как и тридцать лет, предшествовавшие им...

Во всем городе только и говорили о кандидатах, обедах, уездных предводителях, балах и судьях. Правитель канцелярии гражданского губернатора третий день ломал голову над проектом речи; он испортил две дести бумаги, писав: «Милостивые государи, благородное NN-ское дворянство!..», тут он останавливался, и его брало раздумье, как начать: «Позвольте мне снова в среде вашей» или: «Радуюсь, что я в среде вашей снова»... И он говорил старшему помощнику:

— Ах, Куприян Васильевич, самое запутанное уголовное дело легче в семьсот раз разобрать, нежели написать речь!

— Вы бы попросили у Антона Антоновича «Образцовые сочинения»; там, я помню, есть речи.

— Славная мысль! — сказал правитель дел, страшно больно хлопнув по плечу своего помощника. — Ай да Куприян Куприянович!

Правитель дел думал, что очень остро называть человека раз по батюшке да раз по самому себе. И он в тот же вечер составил несколько строк, руководствуясь речью князя Холмского из «Марфы Посадницы» Карамзина.

Среди этих всеобщих и трудных занятий вдруг внимание города, уже столь напряженное, обратилось на совершенно неожиданное, никому не известное лицо, — лицо, которого никто не ждал, ни даже корнет Дрягалов, ждавший всех, — лицо, о котором никто не думал, которое было вовсе не нужно в патриархальной семье общинных глав, которое свалилось, как с неба, а в самом деле приехало в прекрасном английском дормезе. Лицо это было отставной губернский секретарь Владимир Петрович Бельтов; чего у него недовешивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3000 душ незаложенного имения; это-то имение, Белое Поле, очень подробно знали избираемые и избиратели; но владетель Белого Поля был какой-то миф, сказочное, темное лицо, о котором повествовали иногда всякие несбыточности, так, как повествуют о далеких странах, о Камчатке, о Калифорнии, — вещи странные для

нас, невероятные. Несколько лет тому назад говорили, например, что Бельтов, только что вышедший из университета, попал в милость к министру; потом, вслед за тем, говорили, что Бельтов рассорился с ним и вышел в отставку назло своему покровителю. Этому не верили. Есть лица, о которых в провинциях составлено окончательное и определенное понятие; с этими лицами ссориться нельзя, а можно и должно им свидетельствовать почтение; вероятно ли, что Бельтов осмелился?.. Нет, разве навлек на себя справедливый гнев, разве проигрался в карты, или спился, или увез у когонибудь дочь, то есть не у особы какой-нибудь, а так, дочь чью-нибудь. Потом сказывали, что он уехал во Францию; к этому догадливые и ученые прибавляли, что он никогда не воротится, что он принадлежит к масонской ложе в Париже и что ложа назначила его совестным судьей в Америку. «Весьма вероятно! — говорили многие. — Он с малых лет был как брошенный; отец его умер, кажется, в тот год, в который он родился; мать — вы знаете, какого происхождения; притом женщина пустая, *экзальте,* да и гувернер им попался преразвращенный, никому не умел оказывать должного». Сверх того, этим объясняли, почему он так запустил хозяйство, хотя мужики его славятся богатством и ходят в сапогах. Наконец, года три совсем о нем не говорили, и вдруг это странное лицо, совестный судья от парижской масонской ложи в Америке, человек, ссорившийся с теми, которым надобно свидетельствовать глубочайшее почтение, уехавший во Францию на веки веков,—явился перед NN-ским обществом, как лист перед травой, и явился для того, чтобы приискивать себе голоса на выборах. Во всем этом было чрезвычайно много непонятного для NN-ских жителей. Что за странное предпочтение губернской службы столичной? Что за странное предпочтение службы по выборам? Потом: Париж — и дворянское депутатское собрание, 3000 душ — и чин губернского секретаря... Ну, было над чем потрудиться и без того занятым NN-цам.

Сильнейшая голова в городе был бесспорно председатель уголовной палаты; он решал окончательно, безапелляционно все вопросы, занимавшие общество, к нему ездили совещаться о семейных делах; он был очень учен, литератор и философ. У него был только один соперник — инспектор врачебной управы Крупов,

и председатель как-то действительно конфузился при нем; но авторитет Крупова далеко не был так всеобщ, особенно после того, как одна дама губернской аристократии, очень чувствительная и не менее образованная, сказала при многих свидетелях: «Я уважаю Семена Ивановича; но может ли человек понять сердце женщины, может ли понять нежные чувства души, когда он мог смотреть на мертвые тела и, может быть, касался до них рукою?» — Все дамы согласились, что не может, и решили единогласно, что председатель уголовной палаты, не имеющий таких свирепых привычек, один способен решать вопросы нежные, где замешано сердце женщины, не говоря уже о всех прочих вопросах. Само собою разумеется, что одна мысль блеснула почти у всех, когда явился Бельтов: что-то скажет Антон Антонович насчет его приезда? — Но Антон Антонович был не такой человек, к которому можно было так вдруг адресоваться: «Что вы думаете о г. Бельтове?» Далеко нет; он даже, как нарочно (а весьма может быть, что и в самом деле нарочно), три дня не был видим ни на висте у вице-губернатора, ни на чае у генерала Хрящова. Всех любопытнее, с своей стороны, и всех предприимчивее в городе был один советник с Анною в петлице, употреблявший чрезвычайно ловко свой орден, так, что, как бы он ни сидел или ни стоял, орден можно было видеть со всех точек комнаты. Этот носитель ордена св. Анны в петлице решился в воскресенье от губернатора (у которого он не мог не быть в воскресные и праздничные дни) заехать на минуту в собор и, если председателя там нет, ехать прямо к нему. Подъезжая к собору, советник спросил квартального поручика: тут ли председательские сани?—«Никак нет-с,— отвечал квартальный,— да, должно быть, их высокородие и не будут, потому что сейчас я видел, их кучер Пафнушка шел в питейный». Последнее обстоятельство показалось очень важным советнику: не поедет же Антон Антонович в кафедральный собор, подумал он, на одной лошади, а где же Никешке-форейтору справиться с парой буланых! И он, не заходя уж в собор, отправился к председателю.

Председатель, вовсе не ожидая посещения, сидел в своем домашнем костюме, состоявшем из какой-то длинной вязаной куртки, из широких панталон и валя-

ных сапогов на ногах. Он был не велик ростом, широкоплеч и с огромной головой (ум любит простор); все черты лица его выражали какую-то важность, что-то торжественное и исполненное сознания своей силы. Он обыкновенно говорил протяжно, с ударением, так, как следует говорить мужу, вершающему окончательно все вопросы; если какой-нибудь дерзновенный перебивал его, он останавливался, ждал минуту-две и потом повторял снова с нажимом последнее слово, продолжая фразу точно в том духе и характере, в каком начал. Возражений он не мог терпеть, да и не приходилось никогда их слышать ни от кого, кроме доктора Крупова; остальным в голову не приходило спорить с ним, хотя многие и не соглашались; сам губернатор, чувствуя внутри себя все превосходство умственных способностей председателя, отзывался о нем как о человеке необыкновенно умном и говорил: «Помилуйте, ему не председателем быть уголовной палаты, повыше бы мог подняться. Какие сведения! Да и потом вы послушайте его рассуждения — это просто Массильон! Он много по службе потерял, посвящая большую часть времени чтению и наукам».— Итак, этот-то господин, много потерявший из любви к наукам, сидел в куртке перед своим письменным столом; подписав разные протоколы и выставив в пустом месте достодолжное *число ударов* за корчемство, за бродяжество и т. п., он досуха обтер перо, положил его на стол, взял с полочки книгу, переплетенную в сафьян, раскрыл ее и начал читать. Мало-помалу у него по лицу распространилось какое-то сладкое, невыразимое чувство довольства. Но чтение продолжалось недолго; явился на сцену советник с Анной в петлице.

— А я-с как беспокоился на ваш счет, ей-богу! К губернатору поздравить с праздником приехал,—вас, Антон Антонович, нет; вчера не изволили на висте быть; в собор — ваших саней нет; думаю,— не ровён час, ведь могли и занемочь; всякий может занемочь... от слова ничего не сделается. Что с вами? Ей-богу, я так встревожился!

— Покорнейше вас благодарю; я, слава всевышнему, не жалуюсь на здоровье; а вас прошу занять место, почтеннейший господин советник.

— Ах, Антон Антонович! Я, кажется, помешал вам: вы изволили читать.

— Ничего, мой почтеннейший, ничего; у меня есть время для муз и есть для добрых приятелей.

— Вот-с, Антон Антонович! Я полагаю, насчет новеньких книжечек можно теперь вам поснабдиться...

— Не люблю новых,— прервал председатель дипломата-советчика,— не люблю-с новых книг. Вот и теперь перечитывал «Душеньку» в сотый раз и, истинно уверяю вас, с новым удивительным наслаждением. Какая легкость, какое *востроумие!* — Да, Ипполит Федорович не завещал никому таланта.

Тут председатель прочел:

Злоумна ненависть, судя повсюду строго,
　　Очей имеет много,
И видит сквозь покров закрытые дела.
Вотще от сестр своих царевна их скрывала.
И день, и два, и три притворство продолжала,
Как будто бы она супруга въявь ждала.
Сестры темнили вид, под чем он был неявен,
Чего не вымыслит коварная хула?
Он был, по их речам, и страшен и злоправен.

— Вот-с,— перебил в свою очередь советник,— это точно слово в слово, как у нас теперь говорят об вояжере, посетившем наш город; охота, право, пустословить.

Председатель посмотрел на него строго и, как будто ничего не видал и не слыхал, продолжал:

Он был, по их речам, и страшен и злоправен.
И, верно, Душенька с чудовищем жила.
Советы скромности в сей час она забыла,
Сестры ли в том виной, судьба ли то, иль рок,
　　Иль Душенькин то был порок,
　　Она, вздохнув, сестрам открыла,
Что только тень одну в супружестве любила,
Открыла, как и где приходит тень на срок,
И происшествия подробно рассказала,
　　Но только лишь сказать не знала,
　　Каков и кто ее супруг,
　　Колдун, иль змей, иль бог, иль дух.

— Вот эти стихи не звук пустой, а стихи с душою и с сердцем. Я, мой почтеннейший господин советник, по слабости ли моих способностей или по недостатку светского образования, не понимаю новых книг, с Василия Андреевича Жуковского начиная.

Советник, который отроду ничего не читал, кроме резолюций губернского правления, и то только своего отделения,— по прочим он считал себя обязанным

высшей деликатностью подписывать, не читая,— заметил;

— Без сомнения; а вот я полагаю, что приезжие из столицы не так думают.

— Что нам до них!— ответил председатель.— Знаю и очень знаю, все *повременные* издания ныне хвалят Пушкина; читал я и его. Стихи гладенькие, но мысли нет, чувства нет, а для меня, когда здесь нет (он ошибкою показал на правую сторону груди), так одно пустословие.

— Я сам чрезвычайно люблю чтение,— прибавил советник, которому никак не удавалось овладеть предметом разговора,— да времени совсем не имею: утро провозишься с проклятыми бумагами, в делах правления истинно мало пищи уму и сердцу, а вечером бостончик, вистик.

— Кто хочет читать,— возразил, воздержно улыбаясь, председатель,— тот не будет всякий вечер сидеть за картами.

— Конечно, так-с; вот, например, говорят об этом-с Бельтове, что он в руки карт не берет, а все читает.

Председатель промолчал.

— Вы, верно, изволили слышать об его приезде?

— Слышал что-то подобное,— отвечал небрежно философ-судия.

— Говорят, страшной учености; вот-с будет вам под пару, право-с; говорят, что даже по-итальянски умеет.

— Где нам,— возразил с чувством собственного достоинства председатель,— где нам! Слыхали мы о господине Бельтове: и в чужих краях был, и в министерствах служил; куда нам, провинциальным медведям! А впрочем, посмотрим. Я лично не имею чести его знать,— он не посещал меня.

— Да он и у его превосходительства не был-с, а ведь приехал, я думаю, дней пять тому назад... Точно, сегодня в обед будет пять дней. Я с Максимом Ивановичем обедал у полицеймейстера, и, как теперь помню, за *пудином* услышали мы колокольчик; Максим Иванович, — знаете его слабость, — не вытерпел: «Матушка, говорит, Вера Васильевна, простите», подбежал к окну и вдруг закричал: «Карета шестерней, да какая карета!» Я к окну: точно, карета шестерней, отличнейшая,— Иохима, должно быть, работы, ей-богу. Поли-

цеймейстер сейчас унтера... «Бельтов-де из Петербурга».

— Мне, сказать откровенно,— начал председатель несколько таинственно,— этот господин подозрителен: он или промотался, или в связях с полицией, или сам под надзором полиции. Помилуйте, тащится девятьсот верст на выборы, имея три тысячи душ!

— Конечно-с, сомнения нет. Признаюсь, дорого дал бы я, чтобы вы его увидели: тогда бы тотчас узнали, в чем дело. Я вчера после обеда прогуливался,— Семен Иванович для здоровья приказывает,— прошел так раза два мимо гостиницы; вдруг выходит в сени молодой человек,— я так и думал, что это он, спросил полового, говорит: «Это — камердинер». Одет, как наш брат, нельзя узнать, что человек... Ах, боже мой, да у вашего подъезда остановилась карета!

— Что ж вас это удивляет? — возразил стоический председатель.— Меня нередко посещают добрые знакомые.

— Да-с; но, может быть...

В эту минуту вошла в комнату толстая, румяная горничная, в глубоком дезабилье, и сказала: «Приехал какой-то помещик в карете; я его не видала прежде, принимать, что ли?»

— Подай мне халат,— сказал председатель,— и проси...

Что-то вроде улыбки показалось на лице его в то время, как он облекался в свой шелковый халат цвета лягушечьей спинки. Советник встал со стула и был в сильном волнении.

Человек лет тридцати, прилично и просто одетый, вошел, учтиво кланяясь хозяину. Он был строен, худощав, и в лице его как-то странно соединялись добродушный взгляд с насмешливыми губами, выражение порядочного человека с выражением баловня, следы долгих и скорбных дум с следами страстей, которые, кажется, не обуздывались. Председатель, не теряя чувства своей доблести, приподнялся с кресел и показывал, стоя на одном месте, вид, будто он идет навстречу.

— Я—здешний помещик Бельтов, приехал сюда на выборы и счел себя обязанным познакомиться с вами.

— Чрезвычайно рад,— сказал председатель,— чрезвычайно рад и прошу покорнейше, милостивый государь, занять место.

Все сели.

— Недавно изволили приехать?

— Дней пять тому назад.

— Откуда?

— Из Петербурга.

— Ну, вам после столичного шума будет очень скучно в монотонной жизни маленького провинциального городка.

— Не знаю, но, право, не думаю; мне как-то в больших городах было очень скучно.

Оставимте на несколько минут, или на несколько страниц, председателя и советника, который, после получения Анны в петлицу, ни разу не был в таком восторге, как теперь: он пожирал сердцем, умом, глазами и ушами приезжего; он все высмотрел: и то, что у него жилет был не застегнут на последнюю пуговицу, и то, что у него в нижней челюсти с правой стороны зуб был выдернут, и проч. и проч. Оставимте их и займемтесь, как NN-цы, исключительно странным гостем.

VI

Мы уже знаем, что отец Бельтова умер вскоре после его рождения и что мать его была *экзальте* и обвинялась в дурном поведении Бельтова. По несчастию, нельзя не согласиться, что она одна из главных причин всех неудач в карьере своего сына. История этой женщины сама по себе очень замечательна. Она родилась крестьянкой; лет пяти ее взяли во двор; у ее барыни были две дочери и муж; муж заводил фабрики, делал агрономические опыты и кончил тем, что заложил все имение в Воспитательный дом. Вероятно, считая, что этим исполнил свое экономическое призвание в мире сем, он умер. Расстройство дел ужаснуло вдову; она плакала, плакала, наконец утерла слезы и с мужеством великого человека принялась за поправку имения. Только ум женщины, только сердце нежной матери, желающей приданого дочерям, может изобрести все средства, употребленные ею для достижения цели. От сушения грибов и малины, от сбора талек и обвешиванья маслом до порубки в чужих рощах *и продажи парней в рекруты, не стесняясь очередью,*— все было употреблено в действие (это было очень давно, и что теперь

редко встречается, то было еще в обычае тогда),— и, надобно правду сказать, помещица села Засекина пользовалась всеобщей репутацией несравненной матери. Между разными бумагами покойного агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансиона в Москве, списалась с нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять к себе трех-четырех дворовых девочек, предполагая из них сделать гувернанток для своих дочерей или для посторонних. Через несколько лет возвратились доморощенные гувернантки к барыне с громким аттестатом, в котором было написано, что они знают закон божий, арифметику, российскую пространную и всеобщую краткую историю, французский язык и проч., в ознаменование чего при акте их наградили золотообрезными экземплярами «Paul et Virginie»[1]. Барыня велела очистить для них особую комнату и ждала случая их пристроить. Тетка отца нашего Бельтова искала именно в это время воспитательницу для своих дочерей и, узнав, что соседка ее имеет гувернанток, ей принадлежащих, адресовалась к ней,— потолковала о цене, поспорили, посердились, разошлись и, наконец, поладили. Барыня позволила тетке выбрать любую, и выбор пал на будущую мать нашего героя. Года через два-три приехал в свою деревню отец Владимира. Он был молод, развратен, игрок, в отставке, охотник пить, ходить с ружьем, показывать ненужную удаль и волочиться за всеми женщинами моложе тридцати лет и без значительных недостатков в лице. Со всем этим нельзя сказать, чтоб он был решительно пропащий человек: праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него «семь фунтов грязи», как выражается один мой знакомый, но к чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла к нему. Бельтов был редко чем-нибудь занят и потому часто посещал свою тетку; имение его было в пяти верстах от теткиной усадьбы. Софи (так звали гувернантку) приглянулась ему: ей было лет двадцать,— высокая ростом, брюнетка, с темными глазами и с пышной косой юности. Долго думать казалось Бельтову смешным; он, вопреки Вобановой системе, не повел *дальних апрошей,* а как-то, оставшись с ней один в комнате, обнял ее за талию,

[1] «Поль и Виргиния» (*фр.*).

расцеловал и звал очень усердно пройтиться вечером по саду. Она вырвалась из его рук, хотела было кричать, но чувство стыда, но боязнь гласности остановили ее; без памяти бросилась она в свою комнату и тут в первый раз вымерила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленного положения. Раздраженный отказом, Бельтов начал ее преследовать своей любовью, дарил ей брильянтовый перстень, который она не взяла, обещал брегетовские часы, которых у него не было, и не мог надивиться, откуда идет неприступность красавицы; он и ревновать принимался, но не мог найти к кому; наконец, раздосадованный Бельтов прибегнул к угрозам, к брани,— и это не помогло; тогда ему пришла другая мысль в голову: предложить тетке большие деньги за Софи,—он был уверен, что алчность победит ее выставляемое целомудрие; но как человек, вечно поступавший очертя голову, он намекнул о своем намерении бедной девушке; разумеется, это ее испугало более всего прочего, она бросилась к ногам своей барыни, обливаясь слезами, рассказала ей все и умоляла позволить ехать в Петербург. Не знаю, как это случилось, но она барыню застала врасплох; старуха, не зная Талейранова правила —«никогда не следовать первому побуждению сердца, потому что оно всегда хорошо»,—тронулась ее судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взнос двух тысяч рублей. «Я сама,— сказала она ей,— заплатила за тебя эти деньги; а корм и платье, с тех пор потраченные на тебя? Ну, а пока выплатишь деньги, присылай мне какой-нибудь небольшой оброк, рублей сто двадцать, и я велю Платошке написать паспорт; он ведь у меня дурак, испортит, пожалуй, лист, а нынче куды дорога гербовая бумага». Софи согласилась на все, благодарила, обливаясь слезами, барыню и несколько успокоилась. Через неделю Платошка написал паспорт, заметил в нем, что у ней лицо обыкновенное, нос обыкновенный, рост средний, рот умеренный и что особых примет не оказалось, кроме *по-французски говорит;* а через месяц Софи упросила жену управляющего соседним имением, ехавшую в Петербург положить в ломбард деньги и отдать в гимназию сына, взять ее с собою; кибитку нагрузили грибами, вареньем, медом, мочеными и сушеными ягодами, назначенными в подарки; жена управляющего оставила только место для себя;

Софи поместилась на какой-то кадке, которая в продолжение девятисот верст напоминала ей, что она сделана не из лебяжьего пуха. Гимназиста усадили на козлах; он был долговязый малый, лет четырнадцати, куривший нежинские корешки и более развитый, нежели казалось; он всю дорогу ухаживал за Софи, и если б не помойного цвета прищуренные глаза его матери, то он, может быть, перещеголял бы Бельтова. A propos[1], Бельтов сделал опыт увезти Софи, когда она переезжала от тетки к управительше, и вероятно бы увез, если б кучер не нарезался пьян и не сбился с дороги. С досады и в первую минуту горького сознания о кислоте винограда Бельтов разболтал свой роман не совсем в том виде, как он был, компании игроков. Он представил, что тетка его, ревнивая, как все старухи, насильно услала Софью, влюбленную в него более, нежели по уши; впрочем, он отчасти был рад, что она уехала и увезла с собой кой-какие знаки его внимания. Известно, что из кочующих племен в Европе цыгане и игроки никогда не ведут оседлой жизни, и потому нет ничего удивительного, что один из слушателей Бельтова через несколько дней был уже в Петербурге. Он находился в самой тесной дружбе с француженкой Жукур, содержательницей пансиона. Жукур, шнуровавшаяся ежедневно до сорока лет и носившая платья с высоким воротом из стыдливости, была неумолимо строга к нравственности ближнего; говоря о том о сем, она рассказала своему другу, что у ней нанялось классной дамой престранное существо, принадлежащее NN-ской госпоже и говорящее прекрасно по-французски. Кочующий друг расхохотался. «Ба! старая знакомая! это прекрасно! это превосходно — ха, ха, ха, ха, — помилуйте, да я ее тысячу раз видал у Бельтова, куда она таскалась по ночам, когда у тетки в доме все спали». Потом, ревнуя о репутации заведения, он предупредил мадам Жукур насчет положения Софи. Жукур была вне себя от испуга, кричала: «Quelle demoralisation dans ce pays barbare!»[2], забыла от негодования все на свете, даже и то, что у привилегированной повивальной бабки, на углу их улицы, воспитывались два ребенка, разом родившиеся, из которых один был

[1] Кстати (*фр.*).
[2] Какой разврат в этой варварской стране! (*фр.*)

похож на Жукур, а другой — на кочующего друга. Сгоряча она хотела послать за квартальным, потом ехать к французскому консулу, но рассудила, что это вовсе не нужно, и просто-напросто прогнала Софи из дому самым грубым образом, забыв второпях отдать ей следующие деньги.— Жукур рассказала трем другим содержательницам страшную историю, эти — всем остальным в Петербурге. Куда ни адресовалась бедная девушка, везде ей указывали дверь. Она стала искать частного места, но где найти — знакомых нет. Вышло было какое-то место в отъезд, и довольно выгодное, но мать прежде, нежели кончила, съездила осведомиться к мадам Жукур — и потом благодарила провидение за спасение дочери. Софи подождала еще неделю, пересчитала свои деньги,— у ней было тридцать пять рублей и никаких надежд; квартира, которую она наняла, была ей не по карману, и она, долго искав, переехала наконец в пятый, если не шестой, этаж огромного дома в конце Гороховой, набитого всякой сволочью. Двумя грязными двориками, имевшими вид какого-то дна не вовсе просохнувшего озера, надобно было дойти до маленькой двери, едва заметной в колоссальной стене; оттуда вела сырая, темная, каменная, с изломанными ступенями, бесконечная лестница, на которую отворялись, при каждой площадке, две-три двери; в самом верху, на финском небе, как выражаются петербургские остряки, нанимала комнатку немка-старуха; у нее паралич отнял обе ноги, и она полутрупом лежала четвертый год у печки, вязала чулки по будням и читала Лютеров перевод Библии по праздникам. Комнатка была шага в три; из них два казались бедной немке совершенной роскошью, и она отдавала их внаем, вместе с окном, от которого на пол-аршина возвышалась боковая, некрашеная кирпичная стена другого дома. Софи поговорила с немкой и наняла этот будуар; в этом будуаре было грязно, черно, сыро и чадно; дверь отворялась в холодный коридор, по которому ползали какие-то дети, жалкие, оборванные, бледные, рыжие, с глазами, заплывшими золотухой; кругом все было битком набито пьяными мастеровыми; лучшую квартиру в этом этаже занимали швеи; никогда не было, по крайней мере днем, заметно, чтоб они работали, но по образу жизни видно было, что они далеки от крайности; кухарка, жившая у них, ежедневно раз

пять бегала в полпивную с кувшином, у которого был отбит нос... Все старания найти место были тщетны; добрая немка просила и хлопотала через единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при детях, поразведать, нет ли какого места? Та обещала, но ничего не представилось. Софи решилась на последнее: она стала искать места горничной и нашла было одно; в цене сошлись, но *особая примета* в паспорте так удивила барыню, что она сказала: «Нет, голубушка, мне не по состоянию иметь горничную, которая говорит по-французски». Софи принялась шить белье. Начальница швей была очень довольна ее строчкой, заплатила ей почти все, что следовало по уговору, и звала к себе напиться чаю, вместо которого потчевала розовым пивом; она очень приглашала бедную девушку переехать к себе, но какой-то внутренний ужас остановил Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она, с гордостью захлопнув дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь заискивать, дворянка какая важная! У нас немка из Риги живет не хуже тебя собой». Вечером начальница с колкой иронией отзывалась о бедной девушке комиссару, приходившему иногда вечером отдыхать в приятном обществе от дневных трудов, и так заинтересовала его, что он немедленно отправился в комнату немки и спросил ее:

— Что, фрау-мадам, как живете-можете? А? Пора бы ведь за ногами!

Немка, торопливо надевая чепчик, который всегда лежал возле нее для непредвидимых случаев, отвечала:

— Што телить, бог не перебирай!

— Ну, а где же эта Телебеевой девка, Софья Немчинова?

— Здесь,— отвечала Софи.

— Где это тебя угораздило выучиться по-французски, а? Плут-девка, должно быть; ну-тка, поговори по-французски.

Софи молчала.

— Видно, не умеешь? Ну, что-нибудь скажи-ка.

Софи молчала, и ее глаза были полны слез.

— Фрау-мадам, что, умеет она по-вашему?

— Ошень карашо!

— Небось как ты — вприсядку плясать.. а что вы этак настоечки не держите? Я что-то прозяб.

— Нет,— отвечала немка.

— Плохо, ну, а это яблоко чье? (Яблоко это принесла знакомая немке старуха, и она его берегла с середы, чтоб закусить им Лютеров перевод Библии в воскресенье.)

— Мой,— отвечала немка.

— Ну, где тебе его раскусить; вот ведь француженка эта съест у тебя; ну, прощайте,— сказал комиссар, не сделавший, впрочем, никакого вреда, и, очень довольный собою, отправился, с яблоком в кармане, к швеям.

Томно, страшно тянулись дни; несчастная девушка потухала в этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всем и всеми. Не будь она так развита, может быть, она сладила бы как-нибудь, нашлась бы и тут; но воспитание раскрыло в ней столько нежного, деликатного, что на нее все окружающее действовало в десять раз сильнее. Были минуты такого изнурения, такого онемения сил, что она, вероятно, упала бы глубоко, если б не была защищена от падения той грязной, будничной наружностью, под которой порок выказывался ей. Были минуты, в которые мысль принять яду приходила ей в голову, она хотела себя казнить, чтоб выйти из безвыходного положения; она тем ближе была к отчаянию, что не могла себя ни в чем упрекнуть; были минуты, в которые злоба, ненависть наполняли и ее сердце; в одну из таких минут она схватила перо и, сама не давая себе отчета, что делает и для чего, написала, в каком-то торжественном гневе, письмо к Бельтову. Вот оно:

«Я не хочу удерживаться более. Пишу к вам, пишу для того только, чтоб иметь последнюю, может быть, радость в моей жизни — высказать вам все презренье мое; я охотно заплачу последние копейки, назначенные на хлеб, за отправку письма; я буду жить мыслию, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной, в доме вашей тетушки, показали мне в вас безнравственного шалуна, бездушного развратника; я еще, разумеется, по неопытности, извиняла вас дурным воспитанием, кругом, в котором вы тратите свою жизнь; я извиняла вас тем, что мое странное положение вызывало вас на это. Но клевета, которой вы повершили их, гнусная, подлая клевета, показала мне всю меру вашей

низости, даже не злодейства, а именно низости: вы решились из мести, из мелкого самолюбия погубить беззащитную девушку, налгать на нее. И за что? Разве вы в самом деле любили меня? Спросите свою совесть... Радуйтесь же, вам удалось: ваш приятель очернил меня здесь, меня выгнали, на меня смотрели с презрением, мои уши должны были слышать страшные оскорбления; наконец, я без куска хлеба, а потому выслушайте от меня, что я сама гнушаюсь вами, потому что вы мелкий, презренный человек; выслушайте это от горничной вашей тетки... Как мне приятно думать о бессильной злобе, о бешенстве, с которыми вы будете читать эти строки; а ведь вы слывете за порядочного человека и, вероятно, послали бы пулю в лоб, если б ктонибудь из равных вам сказал это».

Бельтов, проигравшийся в пух, раздосадованный, валялся перед чаем на диване, когда посланный в город привез ему, между прочим, и письмо от Софи. Он не знал ее руки; следовательно, не догадался по адресу, от кого письмо, и прехладнокровно развернул его. При первой строчке рука его задрожала, но он дочитал письмо спокойно, встал, бережно сложил его, потом сел на стул и обернулся головою к окну. Два часа просидел он в этом положении; чай давно уже стоял на столе, и он не хлебнул еще из своего стакана; трубка его давным-давно докурилась, и он не кликал казачка. Когда он совершенно пришел в себя, ему показалось, что он вынес тяжкую, долгую болезнь; он чувствовал слабость в ногах, усталь, шум в ушах; провел раза два рукою по голове, как будто щупая, тут ли она; ему было холодно, он был бледен как полотно; пошел в спальню, выслал человека и бросился на диван, совсем одетый... Через час он позвонил; а на другой день, чем свет, по плотине возле мельницы простучала дорожная коляска, и четверка сильных лошадей дружно подымала ее в гору; мельники, вышедшие посмотреть, спрашивали: «Куда это наш барин?» — «Да, говорят, в Питер»,— отвечал один из них. А через полгода по тому же мосту простучала та же коляска назад: барин воротился с барыней. Сельский священник, ходивший поздравить Бельтова с приездом, возвратясь домой, с величайшим удивлением говорил жене:

— Попадья, а попадья! Знаешь, кто барыня? Вот

что была учительница-то, бывшая у Веры Васильевны от засекинской барыни. Чудны дела твои, господи!

— Что? Небось,— отвечала попадья,— приступу нет?

— Нет, не хочу лжесвидетельствовать,— отвечал священник,— словоохотна и благодушна.

Тетка, двое суток сердившаяся на Бельтова за его первый пассаж с гувернанткой, целую жизнь не могла забыть несносного брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза; она часто говорила, что дожила бы до ста лет, если б этот несчастный случай не лишил ее сна и аппетита. Видно, уж таково устройство женского сердца: сама Бельтова не могла изжить страшного опыта, перенесенного ею до замужества. Есть нежные и тонкие организации, которые именно от нежности не перерываются горем, уступают ему по видимому, но искажаются, но принимают в себя глубоко, ужасно глубоко испытанное и в продолжение всей жизни не могут отделаться от его влияния; выстраданный опыт остается какой-то злотворной материей, живет в крови, в самой жизни, и то скроется, то вдруг обнаруживается с страшной силой и разлагает тело. Именно такая натура была у Бельтовой: ни любовь мужа, ни благотворное влияние на него, которое было очевидно, не могли исторгнуть горького начала из души ее; она боялась людей, была задумчива, дика, сосредоточена в себе, была худа, бледна, недоверчива, все чего-то боялась, любила плакать и сидела молча целые часы на балконе. Года через три Бельтов простудился и дней в пять умер; тело его, изнуренное прежней жизнию, не имело достаточных сил победить горячку; он умер в беспамятстве. Софи поднесла к нему двухгодового мальчика: он дико взглянул на него, и испуганный ребенок потянулся ручонками в другую комнату. Удар этот сильно потряс Бельтову: она любила этого человека за его страстное раскаяние; она узнала благородную натуру из-за грязи, которая к ней пристала от окружавшего ее; она оценила его перемену; она любила даже иногда возвращавшиеся порывы буйного разгула и дикой необузданности избалованного нрава.

Со всей своей болезненной раздражительностью обратилась Бельтова, после потери мужа, на воспитание малютки; если он дурно спал ночью — она вовсе не спала; если он казался нездоровым — она была больна;

словом, она им жила, им дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь к сыну была смешана у ней с черным началом ее души. Мысль, что она потеряет ребенка, почти беспрестанно вплеталась в мечты ее; она часто с отчаянием смотрела на спящего младенца и, когда он был очень покоен, робко подносила трепещущую руку к устам его. Но, вопреки внутреннему голосу матери, как она называла болезненные грезы свои, ребенок рос и, если не был очень здоров, то не был и болен. Она не выезжала из Белого Поля; мальчик был совершенно один и, как все одинокие дети, развился не по летам; впрочем, и помимо внешних влияний, в ребенке были видимы несомненные признаки редких способностей и энергического характера. Настало время учения. Бельтова отправилась с сыном в Москву, для того чтоб найти гувернера. У ее покойного мужа жил в Москве дядя, оригинал большой руки, ненавидимый всей роднею, капризный холостяк, преумный, препраздный и, в самом деле, пренесносный своей своеобычностью.

Не могу никак удержаться, чтоб не сказать несколько слов и об этом чудаке: меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц. Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна,— это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец, без задней мысли — куда вынесет! Если б можно было, я составил бы биографический словарь, по азбучному порядку, всех, например, бреющих бороду, сначала; для краткости можно бы выпустить жизнеописания ученых, литераторов, художников, отличившихся воинов, государственных людей, вообще людей, занятых общими интересами: их жизнь однообразна, скучна; успехи, таланты, гонения, рукоплескания, кабинетная жизнь или жизнь вне дома, смерть на полдороге, бедность в старости,— ничего своего, а все принадлежащее эпохе. Вот поэтому-то я нисколько не избегаю биографических отступлений: они раскрывают всю роскошь мироздания. Желающий может пропускать эти эпизоды, но с тем вместе он пропустит и повесть. Итак, биография дядюшки.

Отец его — степной помещик, прикидывавшийся

всегда разоренным,— ходил всю жизнь в нагольном тулупе, сам ездил продавать в губернский город рожь, овес и гречиху, причем, как водится, обмеривал и был за это проучаем иногда. Однако сына своего, несмотря на расстроенные обстоятельства, он отправил в гвардию и с ним — две четверки лошадей, двух поваров, камердинера, лакея-гиганта и четырех мальчиков как hors d'oeuvre[1]. В Петербурге находили, что молодой офицер прекрасно воспитан, то есть имеет восемь лошадей, не меньшее число людей, двух поваров и проч. Все шло сначала как по маслу; будущий дядюшка сделался гвардии поручиком, как вдруг произошло важное событие в его жизни: оно случилось в семидесятых годах. В прекрасный зимний день ему вздумалось прокатиться в санях по Невскому; за Аничковым мостом его нагнали большие сани тройкой, поравнялись с ним, хотели обогнать,— вы знаете сердце русского: поручик закричал кучеру: «Пошел!» — «Пошел!» — закричал львиным голосом высокий, статный мужчина, закутанный в медвежью шубу и сидевший в других санях. Поручик обогнал. Задыхаясь от бешенства, при повороте господин в медвежьей шубе, державший в руке арапник, вытянул им поручичьего кучера, нарочно зацепив за барина:

— Не перегонять, бестия!

— Что вы, с ума сошли?— спросил офицер.

— Я хочу отучить вашего дурака, чтоб он не смел перегонять.

— Я ему велел скакать, милостивый государь, и вы понимаете, что я слишком уважаю мундир моей государыни, чтоб позволить запятнать его.

— Ба, какой молодчик,— да кто ты такой?

— Да ты кто?— спросил поручик, готовый броситься на него, как зверь.

Статный мужчина посмотрел на него с презрением, показал ему свой кулак величиною с слоновью ногу и сказал:

— В рукопашный? Нет, брат, отстанешь! — Потом закричал кучеру.— Пошел!

— Ступай за ним!— вскрикнул поручик своему кучеру, прибавив слова два, до того всем известные, что их и в лексиконе не помещают.

[1] добавление к главному (*фр.*).

Офицер, действительно, узнал, где живет этот господин, однако идти к нему раздумал; он решился написать ему письмо и начал было довольно удачно; но ему, как нарочно, помешали: его потребовал генерал, велел за что-то арестовать; потом его перевели в гарнизон Орской крепости. Орская крепость вся стоит на яшме и на благороднейших горнокаменных породах, тем не менее там очень скучно. Офицер взял с собою экземпляр Кребильоновых романов и с таким назидательным чтением отправился на границу Уфимской провинции. Года через три его опять перевели в гвардию, но он возвратился из Орской крепости, по замечанию знакомых, несколько поврежденным; вышел в отставку, потом уехал в имение, доставшееся ему после разоренного отца, который, кряхтя и ходя в нагольном тулупе,— для одного, впрочем, скругления,— прикупил две тысячи пятьсот душ окольных крестьян; там новый помещик поссорился со всеми родными и уехал в чужие краи. Года три пропадал он в английских университетах, потом объехал почти всю Европу, минуя Австрию и Испанию, которых не любил; был в связях со всеми знаменитостями, просиживал вечера с Боннетом, толкуя об органической жизни, и целые ночи с Бомарше, толкуя о его процессах за бокалами вина; дружески переписывался с Шлёцером, который тогда издавал свою знаменитую газету; ездил нарочно в Эрменонвиль к угасавшему Жан-Жаку и гордо проехал мимо Фернея, не заезжая к Вольтеру. Возвратившись лет через десять из путешествия, он попробовал пожить в Петербурге. Ему пришлась не по вкусу петербургская жизнь, и он поселился в Москве. Сначала находил он все странным; потом все его стали находить странным. И в самом деле, он как-то потерялся... стал читать одни медицинские книги, видимо, опускался, становился озлобленным, капризным, чужим всему и ко всему охладевшим...

К нему приехал около того времени, как Бельтова искала гувернера, рекомендованный одним из его швейцарских друзей женевец, желавший определиться в воспитатели. Женевец был человек лет сорока, седой, худощавый, с юными голубыми глазами и с строгим благочестием в лице. Он был человек отлично образованный, славно знал по-латыни, был хороший ботаник; в деле воспитания мечтатель с юношескою добросовест-

ностью видел исполнение долга, страшную ответственность; он изучил всевозможные трактаты о воспитании и педагогии от «Эмиля» и Песталоцци до Базедова и Николаи; одного он не вычитал в этих книгах — что важнейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, так, как для каждой страны, еще более для каждого сословия, а может быть, и для каждой семьи, должно быть свое воспитание. Этого женевец не мог знать: он сердце человеческое изучал по Плутарху, он знал современность по Мальт-Брёну и статистикам; он в сорок лет без слез не умел читать «Дон-Карлоса», верил в полноту самоотвержения, не мог простить Наполеону, что он не освободил Корсики, и возил с собой портрет Паоли. Правда, и он имел горькие столкновения с миром практическим; бедность, неудачи крепко давили его, но он от этого еще менее узнал действительность. Печальный, бродил он по чудным берегам своего озера, негодующий на свою судьбу, негодующий на Европу, и вдруг воображение указало ему на север — на новую страну, которая, как Австралия в физическом отношении, представляла в нравственном что-то слагающееся в огромных размерах, что-то иное, новое, возникающее... Женевец купил себе историю Левека, прочел Вольтерова «Петра I» и через неделю пошел пешком в Петербург. При девственном взгляде своем на мир женевец имел какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель неисправим: он останется на веки веков ребенком.

Бельтова познакомилась с ним у дяди; она едва смела надеяться найти идеального гувернера, который сложился у ней в фантазии, но женевец был близок к нему. Она предложила ему (по тогдашнему очень много) четыре тысячи рублей в год. Женевец сказал, что ему надобно только тысячу двести, и согласился. Бельтова изъявила свое удивление, но он хладнокровно возразил, что он с нее берет не менее и не более, как сколько нужно, что он составил себе бюджет в восемьсот рублей да на непредвиденные случаи полагает четыреста: «к роскоши,— прибавил он,— я приучаться не хочу, а собирать капитал считаю делом бесчестным». И этому-то безумцу вверила мать воспи-

тание будущего обладателя Белым Полем с пустошами и угодьями!

Один старик дядя, всем на свете недовольный, был и этим недоволен, и в то время, как Бельтова была вне себя от радости, дядя (один из всех родных ее мужа, принимавший ее) говорил: «Ох, Софья, Софья! Все ты вздор делаешь; женевец остался бы преспокойно у меня чтецом; что он за гувернер? За ним надо еще няньку, да и что он сделает из Володи? — Швейцарца. Так уж лучше, по-моему, просто тебе везти его куда-нибудь в Вевей или Лозанну...» Софья видела в этих словах эгоизм старика, полюбившего женевца, и, не желая сердить его, молчала; а потом, спустя недели две, отправилась с Володей и с юношею в сорок лет назад в свое именье. Дело было весною; женевец начал с того, что развил в Володе страсть к ботанике; с раннего утра отправлялись они гербаризировать, и живой разговор заменял скучные уроки: всякий предмет, попавшийся на глаза, был темою, и Володя с чрезвычайным вниманием слушал объяснения женевца. После обеда сидели обыкновенно на балконе, выходившем в сад, и женевец рассказывал биографии великих людей, дальние путешествия, иногда позволял в виде награды читать самому Володе Плутарха... И время шло, и два выбора прошли, и пришло время везти Володю в университет. Матери что-то не хотелось; она в эти годы более сдружилась с кротким счастием, нежели во всю жизнь; ей было так хорошо в этой безмятежной, созвучной жизни, что она боялась всякой перемены: она так привыкла и так любила ждать на своем заветном балконе Володю с дальних прогулок; она так наслаждалась им, когда он, отирая пот с своего лица, раскрасневшийся и веселый, бросался к ней на шею; она с такой гордостью, с таким наслаждением смотрела на него, что готова была заплакать. В самом деле, вид Володи имел в себе что-то трогательное: он был так благороден, что-то такое прямое, открытое, доверчивое было в нем, что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Как очевидно было, что на этого стройного, гибкого отрока с светлым взором жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посещало этой груди, что ложь не переходила чрез эти уста, что он совсем не знал, что ожидает его с летами. Женевец привязался к своему ученику

почти так же, как мать; он иногда, долго смотрев на него, опускал глаза, полные слез, думая: «И моя жизнь не погибла; довольно, довольно сознания, что я способствовал развитию такого юноши,— меня совесть не упрекнет!»

Как все перепутано, как все странно на белом свете! Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготовляют Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтоб он не понимал действительности; они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы; вместо того чтоб вести на рынок и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что эта грация, что это музыкальное сочетание движений с звуками — обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственного Каспара Гаузера. Таков был и женевец,— но какая разница — он, бедный ученый, готовый переходить с края на край земного шара с небольшой котомкой, с портретом Паоли, с своими заповедными мечтами и с привычкой довольствоваться малым, с презрением к роскоши и с готовностью на труд,— что же в нем было схожего с назначением Володи и с его общественным положением?..

Но как ни сдружилась Бельтова с своей отшельнической жизнию, как ни было больно ей оторваться от тихого Белого Поля,— она решилась ехать в Москву. Приехав, Бельтова повезла Володю тотчас к дяде. Старик был очень слаб; она застала его полулежащего в вольтеровских креслах; ноги были закутаны шалями из козьего пуху; седые и редкие волосы длинными космами падали на халат; на глазах был зеленый зонтик.

— Ну, ты чем занимаешься, Владимир Петрович?— спросил старик.

— Готовлюсь в университет, дедушка, — отвечал юноша.

— В какой?

— В московский.

— Что там делать? Я сам знаком был с Матеем, да и с Геймом,— ну, а все, кажется бы, в Оксфорд лучше; а, Софья? Право, лучше. А по какой части хочешь ты идти?

— По юридической, дедушка.

Дедушка сделал презрительную мину.

— Ну, что ж! Выучишь le droit naturel, le droit des gens, le code de Justinien[1],— потом что?

— Потом,— отвечала мать, улыбаясь,— потом в Петербург служить.

— Ха, ха, ха! Очень нужно знать Pandectes[2] и все эти Closses![3] Или, может быть, вы, Владимир Петрович, в жюрисконсульты собираетесь — ха, ха, ха!— в адвокаты? Делайте, как знаете, а по-моему, братец, иди по дохтурской части; я тебе библиотеку свою оставлю — большая библиотека,— я ее держал в хорошем порядке и все новое выписывал; медицинская наука теперь лучше всех; ну, ведь ближнему будешь полезен, из-за денег тебе лечить стыдно, даром будешь лечить,— а совесть-то спокойна.

Зная упорность мнений старика, ни Володя, ни мать его не возражали, но женевец не вытерпел и сказал:

— Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владимиру Петровичу не идти по гражданской части, когда всеми средствами стараются, чтоб образованные молодые люди шли в службу.

— Он выучит вас да кстати и меня; а я был в Женеве, когда он еще ползал на четвереньках,— отвечал капризный старик,—мой милый citoyen de Genève![4] А знаете ли вы,—прибавил он, смягчившись,— у нас в каком-то переводе из Жан-Жака было написано: «Сочинение женевского *мещанина* Руссо»...— и старик закашлялся от смеха.

Он тысячу раз рассказывал об этом переводе, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знает.

— Володя,— продолжал он уже в веселом расположении,— не пишешь ли ты виршей?

— Пробовал, дедушка,— отвечал Владимир, покраснев.

— Пожалуйста, не пиши, любезный друг; одни пустые люди пишут вирши; ведь это futilitè[5], надобно делом заниматься.

---

[1] естественное право, международное право, кодекс Юстиниана (*фр.*).

[2] Пандекты (*фр.*).

[3] Глоссы (*фр.*).

[4] женевский гражданин! (*фр.*)

[5] пустяки (*фр.*).

Только последний совет Владимир и исполнил: стихов он не писал. Вступил же он не в оксфордский университет, а в московский, и не по медицинской части, а по этико-политической. Университет довершил воспитание Бельтова: доселе он был один, теперь попал в шумную семью товарищества. Здесь он узнал свой удельный вес, здесь он встретил горячую симпатию юных друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, стал усердно заниматься науками. Сам декан не был равнодушен к нему, находя, что ему недостает только покороче волос и побольше почтительного благонравия, чтоб быть отличным студентом. Кончился наконец и курс; раздали на акте юношам подорожные в жизнь. Бельтова стала собираться в Петербург; сына она хотела отправить вперед, потом, устроив свои дела, ехать за ним. Прежде нежели университетские друзья разбрелись по белу свету, собрались они у Бельтова, накануне его отъезда, все были еще полны надежд; будущность раскрывала свои объятия, манила, отчасти, как Клеопатра, предоставляя себе право казни за восторги. Молодые люди чертили себе колоссальные планы... Никто не подозревал, что один кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим все достояние свое в преферанс; другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не выпьет трех рюмок зорной настойки перед обедом и не проспит трех часов после обеда; третий — на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши — не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. В ушах Бельтова еще раздавались клятвы в дружбе, в верности мечтам, звуки чокающихся бокалов,— как женевец в дорожном платье будил его.

Мечтатель мой с восторгом ехал в Петербург. Деятельность, деятельность!.. Там-то совершатся его надежды, там-то он разовьет свои проекты, там узнает действительность — в этом средоточии, из которого выходит вся новая жизнь России! Москва, думал он, совершила свой подвиг, свела в себя, как в горячее сердце, все вены государства; она бьется за него; но Петербург, Петербург — это мозг России, он вверху, около него ледяной и гранитный череп; это возмужалая мысль империи... И ряд подобных мыслей и метафор тянулся в его голове без малейшей натяжки и с святою искрен-

ностью. А дилижанс между тем катился от станции до станции и вез, сверх наших мечтателей, отставного конноегерского полковника с седыми усами, архангельского чиновника, возившего с собою окаменелую шемаю, ромашку на случай расстройства здоровья и лакея, одетого в плешивый тулуп, да светло-белокурого юнкера, у которого щеки были темнее волос и который гордился своим влиянием на кондуктора. Для Владимира все эти лица имели новость, праздничный вид. Он добродушно смеялся над архангелогородцем, когда тот его угощал ископаемой шемаей, и улыбался над его неловкостью, когда он так долго шарил в кошельке, чтоб найти приличную монету отдать за порцию щей, что нетерпеливый полковник платил за него; он не мог довольно нарадоваться, что архангельский житель говорил полковнику «ваше превосходительство» и что полковник не мог решительно выразить ни одной мысли, не начав и не окончив ее словами, далеко не столь почтительными; ему даже был смешон неуклюжий старичок, служивший у архангельского проезжего или, правильнее, не умиравший у него в услужении и переплетенный в cuir russe[1], несмотря на холод. Юноша на все смотрел добродушно!

Приезд его в Петербург и первое появление в свете было чрезвычайно успешно. Он имел рекомендательное письмо к одной старой девице с весом; старая девица, увидя прекрасного собою юношу, решила, что он очень образован и знает прекрасно языки. Ее брат был начальником какой-то отрасли гражданского управления. Она представила ему Владимира. Тот поговорил с ним несколько минут и в самом деле был поражен его простою речью, его многосторонним образованием и пылким, пламенным умом. Он ему предложил записать его в свою канцелярию, сам поручил директору обратить на него особенное внимание. Владимир принялся рьяно за дела; ему понравилась бюрократия, рассматриваемая сквозь призму 19 лет,— бюрократия хлопотливая, занятая, с нумерами и регистратурой, с озабоченным видом и кипами бумаг под рукой; он видел в канцелярии мельничное колесо, которое заставляет двигаться массы людей, разбросанных на половине земного шара,— он все поэтизировал.

[1] русскую кожу (*фр.*).

Приехала наконец и Бельтова в Петербург. Женевец все еще жил у них; в последнее время он порывался несколько раз оставить Бельтовых, но не мог: он так сжился с этим семейством, так много уделил своего Владимиру и так глубоко уважал его мать, что ему трудно было переступить за порог их дома; он становился угрюм, боролся с собою,— он, как мы сказали, был холодный мечтатель и, следовательно, неисправим. Как-то вечером, вскоре после определения Владимира на службу, маленькая семья сидела у камина. Молодой Бельтов, у которого и самолюбие было развито, и юное сознание сил и готовности,— мечтал о будущем; у него в голове бродили разные надежды, планы, упования; он мечтал об обширной гражданской деятельности, о том, как он посвятит всю жизнь ей... и среди этих увлечений будущим пылкий юноша вдруг бросился на шею к женевцу. «И как много обязан я тебе, истинный, добрый друг наш,— сказал он ему,— в том, что я сделался человеком,— тебе и моей матери я обязан всем, всем; ты больше для меня, нежели родной отец!» Женевец закрыл рукою глаза, потом посмотрел на мать, на сына, хотел что-то сказать,— ничего не сказал, встал и вышел вон из комнаты.

Пришедши в свой небольшой кабинет, женевец запер дверь, вытащил из-под дивана свой пыльный чемоданчик, обтер его и начал укладывать свои сокровища, с любовью пересматривая их; эти сокровища обличали как-то въявь всю бесконечную нежность этого человека: у него хранился бережно завернутый портфель; портфель этот, криво и косо сделанный, склеил для женевца двенадцатилетний Володя к Новому году, тайком от него, ночью; сверху он налепил выдранный из какой-то книги портрет Вашингтона; далее у него хранился акварельный портрет четырнадцатилетнего Володи: он был нарисован с открытой шеей, загорелый, с пробивающейся мыслию в глазах и с тем видом, полным упования, надежды, который у него сохранился еще лет на пять, а потом мелькал в редкие минуты, как солнце в Петербурге, как что-то прошедшее, не прилаживающееся ко всем прочим чертам; еще были у него серебряные математические инструменты, подаренные ему стариком дядей; его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытиснено изображение праздника при федерализации, принадлежавшая

старику и лежавшая всегда возле него,— ее женевец купил после смерти старика у его камердинера. Уложив все эти драгоценности и еще кой-какие в том же роде, он отобрал книг пятнадцать, остальные отложил. Потом, ранним утром, вышел он осторожно в Морскую, призвал ломового извозчика, вынес с человеком чемоданчик и книги и поручил ему сказать, что он поехал дня на два за город, надел длинный сюртук, взял трость и зонтик, пожал руку лакею, который служил при нем, и пошел пешком с извозчиком; крупные слезы капали у него на сюртук.

Дня через два Бельтова, чрезвычайно удивленная поездкой женевца, но ожидавшая его возвращения, получила следующее письмо:

«Милостивая государыня! Вчера вечером я получил полную награду за труды мои. Поверьте, эта минута останется мне памятною; она проводит меня до конца жизни как утешение, как мое оправдание в моих собственных глазах,— но с тем вместе она торжественно заключила мое дело, она ясно показала, что учитель должен оставить уже собственному развитию воспитанника, что он уже скорее может повредить своим влиянием самобытности, нежели быть полезным. Человек должен целую жизнь воспитываться, но есть эпоха, после которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сделать теперь для вашего сына — он опередил меня.

Давно собирался я оставить ваш дом, но моя слабость мешала мне,— мешала мне любовь к вашему сыну; если б я не бежал теперь, я никогда бы не сумел исполнить этот долг, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила: я не мог уж и потому остаться, что считаю унизительным даром есть чужой хлеб и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетворение своих нужд. Итак, вы видите, что мне следовало оставить ваш дом. Расстанемся друзьями и не будем более говорить об этом.

Когда вы получите это письмо, я буду по дороге в Финляндию; оттуда я намерен отправиться в Швецию; буду путешествовать, пока проживу свои деньги; потом примусь опять за работу: силы у меня еще найдутся.

В последнее время я не брал у вас денег; не делайте опыта мне их пересылать, а отдайте половину

человеку, который ходил за мною, а половину — прочим слугам, которым прошу вас дружески от меня поклониться: я подчас доставлял много хлопот этим бедным людям. Оставшиеся книги примет от меня в подарок Вольдемар. К нему я пишу особо.

Прощайте, прощайте, благороднейшая и глубоко уважаемая женщина! Да будет благословение на доме вашем; впрочем, чего желать вам, имея такого сына? Желаю одного: чтоб вы и он жили долго, очень долго. Вашу руку».

Письмо его к Владимиру начиналось так:

«Не советы учителя, а советы друга будут последнею речью к тебе, Вольдемар. Ты знаешь, у меня нет родных, которые мне были бы близки, да нет и посторонних ближе тебя, несмотря на безмерное расстояние лет. На твоем челе покоятся мои упования и надежды. Я стяжал, Вольдемар, право дать тебе дружеский совет, уезжая. Иди дорогой, которую тебе указала судьба: она прекрасна; я не боюсь неудач и несчастий: они найдут в тебе отпор и силу, — я боюсь успехов и счастия, ты стоишь на скользкой дороге. Служи делу, но смотри, чтоб не вышло обратного: чтоб дело не служило тебе. Не смешай, Вольдемар, средство с целью. Одна любовь к ближнему, одна любовь к благу должна быть целью. Если любовь иссякнет в душе твоей, ты ничего не сделаешь, ты будешь обманывать себя; только любовь созидает прочное и живое, а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя...»

Всего письма не перепишешь: оно в три почтовые листа.

Так исчез в жизни Владимира этот светлый и добрый образ воспитателя. «Где-то наш monsieur Joseph?»[1]— часто говаривали мать или сын, и они оба задумывались, и в воображении у них носилась кроткая, спокойная и несколько монашеская фигура, в своем длинном дорожном сюртуке, пропадающая за гордыми и независимыми норвежскими горами.

[1] господин Жозеф (*фр.*).

VII

Азаис доказывал (очень скучно), что все в мире наверстывается; разумеется, чтоб верить этому, не надобно быть слишком строгим и придираться к мелочам. Основываясь на этом, мы просим позволения, в виде возмездия за потерю мсье Жозефа, представить Осипа Евсеича. Осип Евсеич был худенький, седенький старичок, лет шестидесяти, в потертом вицмундирном фраке, всегда с довольным видом и красными щеками. Он тридцать лет управлял четвертым столом в той канцелярии, куда поступил Бельтов; пятнадцать лет до того времени он был писцом в том же столе; наконец, остальные пятнадцать лет он провел на дворе канцелярии в почетном звании швейцарова сына, дававшем ему аристократический вес перед детьми всех сторожей. Этот человек всего лучше мог служить доказательством, что не дальние путешествия, не университетские лекции, не широкий круг деятельности образуют человека: он был чрезвычайно опытен в делах, в знании людей и к тому же такой дипломат, что, конечно, не отстал бы ни от Остермана, ни от Талейрана. От природы сметливый, он имел полную возможность и досуг развить и воспитать свой практический ум, сидя с пятнадцати лет в канцелярии; ему не мешали ни науки, ни чтение, ни фразы, ни несбыточные теории, которыми мы из книг развращаем воображение, ни блеск светской жизни, ни поэтические фантазии. Он, переписывая набело бумаги и рассматривая в то же время людей начерно, приобретал ежедневно более и более глубокое знание действительности, верное пониманье окружающего и верный такт поведения, спокойно проведший его между канцелярских омутов, неказистых, но тинистых и чрезвычайно опасных. Менялись главные начальники, менялись директоры, мелькали начальники отделения, а столоначальник четвертого стола оставался тот же, и все его любили, потому что он был необходим и потому что он тщательно скрывал это; все отличали его и отдавали ему справедливость, потому что он старался совершенно стереть себя; он все знал, все помнил по делам канцелярии; у него справлялись, как в архиве, и он не лез вперед; ему предлагал директор место начальника отделения — он остался верен четвертому столу; его хотели представить к кресту —

он на два года отдалил от себя крест, прося заменить его годовым окладом жалованья, единственно потому, что столоначальник третьего стола мог позавидовать ему. Таков он был во всем: никогда никто из посторонних не жаловался на его лихоимство; никогда никто из сослуживцев не подозревал его в бескорыстии. Вы можете себе представить, сколько разных дел прошло в продолжение сорока пяти лет через его руки, и никогда никакое дело не вывело Осипа Евсеича из себя, не привело в негодование, не лишило веселого расположения духа; он отроду не переходил мысленно от делопроизводства на бумаге к действительному существованию обстоятельств и лиц; он на дела смотрел как-то отвлеченно, как на сцепление большого числа отношений, сообщений, рапортов и запросов, в известном порядке расположенных и по известным правилам разросшихся; продолжая дело в своем столе или *сообщая ему движение,* как говорят романтики-столоначальники, он имел в виду, само собою разумеется, одну очистку своего стола и оканчивал дело у себя как удобнее было: справкой в Красноярске, которая не могла ближе двух лет возвратиться, или заготовлением окончательного решения, или — это он любил всего больше — пересылкою дела в другую канцелярию, где уже другой столоначальник оканчивал по тем же правилам этот гранпасьянс; он до того был беспристрастен, что вовсе не думал, например, что могут быть лица, которые пойдут по миру прежде, нежели воротится справка из Красноярска,— Фемида должна быть слепа...

Вот этот-то почтеннейший сослуживец Владимира, месяца через три после его определения, окончив пересмотр перебеленных бумаг и задав нового корма перьям четырех писцов, вынул свою серебряную табакерку с чернью, поднес ее помощнику и прибавил:

— Попробуйте-ка, Василий Васильевич, ворошатинского; приятель привез из Владимира.

— Славный табак! — возразил помощник через минуту, которую он провел между жизнью и смертью, нюхнув большую щепотку сухой светло-зеленой пыли.

— Что? Забирает-с? — сказал столоначальник, очень довольный тем, что попортил носовую перепонку своего помощника.

— А что, Осип Евсеич,— спросил помощник, более и более приходивший в себя после паралича от ворошатинского табаку и утиравший синим платком глаза, нос, лоб и даже подбородок,— я вас еще не спросил, как вам понравился вновь определившийся молодой человек, из Москвы, что ли?

— Малый, кажется, бойкий; говорят, его *сам* определил.

— Да-с, точно, малый умный, отнять нельзя. Я вчера слышал, он спорил с Павл Павлычем; тот, знаете, не любит возражений, а Бельтов этот не в карман за словами ходит. Павла Павлыч начал сердиться; я, говорит, вам говорю так и так,— а Бельтов: да помилуйте, вот так и так. Порадовался я, со стороны глядя. После, как Бельтов отошел, Павла Павлыч, знаете, приятелю-то своему говорит: «Вот и держи в порядке канцелярию, как этаких насажают; да я, впрочем, сам университет, я его отучу своевольничать; мне дела нет, через кого определен».

— Эки дела!— сказал столоначальник, на которого рассказ, по-видимому, сделал тоже радостное впечатление.— Так кто бы ни определил, все равно? Ай да Павлыч! Ну, а что ж, он ему в глаза-то сказал это?

— Нет; под конец он что-то по-французски только ввернул. Признаюсь, как я посмотрел на эту выходку, так знаете, что пришло в голову: вот мы с Осипом Евсеичем будем все еще так же сидеть наперекоски у четвертого стола, а он переедет вон туда, — он показал на директорскую.

— Эх, голова, голова ты, Василий Васильич! — возразил столоначальник. — Умней тебя, кажется, в трех столах не найдешь, а и ты мелко плаваешь. Я, брат, на своем веку довольно видел материала, из которого выходят настоящие деловые люди да правители канцелярии; в этом фертике на волос нет того, что нужно. Что умен-то да рьян, — а надолго ли хватит и ума и рьяности его? Хочешь, об заклад на бутылку полынного, что он до столоначальника не дотянет?

— Пари держать не хочу, а я вчера читал бумаги, им писанные: прекрасно пишет, ей-богу; только в «Сыне отечества» удавалось читать такой штиль.

— Видел и я, — у меня глаз-то, правда, и стар, ну, да не совсем, однако, и слеп, — формы не знает, да кабы не знал по глупости, по непривычке — не велика

беда: когда-нибудь научился бы, а то из ума не знает; у него из дела выходит роман, а главное-то между палец идет; от кого сообщено, достодолжное ли течение, кому переслать — ему все равно; это называется по-русски: вершки хватать; а спроси его — он нас, стариков, пожалуй, поучит. Нет, брат, дельного малого сразу узнаешь; я сначала сам было подумал: «Кажется, не глуп; может, будет путь; ну, не привык к службе, обойдется, привыкнет», — а теперь три месяца всякий день ходит и со всякой дрянью носится, горячится, точно отца родного, прости господи, режут, а он спасает, — ну, куда уйдешь с этим? Видали мы таких молодцов, не он первый, не он последний, все они только на словах выезжают: я-де злоупотребления искореню, а сам не знает, какие злоупотребления и в чем они... Покричит, покричит, да так на всю жизнь чиновником *без всяких поручений* и останется, а сдуру над нами будет подсмеивать: это-де канцелярские чернорабочие; а чернорабочие-то все и делают; в гражданскую палату просьбу по своему делу надо подать — не умеет, давай чернорабочего... Трутни! — заключил красноречивый столоначальник.

В самом деле, столоначальник рассуждал основательно, и события, как нарочно, торопились ему на подтверждение. Бельтов вскоре охладел к занятиям канцелярии, стал раздражителен, небрежен. Управлявший канцеляриею призывал его к себе и говорил, как нежная мать, — не помогло. Его призвал министр и говорил, как нежный отец, так трогательно и так хорошо, что экзекутор, случившийся при этом, прослезился, несмотря на то, что его нелегко было тронуть, что знали все сторожа, служившие под его начальством, — и это не помогло. Бельтов начал до того забываться, что оскорблялся именно этим родственным участием посторонних, именно этими отеческими желаниями его исправить. Словом, через три месяца после красноречивого разговора столоначальника с его помощником Осип Евсеич гневался на одного писца, что-то недоумевавшего, и приговаривал:

— Да когда же ты научишься? Ну, сколько раз приходилось тебе писать, и всякий раз для тебя всю черновую составь; все оттого, что не служба на уме, а в сюртучке по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями, — не раз видал... Ну, пиши: «И для сво-

бодного в Российской империи прожития дан ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей паспорт, за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати...» Кончил? давай! — И он бормогал: — Из двор... душ... уезда... курс... штат... восемнадцатого сентября... православного... хорошо! — И внизу Осип Евсеич скрепил мельчайшим шрифтом на самом краешке листа.

— Поди же, снеси сейчас и подай, а когда подпишет — в регистратуру; вот печать поставили бы сбоку, видишь, где написано: «у сего паспорта». Он завтра за ним придет.

— Что, Василий Васильич, не хотели на полынную-то держать, а вот оно теперь бы и зашли. Нечего сказать, проворен!

— Ровно четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки, — остроумно заметил помощник.

Столоначальник и за ним весь стол его расхохотались.

Этим олимпическим смехом окончилось служебное поприще доброго приятеля нашего, Владимира Петровича Бельтова. Это было ровно за десять лет до того знаменитого дня, когда в то самое время, как у Веры Васильевны за столом подавали пудинг, раздался колокольчик, — Максим Иванович не вытерпел и побежал к окну. Что же делал Бельтов в продолжение этих десяти лет?

Все или почти все.

Что он сделал?

Ничего или почти ничего.

Кто не знает старинной приметы, что дети, слишком много обещающие, редко много исполняют. Отчего это? Неужели силы у человека развиваются в таком определенном количестве, что если они потребятся в молодости, так к совершеннолетию ничего не останется? Вопрос премудреный. Я его не умею и не хочу разрешать, но думаю, что решение его надобно скорее искать в атмосфере, в окружающем, в влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека. Как бы то ни было, но примета исполнилась над головой Бельтова. Бельтов с юношеской запальчивостью и с неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и с внутренним ужасом доходил во всем почти до того же послед-

ствия, которое так красноречиво выразил Осип Евсеич: «А делают-то одни чернорабочие», и делают оттого, что барсуки и фараоновы мыши не умеют ничего делать и приносят на жертву человечеству одно желание, одно стремление, часто благородное, но почти всегда бесплодное...

Одним, если не прекрасным, то совершенно петербургским утром, — утром, в котором соединились неудобства всех четырех времен года, мокрый снег хлестал в окна и в одиннадцать часов утра еще не рассветало, а, кажется, уж смеркалось, — сидела Бельтова у того же камина, у которого была последняя беседа с женевцем; Владимир лежал на кушетке с книгою в руке, которую читал и не читал, наконец, решительно не читал, а положил на стол и, долго просидев в ленивой задумчивости, сказал:

— Маменька, знаете, что мне в голову пришло? Ведь дядюшка-то бы прав, советуя мне идти по медицинской части. Как вы думаете, не заняться ли мне медициной?

— Как хочешь, мой друг, — отвечала с обычной кротостью Бельтова, — одно страшно, Володя, надобно будет тебе подходить к больным, а есть прилипчивые болезни.

— Маменька,—сказал Владимир, нежно взяв ее руку и улыбаясь, — какой вы эгоист, преисполненный любви! Жить сложа руки, конечно, безопаснее; но я полагаю, что на бездействие надобно так же иметь призвание как и на деятельность. Не всякий, кто захочет, может ничего не делать.

— Попробуй, — отвечала мать.

На другой день утром Владимир явился в зале анатомического театра и с тем усердием, с которым принялся за дела канцелярии, стал заниматься анатомией. Но он в эту аудиторию не принес той чистой любви к науке, которая его сопровождала в Московском университете: как он ни обманывал себя, но медицина была для него местом бегства: он в нее шел от неудач, шел от скуки, от нечего делать; много легло уже расстояния между веселым студентом и отставным чиновником, дилетантом медицины. Одаренный быстрым умом, он очень скоро наткнулся в новых занятиях своих на те вопросы, на которые медицина учено молчит и от разрешения которых зависит все остальное. Он

остановился перед ними и хотел их взять приступом, отчаянной храбростью мысли, — он не обратил внимания на то, что разрешения эти бывают плодом долгих, постоянных, неутомимых трудов: на такие труды у него не было способности, и он приметно охладел к медицине, особенно к медикам; он в них пашел опять своих канцелярских товарищей; ему хотелось, чтоб они посвящали всю жизнь разрешению вопросов, его занимавших; ему хотелось, чтоб они к кровати больного подходили как к высшему священнодействию, — а им хотелось вечером играть в карты, а им хотелось практики, а им было недосуг.

«Нет, — думал Владимир, — нет, не хочу быть доктором! Что я за бессовестный человек, что осмелюсь лечить больного при современной разноголосице во всех физиологических вопросах. Все практическое в сторону! Что я за чиновник, что я за ученый? Я... я... не смею признаться, я — артист!» Срисовывая изображения черепа, Бельтов догадался, что он художник. Вздумано — сделано. Нижние стекла у окон его кабинета завесились непроницаемыми тканями, возле двух черепов явилась небольшая Венера; везде выросли, как из земли, гипсовые головы с выражением ужаса, стыда, ревности, доблести — так, как их понимает ученое ваяние, то есть так, как эти страсти не являются в натуре. Владимир перестал стричь волосы и ходил целое утро в блузе, этот костюм пролетария ему сшил аристократпортной на Невском проспекте. Владимир стал ходить всякую неделю в Эрмитаж и усердно сидеть за мольбертом... Мать входила иногда на цыпочках, боясь помешать будущему Тициану в его занятиях. Он начинал поговаривать об Италии и об исторической картине в современном и сильном вкусе: он обдумывал встречу Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь; кругом зимний ландшафт, снег, кибитки и Волга...

Само собою разумеется, что и живопись не совсем удовлетворяла Бельтова: в нем недоставало довольства занятием; вне его недоставало той артистической среды, того живого взаимодействия и обмена, который поддерживает художника. Ничто не вызывало его деятельности; она была вовсе не нужна и обусловливалась только его личным желанием. Но всего более мешали ему прежние мечты о службе, о гражданской деятельности. Ничто в мире не заманчиво так для пламенной

натуры, как участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории; кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей; тот, чем бы ни занимался, во всем будет гостем: его безусловная область не там — он внесет гражданский спор в искусство, он мысль свою нарисует, если будет живописец, пропоет, если будет музыкант. Переходя в другую сферу, он будет себя обманывать, так, как человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, что все равно, что его родина везде, где он полезен, — старается... а внутри его неотвязный голос зовет в другое место и напоминает иные песни, иную природу. Темно и отчетливо бродили эти мысли по душе Бельтова, и он с завистью смотрел на какого-нибудь германца, живущего в фортепьянах, счастливого Бетховеном и изучающего современность ex fontibus[1], то есть по древним писателям.

К тому же длинные петербургские вечера, в которые нельзя рисовать... Эти вечера Владимир проводил очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокого образования; у нее-то в доме Владимир робко проговорил первое слово любви и смело подписал первый вексель на огромную сумму, проигранную им в тот счастливый вечер, когда он, рассеянный и упоенный, играл, не обращая никакого внимания на игру; да и до игры ли было? Против него сидела она, и он так ясно читал в ее глазах любовь, вниманье!

Не буду вам теперь рассказывать всю историю моего героя; события ее очень обыкновенны, но они както не совсем обыкновенно отражались в его душе. Скажу вкратце, что после опыта любви, на который потратилось много жизни, и после нескольких векселей, на которые потратилось довольно много состояния, он уехал в чужие краи — искать рассеянья, искать впечатлений, занятий и проч., а его мать, слабая и состарившаяся не по летам, поехала в Белое Поле поправлять бреши, сделанные векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутные увлечения сына, да копить новые деньги, чтоб Володя на чужой стороне ни в чем не нуждался. Все это для Бельтовой было

[1] по первоисточникам (*лат.*).

совсем не легко; она хотя любила сына, но не имела тех способностей, как засекинская барыня,— всегда готовая к снисхождению, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадке, а по какой-то нежной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видит истину. Крестьяне Белого Поля молили бога за свою барыню и платили оброк на славу. Бельтов писал часто к матери, и тут бы вы могли увидеть, что есть другая любовь, которая не так горда, не так притязательна, чтоб исключительно присвоивать себе это имя, но любовь, не охлаждающаяся ни летами, ни болезнями, которая и в старых летах дрожащими руками открывает письмо и старыми глазами льет горькие слезы на дорогие строчки. Письма сына были для Бельтовой источником жизни; они ее подкрепляли, тешили, и она сто раз перелистывала каждое письмо. А письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено от слабого сердца матери. Видно было, что скука снедает молодого человека, что роль зрителя, на которую обрекает себя путешественник, стала надоедать ему: он досмотрел Европу — ему ничего не оставалось делать; все возле были заняты, как обыкновенно люди дома бывают заняты; он увидел себя гостем, которому предлагают стул, которого осыпают вежливостью, но в семейные тайны не посвящают, которому, наконец, бывает пора идти к себе. Но при одном воспоминании петербургских похождений на Бельтова находила хандра, и он, не зная зачем, переезжал из Парижа в Лондон. За несколько месяцев перед приездом Бельтова мать получила от него письмо из Монпелье; он извещал, что едет в Швейцарию, что несколько простудился в Пиренейских горах и потому пробудет еще дней пять в Монпелье; обещал писать, когда выедет; о возвращении в Россию ни слова. «Несколько простудился», — и мать уже начала тревожиться и ждать письма с дороги. Но проходит две недели — письма нет; проходит около месяца — письма нет. Бедная женщина, она была лишена даже последнего утешения в разлуке — возможности писать с достоверностью, что письмо дойдет, — и, не зная, дойдут ли, для одного облегчения, послала два письма в Париж confiées aux soins de l'ambassade russe[1]. Ложась

[1] доверив их попечению русского посольства (*фр.*).

спать, она всякий раз приказывала Дуне пораньше отправить кучера верхом в уездный город справиться, нет ли письма, хотя она и очень хорошо знала, что почта приходит в неделю раз. Уездный почтмейстер был добрый старик, душою преданный Бельтовой; он всякий раз приказывал ей доложить, что писем нет, что как только будут, он сам привезет или пришлет с эстафетой, — и с каким тупым горем слушала мать этот ответ после тревожного ожидания в продолжение нескольких часов! Мысль ехать самой начинала мелькать в голове ее; она хотела уже послать за соседом, отставным артиллерии капитаном, к которому обращалась со всеми важными юридическими вопросами, например, о составлении учтивого объяснения, почему нет запасного магазина, и т. п.; она хотела теперь выспросить у него, где берут заграничные паспорты, в казенной палате или в уездном суде... И тем скучнее шли дни ожидания, что на дворе была осень, что липы давно пожелтели, что сухой лист хрустел под ногами, что дни целые дождь шел, будто нехотя, но беспрестанно. Как-то раз под вечер девушка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нее идти ко всенощной.

— Ступай; да что такое завтра?

— Неужели вы изволили забыть, что завтра семнадцатого сентября, день вашего ангела, богомудрой Софии и дщерей ее — Любви, Веры и Надежды!

— Ступай, Дуня, да помолись и об Володе, — сказала Бельтова, и слезы навернулись на глазах ее.

Человек до ста лет — дитя, да если бы он и до пятисот лет жил, все был бы одной стороной своего бытия дитя. И жаль, если б он утратил эту сторону, — она полна поэзии. Что такое именины? почему в этот день ярче чувствуется горе и радость, нежели накануне, нежели потом? Не знаю почему, а оно так. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясает душу. «Сегодня, кажется, третье марта»,—говорит один, боясь пропустить срок продажи имения с публичного торга. — «Третье марта, да, третье марта», — отвечает другой, и его дума уж за восемь лет; он вспоминает первое свидание после разлуки, он вспоминает все подробности и с каким-то торжественным чувством прибавляет: «Ровно восемь лет!» И он боится осквернить этот день, и он чувствует, что это праздник, и ему не приходит на мысль, что 13 марта будет ровно восемь

лет и десять дней и что всякий день своего рода годовщина. Так было с Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о том, что нет писем, стала горче, стала тягостнее при мысли, что Володя не придет поздравить ее, что он, может быть, забудет и там ее поздравить... Она впадала в задумчивую мечтательность: то воображению ее представлялось, как, лет за пятнадцать, она в завтрашний день нашла всю чайную комнату убранною цветами; как Володя не пускал ее туда, обманывал; как она догадывалась, но скрыла от Володи; как мсье Жозеф усердно помогал Володе делать гирлянды; потом ей представлялся Володя на Монпелье, больной, на руках жадного трактирщика, и тут она боялась дать волю воображению идти далее и торопилась утешить себя тем, что, может быть, мсье Жозеф с ним встретился там и остался при нем. Он так нежен, так добр, так любит Володю, он за ним будет ходить, он строго исполнит приказы доктора, он будет смотреть на него, когда он уснет. Да зачем же Жозеф в Монпелье? Что же? Володя мог его выписать как друга... Но... И ей опять становилось невыносимо тяжело, и ряд мрачных картин, переплетенных с светлыми воспоминаниями, тянулся в душе ее всю ночь.

На другой день разные хлопоты заняли, и насколько могли, развлекли Бельтову. С раннего утра передняя была полна аристократами Белого Поля; староста стоял впереди в синем кафтане и держал на огромном блюде страшной величины кулич, за которым он посылал десятского в уездный город; кулич этот издавал запах конопляного масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушение на целость его; около него, по бортику блюда, лежали апельсины и куриные яйца; между красивыми и величавыми головами наших бородачей один только земский отличался костюмом и видом; он не только был обрит, но и порезан в нескольких местах, оттого что рука его (не знаю, от многого ли письма или оттого, что он никогда не встречал прелестное сельское утро не выпивши, на мирской счет, в питейном доме кружечки сивухи) имела престранное обыкновение трястись, что ему значительно мешало отчетливо нюхать табак и бриться; на нем был длинный синий сюртук и плисовые панталоны в сапоги, то есть он напоминал собою известного зверя в Австралии, орниторинха, в котором преотвратительно соединены

зверь, птица и амфибий. На дворе жалобно кричал время от времени юный теленок, поенный шесть недель молоком: это была гекатомба, которую тоже приготовили крестьяне барыне для дня *именин*. Бельтова не умела с достодолжной важностью делать выходы; она это знала сама и всегда как-то терялась в этих случаях. После выхода — обедня; служили молебен; в самое это время приехал артиллерийский капитан; на этот раз он явился не юрисконсультом, а в прежнем воинственном виде; когда шли из церкви домой, Бельтова была очень испугана каким-то треском. Сосед привез с собою в кибитке маленький фальконет и велел выстрелить из него в ознаменование радости; легавая собака Бельтовой, случившаяся при этом, как глупое животное, никак не могла понять, чтоб можно было без цели стрелять, и исстрадалась вся, бегая и отыскивая зайца или тетерева. Воротились домой. Бельтова велела подать закуску, — вдруг раздался звонкий колокольчик, и отличнейшая почтовая тройка летела через мост, загнула за гору — исчезла и минуты две спустя показалась вблизи; ямщик правил прямо к господскому дому и, лихо подъехав, мастерски осадил лошадей у подъезда. Сам старик почтмейстер (это был он), вылезая из кибитки, не вытерпел, чтоб не сказать ямщику:

— Ай да Богдашка, собака, истинно собака, можно чести приписать.

Богдашка был, разумеется, доволен комплиментами почтмейстера, щурил правый глаз и поправлял шляпу, приговаривая:

— Уж если нам вашему благородию не сусердствовать, так уж это — хуже не надо.

С торжественно-таинственным видом, с просасывающимся довольством во всех чертах вошел почтмейстер в гостиную и отправился учинить целование руки.

— Честь имею, матушка Софья Алексеевна, поздравить с высокоторжественным днем ангела и желаю вам доброго здравия. Здравствуйте, Спиридон Васильевич! (Это относилось к капитану).

— Василью Логиновичу наше почтение,— отвечал артиллерист.

Василий Логинович продолжал:

— А я-с для вашего ангела осмелился подарочек привезти вам; не взыщите — чем богат, тем и рад; по-

дарок не дорогой — всего портовых и страховых рубль пятнадцать копеек, весовых восемь гривен; вот вам, матушка, два письмеца от Владимира Петровича; одно, кажись, из Монтраше, а другое из Женевы, по штемпелю судя. Простите, матушка, грешный человек: недельки две первое письмецо, да и другое деньков пять, поберег их к нынешнему дню; право, только и думал: утешу, мол, Софью Алексеевну для тезоименитства, так утешу.

Софья Алексеевна поступила с почтмейстером точно так, как знаменитый актер Офрен — с Терамеповым рассказом: она не слушала всей части речи после того, как он вынул письма; она судорожной рукой сняла пакет, хотела было тут читать, встала и вышла вон.

Почтмейстер был очень доволен, что чуть не убил Бельтову сначала горем, потом радостью; он так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза, что нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силы упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить. На этот раз последнее сделал сосед:

— Вот, Василий Логиныч, оконтузили письмом-то, одолжили, нечего сказать! Однако, знаете, пока Софья Алексеевна беседует с письмами, оно ведь не мешает и употребить; я очень рано встаю.

Они употребили.

...Одно письмо было с дороги, другое из Женевы. Оно оканчивалось следующими строками: «Эта встреча, любезная маменька, этот разговор потрясли меня, — и я, как уже писал вначале, решился возвратиться и начать службу по выборам. Завтра я еду отсюда, пробуду с месяц на берегах Рейна, оттуда — прямо в Таурогген, не останавливаясь... Германия мне страшно надоела. В Петербурге, в Москве я только повидаюсь с знакомыми и тотчас к вам, милая матушка, к вам в Белое Поле».

— Дуня, Дуня, подай поскорее календарь! Ах, боже мой, ты где его ищешь, — какая бестолковая! Вот он.

И Бельтова бросилась сама за календарем и начала отсчитывать, рассчитывать, переводить числа с нового стиля на старый, со старого на новый, и при всем этом она уже обдумывала, как учредить комнату... ничего не забыла, кроме гостей своих; по счастию, они сами вспомнили о себе и употребили *по второй*.

— Странное и престранное дело! — продолжал председатель. — Кажется, жизнь резиденции представляет столько увеселительных рассеяний, что молодому человеку, особенно безбедному, трудно соскучиться.

— Что делать! — отвечал Бельтов с улыбкой и встал, чтоб проститься.

— А впрочем, поживите и с нами. Если не встретите здесь того блеска и образования, то, наверное, найдете добрых и простых людей, которые гостеприимно примут вас в среде своих мирных семейств.

— Это уж конечно-с, — прибавил развязный советник с Анной в петлице, — наш городок-с чего другого нет, а насчет гостеприимства — Москвы уголок-с!

— Я в этом уверен,—сказал Бельтов, откланиваясь.



Часть вторая

I

Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацию, которую произвел Бельтов на почтенных жителей NN; позвольте же сказать и о сенсации, которую произвел город на почтенного Бельтова. Он остановился в гостинице «Кересберг», названной так, вероятно, не в отличие от других гостиниц, потому что она одна и существовала в городе, но скорее из уважения к городу, который вовсе не существовал. Гостиница эта была надежда и отчаяние всех мелких гражданских чиновников в NN, утешительница в скорбях и место разгула в радостях; направо от входа, вечно на одном месте, стоял бесстрастный хозяин за конторкой и перед ним его приказчик в белой рубашке, с окладистой бородой и с отчаянным пробором против левого глаза; в этой конторке хоронилось, в первые числа месяца, больше половины жалованья, полученного всеми столоначальниками, их помощниками и помощниками их помощников (секретари редко ходили, по крайней мере, на свой счет; с секретарства у чиновников к страсти получать присовокупляется страсть хранить, — они делаются консерваторами). Хозяин серьезно и важно пощелкивал на счетах; проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькие и целковые, выбрасывая за них гривенники, пятаки и копейки, потом щелкала ключом — и деньги были схоронены. Только в двух случаях притворялась она мертвою, когда к ее страшной загородке являлся Яков Потапыч — частный пристав, разумеется, для того, чтоб отдать свой долг... Иногда заезжали в гостиницу и советники

поиграть на бильярде, выпить пуншу, откупорить одну, другую *бутылку,* словом, погулять на холостую ногу, потихоньку от супруги (холостых советников так же не бывает, как женатых аббатов), — для достижения последнего они недели две рассказывали направо и налево о том, как кутнули. Мелкие чиновники, при появлении таких сановников, прятали трубки свои за спину (но так, чтоб было заметно, ибо дело состояло не в том, чтоб спрятать трубку, но чтоб показать достодолжное уважение), низко кланялись и, выражая мимикой большое смущение, уходили в другие комнаты, даже не окончивши партии на бильярде,— на бильярде, на котором, в часы, досужие от карт, корнет Дрягалов удивлял поразительно смелыми шарами и невероятными клапштосами.

Содержатель, разбогатевший крестьянин из подгородного села, знал, что такое Бельтов и какое именьице у него, а потому он тотчас решился отдать ему одну из лучших комнат трактира, — комната эта только давалась особам важным, генералам, откупщикам, — и *потому* повел его в другие. Другие были до такой степени черны и гадки, что, когда хозяин привел Бельтова в ту, которую назначил, и заметил: «Кабы эта была не проходная, я бы с нашим удовольствием», — тогда Бельтов стал с жаром убеждать, что он уступил ему ее; содержатель, тронутый его красноречием, согласился и цену взял не обидную себе. Учтивость к Бельтову усугубил почтенный содержатель грубостью всем прочим посетителям. Комната была действительно проходная; он запер дверь и отрезал парадное сообщение между залой и бильярдной, предоставив желающим ходить через кухню. Большая часть посетителей молча подверглась этому испытанию, так, как прежде подвергалась всем прочим испытаниям, которыми судьба считала за нужное награждать их; впрочем, нашлись и такие, которые явно кричали против грубо пристрастного поступка содержателя. Один заседатель, лет десять тому назад служивший в военной службе, собирался сломить кий об спину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплял к ряду энергических выражений: «Я сам дворянин; ну, черт его возьми, отдал бы генералу какому-нибудь,—что тут делать станешь, — а то молокососу, видите, из Парижа приехал; да позвольте спросить, чем я хуже его, я сам

дворянин, старший в роде, медаль тысяча восемьсот двенадцатого...» — «Да полно ты, полно, горячая голова!» — говорил ему корнет Дрягалов, имевший свои виды насчет Бельтова. Как бы то ни было, но хозяин, молча и отшучиваясь, с апатической твердостью, с уступчивой непреклонностью русского купца поставил на своем. Комната, до которой достигнул Бельтов с оскорблением щекотливого point d'honneur многих, могла, впрочем, нравиться только после четырех ужасных нумеров, которыми ловко застращал хозяин приезжего; в сущности, она была грязна, неудобна и время от времени наполнялась запахом подожженного масла, который, переплетаясь с постоянной табачной атмосферой, составлял нечто такое, что могло бы произвесть тошноту у иного эскимоса, взлелеянного на тухлой рыбе.

Первая суета приезда улеглась. Каретные ваши, сак, шкатулка были принесены, и за всеми тяжестями явился наконец Григорий Ермолаевич, камердинер Бельтова, с последними остатками путевых снадобий — с кисетом, с неполною бутылкой бордó, с остатками фаршированной индейки; разложив все принесенное по столам и стульям, камердинер отправился выпить водки в буфет, уверяя буфетчика, что он в Париже привык, по окончании всякого дела, выпивать большой птивер[1] (так, как в России начинают тем же самым все дела). Толпа чиновников, желавших из самого источника узнать подробности о проезжем, облепила его, но нельзя не заметить, что камердинер не очень поддавался и обращался с ними немного свысока; он жил несколько лет за границей и гордо сознавал это достоинство. Бельтов, между тем, был один; посидевши недолго на диване, он подошел к окну, из которого видно было полгорода. Прелестный вид, представившийся глазам его, был общий, губернский, форменный: плохо выкрашенная каланча, с подвижным полицейским солдатом наверху, первая бросилась в глаза; собор древней постройки виднелся из-за длинного и, разумеется, желтого здания присутственных мест, воздвигнутого в известном штиле; потом две-три приходские церкви, из которых каждая представляла две-три эпохи архитектуры: древние византийские стены украшались

[1] рюмку (от *фр.* petit verre).

греческом порталом, или готическими окнами, или тем и другим вместе; потом дом губернатора с сенями, украшенными жандармом и двумя-тремя просителями из бородачей; наконец, обывательские дома, совершенно те же, как во всех наших городах, с чахоточными колоннами, прилепленными к самой стене, с мезонином, не обитаемым зимою от итальянского окна во всю стену, с флигелем, закопченным, в котором помещается дворня, с конюшней, в которой хранятся лошади; дома эти, как водится, были куплены вежливыми кавалерами на дамские имена; немного наискось тянулся гостиный двор, белый снаружи, темный внутри, вечно сырой и холодный; в нем можно было все найти — коленкоры, кисеи, пиконеты, — все, кроме того, что нужно купить. Несколько тронутый картиной, развернувшейся перед его глазами, Бельтов закурил сигару и сел у окна; на дворе была оттепель, — оттепель всегда похожа на весну; вода капала с крыш, по улицам бежали ручьи талого снега. Будто чувствовалось, что вот-вот и природа оживет из-подо льда и снега, но это так чувствовалось новичку, который суетно надеялся в первых числах февраля видеть весну в NN; улица, видно, знала, что опять придут морозы, вьюги и что до 15/27 мая не будет признаков листа, она не радовалась; сонное бездействие царило на ней; две-три грязные бабы сидели у стены гостиного двора с рязанью и грушей; они, пользуясь тем, что пальцы не мерзнут, вязали чулки, считали петли и изредка только обращались друг к другу, ковыряя в зубах спицами, вздыхая, зевая и осеняя рот свой знамением креста. Недалеко от них старик купец, лет под семьдесят, с седою бородой, в высокой собольей шапке, спал сладким сном на складном стуле. Изредка сидельцы перебегали из лавки в лавку; некоторые начинали запирать их. Никто, кажется, ничего не покупал: даже почти никто не ходил по улицам; правда, прошел квартальный надзиратель, завернувшись в шинель с меховым воротником, быстрым деловым шагом, с озабоченным видом и с бумагой, свернутой в трубку; сидельцы сняли почтительно шляпы, но квартальному было не до них. Потом проехала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, из которой вырезана ровно четверть; тыкву эту везли четыре потертых лошади; гайдук-форейтор и седой сморщившийся кучер были одеты в сермягах, а сзади

трясся лакей в шинели с галунами цвету верантик. В тыкве сидела другая тыква — добрый и толстый отец семейства и помещик, с какой-то специальной ландкартой из синих жил на носу и щеках; возле неразрывная спутница его жизни, не похожая на тыкву, а скорее на стручок перцу, спрятанный в какой-то тафтяный шалаш, надетый вместо шляпки; против них приятный букет из сельских трех граций, вероятно, сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но исполняющая заботой их нежные сердца. Проехал и этот подвижный огород... Опять настала тишина... Вдруг из переулка раздалась лихая русская песня, и через минуту трое бурлаков, в коротеньких красных рубашках, с разукрашенными шляпами, с атлетическими формами и с тою удалью в лице, которую мы все знаем, вышли обнявшись на улицу; у одного была балалайка, не столько для музыкального тона, сколько для тона вообще; бурлак с балалайкой едва удерживал свои ноги; видно было по движению плечей, как ему хочется пуститься вприсядку, — за чем же дело? А вот за чем: из-под земли, что ли, или из-под арок гостиного двора явился какой-то хожалый или будочник с палочкой в руках, и песня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разом подрезанная, остановилась; только балалайка показал палец будочнику; почтенный блюститель тишины гордо отправился под арку, как паук, возвращающийся в темный угол, закусивши мушиными мозгами. Тут тишина еще более водворилась; стало смеркаться. Бельтов поглядел — и ему сделалось страшно, его давило чугунной плитой, ему явным образом недоставало воздуха для дыхания, может быть, от подожженного масла с табаком, который проходил из нижнего этажа. Он схватил свой картуз, надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу. Город был невелик, и пройти его с конца в конец было нетрудно. Та же пустота везде; разумеется, ему и тут попадались кой-какие лица; изнуренная работница с коромыслом на плече, босая и выбившаяся из сил, поднималась в гору по гололедице, задыхаясь и останавливаясь; толстой и приветливой наружности поп, в домашнем подряснике, сидел перед воротами и посматривал на нее; попадались еще или поджарые подьячие, или толстый советник,—и все это было так засалено, дурно одето, не от бедности, а от нечистоплотности, и все это шло

с такою претензией, так непросто: титулярный советник выступал так важно, как будто он сенатор римский... а коллежский регистратор — будто он титулярный советник; проскакал еще на санках полицеймейстер; он с величайшей грацией кланялся советникам, показывая озабоченно на бумагу, вдетую между петлиц, — это значило, что он едет с *дневным* к его превосходительству... Прошли, наконец, две толстые купчихи, кухарка несла за ними веники и узелок; красные щеки доказывали, что веники не напрасно были взяты. — Больше никаких встреч не было.

«Что значит эта тишина, — думал Бельтов,—глубокую думу или глубокое бездумье, грусть или просто лень? Не поймешь. И отчего мне эта тишина так тягостна, что хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня так давит? Я люблю тишину. Тишина на море, в селе, даже просто на поле, на ровном, вдаль идущем поле, наполняет меня особым поэтическим благочестием, кротким самозабвением. Здесь не то. Там — ширь с этим безмолвием, а здесь все давит, а здесь тесно, мелко, кругом жалкие строения, еще бы развалины, а то подкрашенные, подбеленные, да где же жители? Приступом, что ли, взяли вчера этот город, мор, что ли, посетил его — ничего не бывало: жители дома, жители отдыхают; да когда же они трудились?..» и Бельтов невольно переносился в шумные, кипящие народом улицы других городков, не столько патриархальных и более преданных суете мирской. Он начал ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождает ложный шаг в жизни, особенно когда мы начинаем сознавать его, и печально отправился домой. Когда он подходил к гостинице, густой протяжный звук колокола раздался из подгороднего монастыря; в этом звоне напомнилось Владимиру что-то давно прошедшее, он пошел было на звон, но вдруг улыбнулся, покачал головой и скорыми шагами отправился домой. Бедная жертва века, полного сомнением, не в NN тебе сыскать покой!

Через несколько дней, которые Бельтов провел в глубокомысленном чтении и изучении устава о дворянских выборах, он, одевшись с некоторой тщательностью, отправился делать нужнейшие визиты. Часа через три он возвратился с сильной головной болью, приметно расстроенный и утомленный, спросил мятной воды

и примочил голову одеколоном; одеколон и мятная вода привели немного в порядок его мысли, и он один, лежа на диване, то морщился, то чуть не хохотал, — у него в голове шла репетиция всего виденного, от передней начальника губернии, где он очень приятно провел несколько минут с жандармом, двумя купцами первой гильдии и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всеми входящими и выходящими весьма оригинальными приветствиями, говоря: «С прошедшим праздничком», причем они, как гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имела счастие ежедневно подсаживать генерала в карету, — до гостиной губернского предводителя, в которой почтенный представитель блестящего NN-ского дворянства уверял, что нельзя нигде так научиться гражданской форме, как в военной службе, что она дает человеку главное; конечно, имея главное, остальное приобрести ничего не значит; потом он признался Бельтову, что он истинный патриот, строит у себя в деревне каменную церковь и терпеть не может эдаких дворян, которые, вместо того чтоб служить в кавалерии и заниматься устройством имения, играют в карты, держат француженок и ездят в Париж, — все это вместе должно было представить нечто вроде колкости Бельтову. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил у него из головы. То ему представлялся губернский прокурор, который в три минуты успел ему шесть раз сказать: «Вы сами человек с образованием, вы понимаете, что для меня господин губернатор постороннее лицо: я пишу прямо к министру юстиции, министр юстиции — это генерал-прокурор. Губернатор хорош — и я для его превосходительства все, что могу, «читал, читал, читал», да и кончено; он — иначе, — и я ему с полным уважением, как следует высокому сану; ну да уж больше ничего, меня заставить нельзя; я не советник губернского правления». При этом он каждый раз нюхал из кольчатой серебряной табакерки рульный табак, наружностью разительно похожий на французский, но отличавшийся от него скверным запахом. То председатель гражданской палаты, худой, высокий, тощий, скупой и нечистый, доказывавший грязью свое бескорыстие. То генерал Хрящов, окруженный двумя отрешенными от должности исправниками, бедными помещиками, легавыми собаками, псарями, дворней, тремя племянни-

цами и двумя сестрами; генерал у него в воспоминаниях кричал так же, как у себя в комнате, высвистывал из передней Митьку и с величайшим человеколюбием обходился с легавой собакой. То наш знакомый председатель уголовной палаты, Антон Антонович, в халате цвета лягушечьей спинки, с своим советником с Анной в петлице. Когда мало-помалу это почтенное общество лиц отступило в голове Бельтова на второй план и все они слились в одно фантастическое лицо какого-то колоссального чиновника, насупившего брови, нечистого, уклончивого, но который постоит за себя, Бельтов увидел, что ему не совладать с этим Голиафом и что его не только не собьешь с ног обыкновенной пращой, но и гранитным утесом, стоящим под монументом Петра I.

Странное дело — Бельтов, с тех пор как отправился в чужие края, жил много и мыслию, и страстями, раздражением мозга и раздражением чувств. Жизнь даром не проходит для людей, у которых пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль... все ничего, сегодня идет, как вчера, все очень обыкновенно, а вдруг обернешься назад и с изумлением увидишь, что расстояние пройдено страшное, нажито, прожито бездна. Так и было с Бельтовым: он нажил и прожил бездну, но не установился. Бельтов во второй раз встретился с действительностью при тех же условиях, как в канцелярии, — и снова струсил перед ней. У него недоставало того практического смысла, который выучивает человека разбирать связный почерк живых событий; он был слишком разобщен с миром, его окружавшим. Причина этой разобщенности Бельтова понятна: Жозеф сделал из него человека вообще, как Руссо из Эмиля; университет продолжал это общее развитие; дружеский кружок из пяти-шести юношей, полных мечтами, полных надеждами, настолько большими, насколько им еще была неизвестна жизнь за стенами аудитории, — более и более поддерживал Бельтова в кругу идей, не свойственных, чуждых среде, в которой ему приходилось жить. Наконец двери школы закрылись, и дружеский круг, вечный и домогильный, бледнел, бледнел и остался только в воспоминаниях или воскресал при случайных и ненужных встречах да при бокалах вина, — открылись другие двери, немного со скрипом. Бельтов прошел в них и очутился в стране, совер-

8*

шенно ему неизвестной, до того чуждой, что он не мог приладиться ни к чему; он не сочувствовал ни с одной действительной стороной около него кипевшей жизни; он не имел способности быть хорошим помещиком, отличным офицером, усердным чиновником, — а затем в действительности оставались только места праздношатающихся, игроков и кутящей братии вообще; к чести нашего героя должно признаться, что к последнему сословию он имел побольше симпатии, нежели к первым, да и тут ему нельзя было распахнуться: он был слишком развит, а разврат этих господ слишком грязен, слишком груб. Побился он с медициной да с живописью, покутил, поиграл, да и уехал в чужие края. Дела, само собою разумеется, и там ему не нашлось; он занимался бессистемно, занимался всем на свете, удивлял немецких специалистов многосторонностью русского ума; удивлял французов глубокомыслием, и в то время, как немцы и французы делали много, — он ничего, он тратил свое время, стреляя из пистолета в тире, просиживая до поздней ночи у ресторанов и отдаваясь телом, душою и кошельком какой-нибудь лоретке. Такая жизнь не могла наконец не привести к болезненной потребности дела. Несмотря на то что среди видимой праздности Бельтов много жил и мыслию и страстями, он сохранил от юности отсутствие всякого практического смысла в отношении своей жизни. Вот причина, по которой Бельтов, гонимый тоскою по деятельности, во-первых, принял прекрасное и достохвальное намерение служить по выборам и, во-вторых, не только удивился, увидев людей, которых он должен был знать со дня рождения или о которых ему следовало бы справиться, вступая с ними в такие близкие сношения, — но был до того ошеломлен их языком, их манерами, их образом мыслей, что готов был без всяких усилий, без боя отказаться от предложения, занимавшего его несколько месяцев. Счастлив тот человек, который продолжает начатое, которому преемственно передано дело: он рано приучается к нему, он не тратит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтоб не расплыться,—и производит. Мы чаще всего начинаем вновь, мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение, да и то плохо храним; оттого по большей части мы ничего не хотим делать, а если хотим, то выходим

на необозримую степь — иди, куда хочешь, во все стороны — воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень. Бельтов совершенно принадлежал к подобным людям; он был лишен совершеннолетия — несмотря на возмужалость своей мысли; словом, теперь, за тридцать лет от роду, он, как шестнадцатилетний мальчик, *готовился* начать свою жизнь, не замечая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, через которую входят гладиаторы, а та, в которую выносят их тела. — «Конечно, Бельтов во многом виноват». — Я совершенно с вами согласен; а другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Так на свете все превратно.

Не прошло и месяца после водворения Бельтова в NN, как он успел уже приобрести ненависть всего помещичьего круга, что не мешало, впрочем, и чиновникам, с своей стороны, его ненавидеть. В числе ненавидевших были такие, которые его в глаза не знали; другие если и знали, то не имели никаких сношений с ним; это была с их стороны ненависть чистая, бескорыстная, но и самые бескорыстные чувства имеют какую-нибудь причину. Причину нелюбви к Бельтову разгадать нетрудно. Помещики и чиновники составляли свои, более или менее замкнутые круги, но круги близкие, родственные; у них были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое общественное мнение, свои обычаи, общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам всей империи. Приезжай в NN советник из RR, он в неделю был бы деятельный и уважаемый член и собрат; приезжай уважаемый друг наш, Павел Иванович Чичиков, и полицеймейстер сделал бы для него попойку и другие пошли бы плясать около него и стали бы его называть «мамочкой», — так, очевидно, поняли бы они родство свое с Павлом Ивановичем. Но Бельтов, Бельтов — человек, вышедший в отставку, не дослуживши четырнадцати лет и шести месяцев до знака, как заметил помощник столоначальника, любивший все то, чего эти господа терпеть не могут, читавший вредные книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталец по Европе, чужой дома, чужой и на чужбине, аристократический по изяществу манер и человек XIX века по убеждениям, — как его могло принять провинциальное общество! Он

не мог войти в их интересы, ни они — в его, и они его ненавидели, поняв чувством, что Бельтов — протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок ее. Ко всему этому присовокупилось множество важных обстоятельств. Он сделал мало визитов, он сделал их поздно, он всюду ездил по утрам в сюртуке, он губернатору реже обыкновенного говорил «ваше превосходительство», а предводителю, отставному драгунскому ротмистру, и вовсе не говорил, несмотря на то что он по месту был временно превосходительный; он с своим камердинером обращался так вежливо, что это оскорбляло гостя; он с дамами говорил, как с людьми, и вообще изъяснялся «слишком вольно». Присовокупите к этому, что в низшем слою бюрократии он был потерян в первый день приезда, вместе с прямым ходом в бильярдную. Само собою разумеется, ненависть к Бельтову была настолько учтива, что давала себе волю за глаза, в глаза же она окружала свою жертву таким тупым и грубым вниманием, что ее можно было принять за простую любовь. Всякий старался иметь приезжего в своем доме, чтоб похвастаться знакомством с ним, чтоб стяжать право десять раз в разговоре ввернуть: «Вот, когда Бельтов был у меня... я с ним...» — ну и, как водится, в заключение какая-нибудь невинная клевета.

Все меры были взяты добрыми NN-цами, чтоб на выборах прокатить Бельтова *на вороных* или почтить его избранием в такую должность, которую добровольно мудрено принять. Он сначала не замечал ни ненависти к себе, ни этих парламентских козней, потом стал догадываться и решился самоотверженно идти до конца... Но не бойтесь, по причинам, очень мне известным, но которые, из авторской уловки, хочу скрыть, я избавлю читателей от дальнейших подробностей и описаний выборов NN; на этот раз меня манят другие события — частные, а не служебные.

II

Вы, верно, давным-давно забыли о существовании двух юных лиц, оттертых на далекое расстояние длинным эпизодом, — о Любоньке и о скромном, милом Круциферском. А между тем в их жизни совершилось

очень много: мы их оставили почти женихом и невестой, мы их встретим теперь мужем и женою; мало этого: они ведут за руку трехлетнего bambino[1], маленького Яшу.

Рассказывать об этих четырех годах нечего; они были счастливы, светло, тихо шло их время; счастье любви, особенно любви полной, увенчанной, лишенной тревожного ожидания, — тайна, тайна, принадлежащая двоим; тут третий — лишний, тут свидетель не нужен; в этом исключительном посвящении только двоих лежит особая прелесть и невыразимость любви взаимной. Рассказывать внешнюю историю их жизни можно, но не стоит труда; ежедневные заботы, недостаток в деньгах, ссоры с кухаркой, покупка мебели — вся эта внешняя пыль садилась на них, как и на всех, досаждала собою, но была бесследно стерта через минуту и едва сохранялась в памяти. Круциферский получил через Крупова место старшего учителя в гимназии, давал уроки, попадал, разумеется, и на таких родителей, которые платили сполна, — скромно, стало быть, они могли жить в NN, а иначе им и жить не хотелось. Алексей Абрамович, сколько его ни убеждал Крупов, более десяти тысяч не дал в приданое, но зато решительно взял на себя обзаведение молодых; эту трудную задачу он разрешил довольно удачно: он перевез к ним все то из своего дома и из кладовой, что было для него совершенно не нужно, полагая, вероятно, что именно это-то и нужно молодым. Таким образом, историческая коляска, о которой думал Алексей Абрамович в то самое время, в которое Глафира Львовна думала о несчастной дочери преступной любви, состарившаяся, осунувшаяся, порыжевшая, с сломанной рессорой и с значительной раной на боку, была доставлена с большими затруднениями на маленький дворик Круциферского; сарая у него не было, и коляска долго служила приютом кротких кур. Алексей Абрамович и лошадь отправил было к нему, но она на дороге скоропостижно умерла, чего с нею ни разу не случалось в продолжение двадцатилетней беспорочной службы на конюшне генерала; время ли ей пришло или ей обидно показалось, что крестьянин, выехав из виду барского дома, заложил ее в корень, а свою на пристяжку, только она

[1] мальчика (*ит.*).

умерла; крестьянин был так поражен, что месяцев шесть находился в бегах. Но один из лучших подарков был сделан утром в день отъезда молодых; Алексей Абрамович велел позвать Николашку и Палашку — молодого чахоточного малого лет двадцати пяти и молодую девку, очень рябую. Когда они вошли, Алексей Абрамович принял важный и даже грозный вид. «Кланяйтесь в ноги! — сказал генерал. — И поцелуйте ручку у Любови Александровны и у Дмитрия Яковлевича». Последнее поручение нелегко было исполнить: сконфуженная молодая чета прятала руки, краснела, целовалась и не знала, что начать. Но глава общины продолжал: «Это ваши новые господа, — слова эти он произнес громко, голосом, приличным такому важному извещению, — служите им хорошо, и вам будет хорошо (вы помните, что это уж повторение)! Ну, а вы их жалуйте да будьте к ним милостивы, если хорошо себя поведут, а зашалят, пришлите ко мне; у меня такая гимназия для баловней, возвращу шелковыми. Баловать тоже не надобно. Вот моя хлеб-соль на дорогу; а то, я знаю, вы к хозяйству люди не приобыкшие, где вам ладить с вольными людьми; да и вольный человек у нас бестия, знает, что с ним ничего, что возьмет паспорт, да, как барин какой, и пойдет по передним искать другого места. Ну, кланяйтесь же, и вон!» — красноречиво заключил генерал. Николашка с Палашкой чебурахнулись еще раз в ноги и вышли. Тем и окончилась история вступления их в новое владение. В тот же день перебрались наши молодые в город в сопровождении кашлявшего Николашки и барельефной Палашки.

Жизнь Круциферских устроилась прекрасно. Они так мало делали требований на внешнее, так много были довольны собою, так проникались взаимной симпатией, что их трудно было не принять за иностранцев в NN; они вовсе не были похожи на все, что окружало их. Очень замечательная вещь, что есть добрые люди, считающие нас вообще и провинциалов в особенности патриархальными, по преимуществу семейными, а мы нашу семейную жизнь не умеем перетащить через порог образования, и еще замечательнее, может быть, что, остывая к семейной жизни, мы не пристаем ни к какой другой; у нас не личность, не общие интересы развиваются, а только семья глохнет. В семейной

жизни у нас какая-то формальная официальность; то только в ней и есть, что показывается, как в театральной декорации, и не брани муж свою жену да не притесняй родители детей, нельзя было бы и догадаться, что́ общего имеют эти люди и зачем они надоедают друг другу, а живут вместе. Кто хочет у нас радоваться на семейную жизнь, тот должен искать ее в гостиной, а в спальню не ходить; мы не немцы, добросовестно счастливые во всех комнатах лет тридцать сряду. Бывают исключения, и такое-то исключение представляла наша чета. Они учредились просто, скромно, не знали, как другие живут, и жили по крайнему разумению; они не тянулись за другими, не бросали последние тощие средства свои, чтоб оставить себя в подозрении богатства, они не натягивали двадцать, тридцать ненужных знакомств; словом: часть искусственных вериг, взаимных ланкастерских гонений, называемых общежитием, над которым все смеются и выше которого никто не смеет стать, миновала домик скромного учителя гимназии; зато сам Семен Иванович Крупов мирился с семейной жизнию, глядя на «милых детей» своих.

Несколько дней после того, как Бельтов, недовольный и мучимый каким-то предчувствием и действительным отсутствием жизни в городе, бродил с мрачным видом и с руками, засунутыми в карманы, — в одном из домиков, мимо которых он шел, полный негодования и горечи, он мог бы увидеть тогда, как и теперь, одну из тех успокоивающих, прекрасных семейных картин, которые всеми чертами доказывают возможность счастия на земле. В картине этой было что-то похожее на летний вечер в саду, когда нет ветру, когда пруд стелется, как металлическое зеркало, золотое от солнца, небольшая деревенька видна вдали, между деревьев, роса поднимается, стадо идет домой с своим перемешанным хором крика, топанья, мычанья... и вы готовы от всего сердца присягнуть, что ничего лучшего не желали бы во всю жизнь... и как хорошо, что вечер этот пройдет через час, то есть сменится вовремя ночью, чтоб не потерять своей репутации, чтоб заставить жалеть о себе прежде, нежели надоест. В небольшой чистенькой комнатке сидел на диване Семен Иванович Крупов почетным и единственным гостем. Молодая женщина, улыбаясь, набивала ему трубку, ее муж

сидел на креслах и поглядывал с безмятежным спокойствием и любовью то на жену, то на старика. Через минуту вошел в комнату трехлетний ребенок, переваливаясь с ноги на ногу, и отправился прямым путем, то есть не обходя стол, а туннелем между ножек, к Крупову, которого очень любил за часы с репетицией и за две сердоликовые печатки, висевшие у него из-под жилета.

— Яша, здравствуй! — сказал Семен Иванович, вытаскивая своего приятеля из-под стола и усаживая его к себе на колени.

Яша ухватил за печатку и вытягивал часы.

— Он вам мешает чай пить и курить, дайте его мне, — сказала мать, убежденная твердо, что Яша никому и никогда мешать не может.

— Оставьте, сделайте одолжение; я сам его спроважу, когда надоест, — и Семен Иванович вынул часы и заставил их бить; Яша с восхищением слушал бой, поднес потом часы к уху Семена Ивановича, потом к уху матери и, видя несомненные знаки их удивления, поднес их к собственному рту.

— Дети — большое счастие в жизни! — сказал Крупов. — Особенно нашему брату, старику, как-то отрадно ласкать кудрявые головки их и смотреть в эти светлые глазенки. Право, не так грубеешь, не так падаешь в ячность, глядя на эту молодую травку. Но, скажу вам откровенно, я не жалею, что у меня своих детей нет... да и на что? Вот дал же бог мне внучка, состареюсь, пойду к нему в няни.

— Няня там! — заметил Яша, указывая на дверь с предовольным видом.

— Возьми меня в няни.

Яша приготовился было возразить на это страшным криком, но мать предупредила это, обратив внимание его на золотую пуговицу на фраке Крупова.

— Я люблю детей, — продолжал старик, — да я вообще люблю людей, а был помоложе — любил и хорошенькое личико и, право, был раз пять влюблен, но для меня семейная жизнь противна. Человек может жить только один спокойно и свободно. В семейной жизни, как нарочно, все сделано, чтоб живущие под одной кровлей надоедали друг другу, — поневоле разойдутся; не живи вместе — вечная нескончаемая дружба, а вместе тесно.

— Полноте, Семен Иванович,—возразил Круциферский, — что вы это говорите! Целая сторона жизни, лучшая, полная счастия и блаженства, вам осталась неизвестна. И что вам в этой свободе, состоящей в отсутствии всяких ощущений, в эгоизме.

— Вот ведь и пошел. А сколько раз я говорил тебе, Дмитрий Яковлевич, что ты меня словом, «эгоизм» не запугаешь. — Какая гордость! «Без всяких ощущений,—как будто только на свете и ощущений, что идолопоклонство мужа к жене, жены к мужу, да ревнивое желание так поглотить друг друга для самих себя, чтоб ближнему ничего не досталось, плакать только о своем горе, радоваться своему счастью. Нет, батюшка, знаем мы самоотверженную любовь вашу; вот, не хочу хвастаться, да так уж к слову пришло, — как придешь к больному, и сердце замирает: плох был, неловко так подходишь к кровати — ба, ба, ба! пульсто лучше, а больной смотрит слабыми глазами да жмет тебе руку, — ну, это, братец, тоже ощущенье. Эгоизм? Да кроме безумных, кто ж не эгоист? Только одни просто, а другие, знаете, по пословице: та же щука, да под хреном. А на то пошло, так нет уже и ограниченнее эгоизма, как семейный.

— Я не знаю, Семен Иванович, что вас так стращает в семейной жизни; я теперь ровно четыре года замужем, мне свободно, я вовсе не вижу ни с моей стороны, ни с его ни жертв, ни тягости, — сказала Круциферская.

— Удалось сорвать банк, так и похваливает игру; мало ли чудес бывает на свете; вы исключенье — очень рад; да это ничего не доказывает; два года тому назад у нашего портного — да вы знаете его: портной Панкратов, на Московской улице, — у него ребенок упал из окна второго этажа на мостовую; как, кажется, не расшибиться? Хоть бы что-нибудь! Разумеется, синие пятна, царапины — больше ничего. Ну, извольте выбросить другого ребенка. Да и тут еще вышла вещь плохая, ребенок-то чахнет.

— Это уж не дурное ли пророчество нам? — спросила Круциферская, дружески положив руку на плечо Семену Ивановичу. — Я ваших пророчеств не боюсь с тех пор, как вы предсказывали моему мужу страшные последствия нашего брака.

— Как вы злопамятны, не стыдно ли? Да и этот

болтун все рассказал, экой мужчина! Ну, слава богу, слава богу, что я солгал; прошу забыть; кто старое помянет, тому глаз вон, хоть бы он был так удивительно хорош, как вот этот. — Он указал пальцем.

— Каков Семен Иванович, он еще и комплименты говорит.

— Я вам и получше и побольше комплимент скажу: глядя на ваше житье, я действительно несколько примирился с семейной жизнию; но не забудьте, что, проживши лет шестьдесят, я в вашем доме в первый раз увидел не в романе, не в стихах, а на самом деле осуществление семейного счастия. Не слишком же часты примеры.

— Почему знать, — отвечала Круциферская, — может быть, возле вас прошли незамеченными другие пары; любовь истинная вовсе не интересуется высказываться; да и искали ли вы, и как искали? Наконец, просто случайность, что вам мало встречалось людей семейно счастливых. А может быть, Семен Иванович, — прибавила она с той насмешливой злобой и даже с тою неделикатностью, которая всегда присуща людям счастливым, — вам уж кажется, что надобно выдержать характер, что если вы теперь признаетесь, что были неправы, то осудите всю жизнь свою и должны будете с тем вместе узнать, что поправить ее нельзя.

— О, нет, — возразил с жаром старик, — об этом не беспокойтесь, никогда не раскаюсь в былом, во-первых, потому, что глупо горевать о том, чего не воротишь, во-вторых, я, холостой старик, доживаю спокойно век мой, а вы прекрасно начинаете вашу жизнь.

— Не знаю цели, — заметил Круциферский, — с которой вы сказали последнее замечание, но оно сильно отозвалось в моем сердце; оно навело меня на одну из безотвязных и очень скорбных мыслей, таких, которых присутствие в душе достаточно, чтоб отравить минуту самого пылкого восторга. Подчас мне становится страшно мое счастие; я, как обладатель огромных богатств, начинаю трепетать перед будущим. Как бы...

— Как бы не вычли потом. Ха, ха, ха, эки мечтатели! Кто мерил ваше счастье, кто будет вычитать? Что это за ребяческий взгляд! Случай и вы сами устроили ваше счастье, — и потому оно ваше, и наказывать вас за счастье было бы нелепостью. Разумеется, тот же

случай, неразумный, неотразимый, может разрушить ваше счастие; но мало ли что может быть. Может быть, балки этого потолка подгнили, может быть, он провалится; ну, начнемте выбираться; да как выбираться? На дворе встретится бешеная собака, на улице лошадь задавит... Да если допустить в себе боязнь возможного зла, так лучше опиуму выпить, да и уснуть на веки веков.

— Я всегда дивился, Семен Иванович, легкости, с которой вы принимаете жизнь: это счастие, большое счастие, но оно не всем дано; вы говорите: случай — и успокоиваетесь, а я нет. Мне от того не легче, что я неизвестную, но подозреваемую связь событий моей жизни назову случаем. Все в жизни недаром, и все имеет высокий смысл; недаром вы нашли меня на моем чердаке; мало ли учителей в Москве,— почему именно меня? Не для того ли, что во мне лежало орудие для освобождения этого высокого, чистого существа, и то, о чем я боялся мечтать, боялся думать, вдруг совершилось,— и счастью моему нет меры. Да где же справедливость, если это так и пойдет на всю жизнь? Я покоряюсь моему счастию так, как другие покоряются несчастию, но не могу отделаться от страха перед будущим.

— То есть перед тем, чего нет. И я, с своей стороны, скажу, что всю жизнь не понимал да и не пойму эти болезненные воображения, находящие наслаждение в том, чтобы мучить себя грезами и придумывать беды и вперед грустить. Такой характер — своего рода несчастие. Ну, пришибет бедою, разразится горе над головой, — поневоле заплачешь и повесишь нос; но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подаст прескверного квасу,— это своего рода безумие. Неуменье жить в настоящем, ценить будущее, отдаваться ему — это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в наше время. Мы все еще похожи на тех жидов, которые не пьют, не едят, а откладывают копейку на черный день; и какой бы черный день ни пришел, мы не раскроем сундуков,— что это за жизнь?

— Я совершенно согласна с вами, Семен Иванович,— с жаром сказала Круциферская.— Я часто говорю об этом с Дмитрием. Если мне хорошо, зачем я стану думать о будущем? Для меня его хоть бы со-

всем не было. Он сам со мною часто соглашается, но тайная грусть так глубоко вкоренилась в него, что он не может ее победить. Да и зачем, впрочем, — прибавила она, светло и симпатично улыбаясь мужу,— я и грусть эту люблю в нем, в ней столько глубокого. Я думаю, мы с вами оттого не понимаем или, по крайней мере, не сочувствуем этой грусти, что у нас нрав поверхностнее, удобовпечатлительнее, что нас занимает и увлекает внешность.

— Начали за здравие, свели за упокой; начали так, что я хотел поцеловать вашу ручку и сказать мужу: «Вот человеческое пониманье жизни», а кончили тем, что его грезы — глубокомыслие; хорошо глубокомыслие — мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещах, которых, может быть, и не будет.

— Семен Иванович, на что вы так исключительны? Есть нежные организации, для которых нет полного счастия на земле, которые самоотверженно готовы отдать все, но не могут отдать печальный звук, лежащий на дне их сердца,— звук, который ежеминутно готов сделаться... Надобно быть погрубее для того, чтоб быть посчастливее; мне это часто приходит в голову; посмотрите, как невозмущаемо счастливы, например, птицы, звери, оттого что они меньше нас понимают.

— Однако довольно неприятно,— заметил неумолимый Крупов,— иметь высшую натуру для существа, назначенного жить не выше и не ниже, как на земле. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое расстройство, за нервный припадок; обливайтесь холодной водой да делайте больше движения — половина надзвездных мечтаний пройдет. Вы, Дмитрий Яковлевич, от рождения слабы физическими силами; в слабых организациях часто умственные способности чрезвычайно развиты, но почти всегда эдак вкось, куда-нибудь в отвлеченье, в фантазию, в мистицизм. Вот отчего древние говорили: mens sana in corpore sano[1]. Посмотрите на бледных, белокурых немцев, отчего они мечтатели, отчего они держат голову на сторону, часто плачут? От золотухи и от климата; от этого они готовы целые века бредить о мистических контроверзах, а дела никакого не делают.

[1] в здоровом теле здоровый дух (*лат.*).

— Недаром говорят, что медицинские занятия прививают человеку какой-то сухой материальный взгляд на жизнь; вы так коротко знакомитесь с вещественной стороной человека, что из-за нее забыли другую сторону, ускользающую от скальпеля и которая одна и дает смысл грубой материи.

— Ох, эти мне идеалисты,— сказал Семен Иванович, который приметно начал сердиться,— вечно подъезжают с вздором. Да кто же это им сказал, что вся медицина только и состоит из анатомии; сами придумали и тешатся; какая-то грубая материя... Я не знаю ни грубой материи, ни учтивой, а знаю живую. Мудрецы вы, нынешние ученые, а мелко плаваете! Это наш старый спор, он никогда не кончится, лучше перестать. Посмотрите, как Яшу мы убаюкали нашими пустяками, спит себе спокойно. Спи, малютка! Тебя еще папаша не научил презирать землю да материю, не уверил еще тебя, что эти милые ножки, эти ручонки — кусочки грязи, приставшей к тебе. Любовь Александровна, пожалуйста, не развивайте в нем этих пустяков; ну, вы мужу даете поблажку, бог с ним! Невинного ребенка, по крайности, не развращайте этим бредом с малых лет; ну, что сделаете из него? Мечтателя. Будет до старости искать жар-птицу, а настоящая-то жизнь в это время уйдет между пальцев. Ну, хорошо ли это? Возьмите-ка его.

Старик отдал Яшу матери, взял свой картуз и, медленно застегивая фрак, сказал:

— Ах, я забыл вам рассказать: на днях как-то я познакомился с преинтересным человеком.

— Верно, с Бельтовым?— спросила Круциферская.— Его приезд до того наделал шуму, что и я узнала об нем от директорши.

— Именно. Они шумят потому, что он богат, а дело в том, что он действительно замечательный человек, все на свете знает, все видел, умница такой; избалован немножко, ну, знаете, матушкин сынок; нужда не воспитывала его по-нашему, жил спустя рукава, а теперь умирает здесь от скуки, хандрит; можете себе представить, каково после Парижа.

— Бельтов! Да позвольте,— сказал Дмитрий Яковлевич,— фамилия знакомая; да не был ли он в мое время в московском университете? Бельтов оканчивал курс, когда я вступил; про него и тогда говорили,

что он страшно умен; еще его воспитывал какой-то женевец.

— Тот самый, тот самый.

— Я помню его, мы были немного знакомы.

— Я уверен, что он был бы очень рад вас видеть; в этой глуши встретить образованного человека — всякому клад; а Бельтов вовсе не умеет быть один, сколько я заметил. Ему надобно говорить, ему хочется обмена, и он болен от одиночества.

— Если вы не находите ничего против этого, я, пожалуй, пойду.

— Пойдемте-ка, доброе дело.— Нет, постой; вот я и стар, да опрометчив; он слишком, брат, богат, чтоб тебе первому идти к нему! Я завтра ему скажу: захочет, приедем с ним к тебе.— Прощай, любезный спорщик. Прощайте.

— Привозите же завтра вашего Бельтова,— сказала Любовь Александровна,— нам до того наговорили об нем, что и мне захотелось его видеть.

— Стоит, право, стоит,— сказал старик, выходя в переднюю.

Крупов всякий раз спорил с Круциферским, всякий раз сердился и говорил, что он все более и более расходится с ним,— что не мешало нисколько тому, что они сближались ежедневно теснее и теснее. Для Крупова семья Круциферского — была его семья; он туда шел пожить сердцем, которое у него еще было тепло, отдохнуть, глядя на счастье их. Для Круциферских Крупов представлял действительно старшего в семье — отца, дядю, но такого дядю, которому любовь, а не права крови дали власть иногда пожурить и погрубить,— что оба прощали ему от души, и им было грустно, когда не видали его дня два.

На другой день, часов в семь после обеда, Семен Иванович привез в своих пошевнях, покрытых желтым ковром, и на паре обвинок, светло-саврасой шерсти, Бельтова к Круциферскому. Разумеется, Бельтов был рад-радехонек познакомиться с порядочным человеком, и ему вовсе не пришло в голову, что он сделает первый визит. Хозяева немного сконфузились; похвалы Семена Ивановича, слух о его заграничной жизни, даже его богатство — все это смутно вспомнилось, когда он вошел в комнату, и сделало встречу несколько натянутой; но это тотчас прошло. В приемах и речах

Бельтова было столько открытого, простого, и притом в нем было столько такту, этой высокой принадлежности людей с развитой и нежной душою, что не прошло получаса, как тон беседы сделался приятельским. Даже Круциферская, так не привыкнувшая к посторонним, невольно была вовлечена в разговор. С Дмитрием Яковлевичем Бельтов вспомнил университетские годы, бездну тогдашних анекдотов, тогдашние мечты, надежды. Давно ему не было так отрадно, и он дружески благодарил Крупова за это знакомство, когда тот подвез его к подъезду гостиницы «Кересберг».

— Ну, что,— спрашивал потом Семен Иванович у Круциферских,— как вам нравится новый знакомый?

— Этого и спрашивать не следует,— отвечал Круциферский.

— Он мне очень понравился,— сказала Любовь Александровна.

Семен Иванович, чрезвычайно довольный, что доставил всем удовольствие, шутливо погрозил пальцем.

Любовь Александровна покраснела.

Семейные картины увлекательны, и теперь, докончивши одну, я не могу удержаться, чтоб не начать другую. Тесная связь их, уверяю вас, раскроется после.

III

У дубасовского уездного предводителя была дочь,— и в этом еще не было бы большого зла ни для почтеннейшего Карпа Кондратьича, ни для милой Варвары Карповны; но у него, сверх дочери, была жена, а у Вавы, как звали ее дома, была, сверх отца, милая маменька, Марья Степановна, это изменяло существенно положение дела. Карп Кондратьич был образец кротости в семейных делах; странно было видеть, как изменялся он, переходя из конюшни в столовую, с гумна в спальню или в диванную. Если б мы не имели достоверных документов от известных путешественников, свидетельствующих о том, что один и тот же англичанин может быть отличнейшим плантатором и прекрасным отцом семейства, то мы сами усомнились бы в возможности такой двойственности. Впрочем, рассуждая глубже, можно заметить, что это так и должно быть; вне дома, то есть на конюшне и на гумне, Карп

Кондратьич вел войну, был полководцем и наносил врагу наибольшее число ударов; врагами его, разумеется, являлись непокорные крамольники — лень, несовершенная преданность его интересам, несовершенное посвящение себя четверке гнедых и другие преступления; в зале своей, напротив, Карп Кондратьич находил рыхлые объятия верной супруги и милое чело дочери для поцелуя; он снимал с себя тяжелый панцирь помещичьих забот и становился не то чтобы добрым человеком, а добрым Карпом Кондратьичем. Жена его находилась вовсе не в таком положении; она лет двадцать вела маленькую партизанскую войну в стенах дома, редко делая небольшие вылазки за крестьянскими куриными яйцами и тальками; деятельная перестрелка с горничными, поваром и буфетчиком поддерживала ее в беспрестанно раздраженном состоянии; но к чести ее должно сказать, что душа ее не могла совсем наполниться этими мелочными неприятельскими действиями — и она со слезами на глазах прижала к своему сердцу семнадцатилетнюю Ваву, когда ее привезла двоюродная тетка из Москвы, где она кончила свое ученье в институте или в пансионе. Это уж не повару чета, не горничной — родная дочь, одна кровь течет в жилах, да и священная обязанность. Сначала дали Ваве отдохнуть, побегать по саду, особенно в лунные ночи; для девочки, воспитанной в четырех стенах, все было ново, «очаровательно, пленительно», она смотрела на луну и вспоминала о какой-нибудь из обожаемых подруг и твердо верила, что и та теперь вспомнит об ней; она вырезывала вензеля их на деревьях... Это было то время, которое холодным людям просто смешно, а у нас оно срывает улыбку, но не улыбку презренья, а ту улыбку, с которой мы смотрим на играющих детей: нам нельзя играть — пусть они поиграют. Натянутость, экзальтация, в которой обыкновенно обвиняют девушек, только что оставивших пансион, несправедлива, совершенно несправедлива. Во всех мечтах, во всех самопожертвованиях этого возраста, в его готовности любить, в его отсутствии эгоизма, в его преданности и самоотвержении — святая искренность; жизнь пришла к перелому, а занавесь будущего еще не поднялась; за ней страшные тайны, тайны привлекательные; сердце действительно страдает по чем-то неизвестном, и организм складывается в то же время,

и нервная система раздражена, и слезы готовы беспрестанно литься. Пройдет пять, шесть лет, все переменится; замуж выйдет — и говорить нечего; не выйдет — да если только есть искра здоровой натуры, девушка не станет ждать, чтоб кто-нибудь отдернул таинственную завесу, сама ее отдернет и иначе взглянет на жизнь. Смешно смотреть институткой на мир двадцатипятилетними глазами, и печально, если институтка смотрит на вещи двадцатипятилетними глазами.

Варвара Карповна не была красавица, но в ней была богатая замена красоты, это *нечто,* ce quelque chose, которое, как букет хорошего вина, существует только для понимающего, и это *нечто,* еще не развитое, пророческое, предсказывающее, в соединении с юностью, которая все румянит, все красит, — придавало ей особую, тонкую, нежную, не всем доступную прелесть. Глядя на довольно худое, смуглое лицо ее, на юную нестройность тела, на задумчивые глаза с длинными ресницами, поневоле приходило в голову, как преобразятся все эти черты, как они устроятся, когда и мысль, и чувство, и эти глаза — все получит определение, смысл, отгадку, и как хорошо будет тому, на плечо которого склонится эта головка! Марья Степановна, впрочем, была очень недовольна наружностью дочери, называла ее «дурняшкой» и приказывала всякое утро и всякий вечер мыться огуречною водой, в которую прибавляла какой-то порошок, чтоб прошел загар, как она называла ее смуглость. Поведение Вавы при гостях заставило мать обратить серьезное внимание на нее; Вава была застенчива, уходила в сад с книжкой, не любезничала, пе делала глазки. Книжка, как ближайшая причина, была отнята; потом пошли родительские поучения, вовеки нескончаемые; Марье Степановне показалось, что Вава ей повинуется не совсем с радостью, что она даже хмурит брови и иногда смеет *отвечать;* против таких вещей, согласитесь сами, надобно было взять решительные меры; Марья Степановна скрыла до поры до времени свою теплую любовь к дочери и начала ее гнать и теснить на всяком шагу. Она ей не позволяла гулять, когда той хотелось; она ее посылала, когда та хотела сидеть дома. Она ее заставляла нехотя есть и всякий день упрекала, что она не толстеет. Гонения матери сделали нрав Вавы сосредоточенным, она стала еще дичее, худела еще больше.

Карпу Кондратьичу иногда приходило в голову, что жена его напрасно гонит бедную девушку, он пробовал даже заговаривать с нею об этом издалека; но как только речь подходила к большей определительности, он чувствовал такой ужас, что не находил в себе силы преодолеть его, и отправлялся поскорее на гумно, где за минутный страх вознаграждал себя долгим страхом, внушаемым всем вассалам. Поле оставалось свободно за Марьей Степановной, и она, с величайшей ревностью скупая ткацкие полотна, скатерти и салфетки для будущего приданого и заставляя семерых горничных слепить глаза за кружевными коклюшками, а трех вышивать в пяльцах разные ненужности для Вавы,— в то же самое время с невероятной упорностью гнала и теснила ее, как личного врага.

Когда они приехали в NN на выборы и Карп Кондратьевич напялил на себя с большим трудом дворянский мундир, ибо в три года предводителя прибыло очень много, а мундир, напротив, как-то съежился, и поехал как к начальнику губернии, так и к губернскому предводителю, которого он, в отличение от губернатора, остроумно называл «наше его превосходительство»,— Марья Степановна занялась распоряжениями касательно убранства гостиной и выгрузки разного хлама, привезенного на четырех подводах из деревни; ей помогали трое не чесанных от колыбели лакеев, одетых в полуфраки из какой-то серой не то байки, не то сукна; дело шло горячо вперед; вдруг барыня, как бы пораженная нечаянной мыслию, остановилась и закричала своим звучным голосом:

— Вава, Вава, где ты это прячешься, а?

Бедная девушка, чувствуя, что это не к добру, робко вошла в комнату.

— Я здесь, maman!

— Что это у тебя за вид, больна, что ли, ты? Право, посмотришь на вас со стороны, покажется, что вам дурно жить в родительском доме; вот эти пансионы! к матери подходит с каким лицом!— Тут Марья Степановна передразнила томный вид девушки.— Я сама была дочь; бывало, маменька позовет, бегу к ней с открытым видом.— Тут она представила открытый вид и улыбочку.— А ты все исподлобья... Дурак, разобьешь! Чему обрадовался,— тащит, мужик; никогда не выучишь...— Ну, милая моя, полно шутить, я тебе в

последний раз скажу добрым порядком, что твое поведение меня огорчает; я еще молчала в деревне, но здесь этого не потерплю; я не за тем тащилась в такую даль, чтоб про мою дочь сказали: дикая дурочка; здесь я тебе не позволю в углу сидеть. Как не умеешь заинтересовать ни одного кавалера? Да мне было пятнадцать лет, а уж отбою не было от них. Тебя пора пристроить, слышишь ли?..— Ах ты мерзавец, ведь говорила, что сломаешь; поди сюда, поди, тебе говорят, покажи, вишь, дурак, как сломал, совсем на две части; ну, я тебя угощу, дай барину воротиться; я сама бы оттаскала тебя за волосы, да гадко до тебя дотронуться: маслом как намазался, это вор Митька на кухне дает господское масло; вот, погоди, я и до него доберусь..— Да-с, Варвара Карповна, вы у меня на выборах извольте замуж выйти; я найду женихов, ну, а вам поблажки больше не дам; что ты о себе думаешь, красавица, что ли, такая, что тебя очень будут искать: ни лица ни тела, да и шагу не хочешь сделать, одеться не умеешь, слова молвить не умеешь, а еще училась в Москве; нет, голубушка, книжки в сторону, довольно начиталась, очень довольно, пора, матушка, за дело приниматься. Я тебя с глаз сгоню, если не поправишь поведения.

Вава стояла, как приговоренная к смерти; последние слова матери казались ей утешением.

— Как тебе не найти жениха! Триста пятьдесят душ крестьян! Каждая душа две души соседские стоит да приданище какое!.. Что, что — да ты, кажется, плакать начинаешь, плакать, чтоб глаза сделались красными; так ты эдак за материнские попечения!..

Она так близко подошла к ней, а у Вавы волосы были так мягки и сухи, что неизвестно, чем кончилась бы эта история, если б медвежонок в полуфраке не уронил в самое это время десертную тарелку. Марья Степановна перенесла на него всю ярость.

— Кто разбил тарелку?— кричала она хриплым голосом.

— Сама разбилась,— отвечал, по-видимому, вышедший из терпения слуга.

— Как сама! Сама? И ты смеешь мне говорить это — сама! — Остальное она договорила руками, находя, вероятно, что мимика сильнее выражает взволнованное состояние души, чем слово.

Измученная девушка не могла больше вынести: она вдруг зарыдала и в страшном истерическом припадке упала на диван. Мать испугалась, кричала: «Люди, девка, воды, капель, за доктором, за доктором!» Истерический припадок был упорен, доктор не ехал, второй гонец, посланный за ним, привез тот же ответ: «Велено-де сказать, что немножко-де повременить надо, на очень, дескать, трудных родах».

— Тьфу ты, проклятый! Да кому так приспичило родить?

— Прокуроровой кухарке-с,— отвечал посланный.

Только этого и недоставало, чтоб довершить трагическое положение Марьи Степановны; она побагровела; лицо ее, всегда непривлекательное, сделалось отвратительным.

— У кухарки? У кухарки?..— больше она не могла вымолвить ни слова.

Вошел Карп Кондратьич с веселым и довольным видом: губернатор дружески жал ему руку, ее превосходительство водила показывать ковер, присланный для гостиной из Петербурга, и он, посмотревши на ковер с видом патриархальной простоты, под которую мы умеем прятать лесть и унижение, сказал: «У кого же, матушка Анна Дмитриевна, и быть таким коврам, как не у ваших превосходительств». Он всем этим был очень доволен, особенно ловким ответом своим. И вдруг семейная сцена обрушилась на его голову: дочь в истерике, жена в исступлении, разбитая тарелка на полу, у Марьи Степановны лица нет и правая ручка както очень красна,— почти так же, как левая щека у Терешки.

— Что за история! Что с Вавой?

— Известно, с дороги; дело девичье,— ответила нежная мать,— где ей вынести сто двадцать верст; говорила —отложить до середы, ну так нет; теперь и лечи.

— Помилуй, в середу не меньше бы было верст.

— Ты все лучше знаешь. А вот этого убийцу Крупова в дом больше не пускай; вот масон-то, мерзавец! Два раза посылала,— ведь я не последняя персона в городе... Отчего? Оттого, что ты не умеешь себя держать, ты себя держишь хуже заседателя; я посылала, а он изволит тешиться надо мной; видишь, у прокурорской кухарки на родинах; моя

дочь умирает, а он у прокурорской кухарки... Якобинец!

— Подлец и мерзавец! — заключил предводитель.

Горячий поток слез Марьи Степановны не умолкал еще, как растворилась дверь из передней, и старик Крупов, с своим несколько методическим видом и с тростью в руке, вошел в комнату; вид его был тоже довольнее обыкновенного, он как-то улыбался глазами и, не замечая того, что хозяева не кланяются ему, спросил:

— Кому нужна здесь моя помощь?

— Моей дочери!

— А! Вере Михайловне? Что с ней?

— Дочь мою зовут Варварой, а меня Карпом,— не без достоинства заметил предводитель.

— Извините, извините; да, ну что же у Варвары Кирилловны?

— Да прежде, батюшка,— перебила дрожащим от бешенства голосом Марья Степановна,— успокойте, что, кухарка-то прокурорская родила ли?

— Хорошо, очень хорошо,— возразил с энергией Крупов,— это такой случай, какого в жизнь не видал. Истинно думал, что мать и ребенок пропадут; бабка пренеловкая, у меня и руки стары, и вижу нынче плохо. Представьте, пуповина...

— Ах, батюшка, да он с ума сошел; стану я такие мерзости слушать! Да с чего вы это взяли! У меня в деревне своих баб круглым числом пятьдесят родят ежегодно, да я не узнаю всех гадостей.— При этом она плюнула.

Крупов насилу сообразил, в чем дело. Он всю ночь провозился с бедной родильницей, в душной кухне, и так еще был весь под влиянием счастливой развязки, что не понял сначала тона предводительши. Она продолжала:

— Да что, прокурор-то платит вам, что ли, так уж густо, что вы не могли бабы его оставить на минуту, когда с моей дочерью чуть смерть не приключилась?

— Ни на одну минуту, сударыня, ни на одну минуту не мог — ни для вашей дочери, ни для кого другого. Да, видно, она не очень и больна: вы не торопитесь вести меня к ней. Я знал это.

Это замечание озадачило нежных родителей; но мать скоро оправилась и возразила:

— Ей лучше, да я и не подпущу вас теперь к моей дочери, и рук-то, верно, вы не вымыли.

— Признаюсь, господин доктор,— прибавил предводитель,— такого дерзкого поступка и такого дерзкого ему объяснения я от вас не ожидал, от старого, заслуженного доктора. Если бы не уважение мое к кресту, украшающему грудь вашу, то я, может быть, не остался бы в тех пределах, в которых нахожусь. С тех пор как я предводителем,— шесть лет минуло,— меня никто так не оскорблял.

— Да помилуйте, если в вас нет искры человеколюбия, так вы, по крайней мере, сообразите, что я здесь инспектор врачебной управы, блюститель законов по медицинской части, и я-то брошу умирающую женщину для того, чтоб бежать к здоровой девушке, у которой мигрень, истерика или что-нибудь такое — домашняя сцена! Да это противно законам, а вы сердитесь!

Карп Кондратьич, в дополнение, был трус величайший; ему показалось, что в словах доктора лежит обвинение в вольнодумстве; у него в глазах поголубело, и он поторопился ответить:

— Не знал, видит бог, не знал; перед властью закона я немею. Да вот Вава сама встает.

Крупов подошел к ней, посмотрел, взял руку, покачал головой, сделал два-три вопроса и,— зная, что без этого его не выпустят,— написал какой-то вздорный рецепт и, прибавивши: «Пуще всего спокойствие, а то может быть худо»,— ушел.

Испуганная истерикой, Марья Степановна немного сделалась помягче; но когда до нее дошел слух о Бельтове, у нее сердце так и стукнуло, и стукнуло с такой силой, что болонка, лежавшая у нее постоянно шестой год на коленях вместе с носовым платком и с маленькой табакеркой, заворчала и начала нюхать и отыскивать, кто это прыгает.— Бельтов — вот жених! Бельтов — его-то нам и надо!

Разумеется, Бельтов сделал Карпу Кондратьичу визит; на другой день Марья Степановна протурила мужа платить почтение, а через неделю Бельтов получил засаленную записку, с сильным запахом бараньего тулупа, приобретенным на груди кучера, принесшего ее; содержание ее было следующее:

«Дубасовский уездный предводитель дворянства и супруга его покорнейше просят Владимира Петровича сделать им честь откушанием у них обеденного стола, завтра в три часа».

Бельтов с ужасом прочел приглашение и, бросив его на стол, думал: «Что им за охота звать? Денег стоит много, все они скупы, как кощеи, скука будет смертная... а делать нечего, надобно ехать, а то обидится».

За два дни до обеда начались репетиции и приготовления Вавы; мать наряжала ее с утра до ночи, хотела даже заставить ее явиться в каком-то красном бархатном платье, потому что оно будто бы было ей к лицу, но уступила совету своей кузины, ездившей запросто к губернаторше и которая думала, что она знает все моды, потому что губернаторша обещала ее взять на будущее лето с собой в Карлсбад.—С вечера Марья Степановна приказала принести миндальные отруби, оставшиеся от приготовляемого на завтра бланманже, и, показавши дочери, как надобно этими отрубями тереть шею, плечи и лицо, начала торжественным тоном, сдерживая очевидное желание перейти к брани.

— Вава,— говорила она,— если бог мне поможет выдать тебя за Бельтова, все мои молитвы услышаны, я тогда тебе цены не буду знать; утешь же ты мать свою; ты не бесчувственная какая-нибудь, не каменная; неужели этого не можешь сделать?— Как не понравиться мужчине, молодому? Да и что здесь девиц, что ли, очень много: две, три — да и обчелся; красавицы-то хваленые — председательские дочки, по мне, прегадкие, да и, говорят, перемигиваются с какими-то секретаришками. А потом, что за фамилия их — отец выслужился из повытчиков казенной палаты. Кабы у тебя амбиции было хоть на волос, то на смех им надобно бы... Они, бесстыдницы, мимо его квартиры в открытой коляске шныряют, да нет — надежда плоха: вот теперь я распинаюсь, а ведь она смотрит, как деревянная; наградил же меня господь за мои прегрешения куклой вместо дочери!

— Маменька, маменька,— говорила полушепотом Вава с каким-то отчаянием во взгляде,— что же мне делать, я не могу иначе; да рассудите сами, я не знаю совсем этого человека, да и он, может быть, на меня

не обратит вовсе никакого внимания. Не броситься же мне к нему на шею.

— Грубиянка эдакая! Да кто тебе говорит — броситься на шею... так ты эдак хочешь исполнить волю матери... не видала никогда! Что, у тебя мать дура или пьяная какая, что не умеет выбрать тебе жениха! Царевна какая!

Она остановилась, боясь разобидеть ее до слез, от которых завтра глаза будут красны.

Пришел наконец день испытания; с двенадцати часов Ваву чесали, помадили, душили; сама Марья Степановна затянула ее, и без того худенькую, корсетом и придала ей вид осы; зато, с премудрой распорядительностью, она умела кой-где подшить ваты — и все была не вполне довольна: то ей казался ворот слишком высок, то что у Вавы одно плечо ниже другого; при всем этом она сердилась, выходила из себя, давала поощрительные толчки горничным, бегала в столовую, учила дочь делать глазки и буфетчика накрывать стол и проч. Труден был этот день для Марьи Степановны — но много может любовь матери!

Понятно, что все это очень хорошо и необходимо в домашнем обиходе; как ни мечтай, но надобно же подумать о судьбе дочери, о ее благосостоянии; да то жаль, что эти приготовительные, закулисные меры лишают девушку прекраснейших минут первой, откровенной, нежданной встречи — разоблачают при ней тайну, которая не должна еще быть разоблачена, и показывают слишком рано, что для успеха надобна не симпатия, не счастье, а крапленые карты. Эти приготовления опошляют отношения, которые только тогда и могут быть истинны и святы, когда они не опошлены. Строгие моралисты, пожалуй, прибавят, что все подобные меры более могут развратить сердце девушки, нежели так называемые падения,— в такую глубь мы не пускаемся. Да и притом, как ни толкуй, а дочерей надобно замуж выдавать, они только для этого и родятся; в этом, я думаю, согласны все моралисты.

В три часа убранная Вава сидела в гостиной, где уж с половины третьего было несколько гостей и поднос, стоявший перед диваном, утратил уже половину икры и балыка, как вдруг вошел лакей и подал Карпу Кондратьичу письмо. Карп Кондратьич достал из кармана очки, замарал им стекла грязным платком и, как-

то, должно быть, по складам, судя по времени, прочитавши записку в две строки, возвестил голосом, явно не спокойным:

— Маша, Владимир Петрович просит извинить его, он нездоров, простудился и при всем желании не может приехать. Человеку скажи, что очень, дескать, жаль.

Марья Степановна изменилась в лице и бросила на дочь такой взгляд, как будто она простудила Бельтова. Вава торжествовала. Никогда Марья Степановна не казалась смешнее: она до того была смешна, что ее становилось жаль. Она возненавидела Бельтова от всего сердца и от всего помышления. «Это просто афронт»,— бормотала она про себя.

— Кушанье подано,— сказал лакей.

Губернский предводитель повел Марью Степановну в столовую.

Недели через две после этого происшествия Марья Степановна занималась чаем; она, оставаясь одна или при близких друзьях, любила чай пить продолжительно, сквозь кусочек, с блюдечка, что ей нравилось, между прочим, и тем, что сахару выходило по этой методе гораздо меньше. Перед нею сидела на стуле какая-то длинная, сухая женская фигура в чепчике, с головою, несколько качавшеюся, что сообщало оборке на чепце беспрерывное колебание; она вязала шерстяной шарф на двух огромных спицах, глядя на него сквозь тяжелые очки, которых обкладка, сделанная, впрочем, из серебра, скорее напоминала пушечный лафет, чем вещь, долженствующую покоиться на носу человека; затасканный темный капот, огромный ридикюль, из которого торчали еще какие-то спицы, показывали, что эта особа — свой человек, и притом — небогатый человек; последнее всего яснее можно было заметить по тону Марьи Степановны. Старуху эту звали Анной Якимовной. Она была хорошего дворянского происхождения и с молодых лет вдова; имение ее состояло из четырех душ крестьян, составлявших четырнадцатую часть наследства, выделенного ей родственниками ее, людьми очень богатыми, которые, взойдя в ее вдовье положение, щедрой рукой нарезали для нее и для ее крестьян болото, обильное дупелями и бекасами, но не совсем удобное для мирных занятий хлебопашеством. При всех стараниях Анны Якимовны большого оброку

с такого имения получить было невозможно. Наследство, полученное ею от своего супруга, было тоже не велико: оно состояло из подполковничьего чина, из единственного сына и из собрания рецептов, как лечить лошадей от шпата, сапа и проч., на каждом рецепте был написан поразительный пример успеха. Сын был отправлен лет девятнадцати в какой-то полк, но воротился вскоре в родительский дом, высланный из службы за пьянство и буйные поступки. С тех пор он жил во флигеле дома Анны Якимовны, тянул сивуху, настоянную на лимонных корках, и беспрестанно дрался то с людьми, то с хорошими знакомыми; мать боялась его, как огня, прятала от него деньги и вещи, клялась перед ним, что у нее нет ни гроша, особенно после того, как он топором разломал крышку у шкатулки ее и вынул оттуда семьдесят два рубля денег и кольцо с бирюзою, которое она берегла пятьдесят четыре года в знак памяти одного искреннего приятеля покойника ее. Сверх крестьян и рецептов, у Анны Якимовны были три молодые горничные, одна старая и два лакея. Молодых девок она никогда не одевала, а, что всего замечательнее, они были всегда хорошо одеты. Анна Якимовна с удовольствием видела, что они успевают вырабатывать себе на платье, несмотря на то, что с утра до ночи сама занимала их работой,— и благоразумно молчала, замечая кой-какие непорядки. Лакеи — два уродливые старика, жившие единственно вину, были в половине с горничными и, сверх того, шили на полгорода козловые башмаки с сильным запахом. Разумеется, Яким Осипович также не упускал случая сводить свои счеты, пользуясь слабостями человеческой натуры.

Почтенная глава этого патриархального фаланстера допивала четвертую чашку чаю у Марьи Степановны; она успела уже повторить в сотый раз, как за нее сватался грузинский князь, умерший генерал-аншефом, как она в 1809 году ездила в Питер к родным, как всякий день у ее родных собирался весь генералитет и как она единственно потому не осталась там жить, что невская вода ей не по вкусу и не по желудку. Докончивши аристократические воспоминания вместе с четвертой чашкой чаю, она вдруг начала, громко опрокидывая чашку (это был фальшивый сигнал) и положивши на донышко крошечный кусочек сахару:

— Да, матушка Марья Степановна, вот кабы меня господь сподобил увидеть Варвару Карповну вашу пристроенною — так, хоть бы как вы, Марья Степановна; не могу более желать; сердце радуется на ваше семейство: дом — полная чаша, уважение такое отовсюду. Право, хорошо бы, успокоило бы вас!

— Что вы это опрокинули чашку, выкушайте еще.

— Право, довольно; я обыкновенно пью три чашки, а у вас четыре выпила; покорнейше благодарю; чай у вас отменный.

— Да, я уж всегда говорю, по-моему, рубль передать на фунт — ничего не значит, да уж только чтоб был чай. Берите-ка чашку. — И Анна Якимовна принялась за пятую.

— Конечно, все в божией власти, Анна Якимовна, но ведь Вава оченно молода, куда ей замуж теперь; да и, признаться, какие женихи, погубят девку; а когда подумаю, как с ней расстаться, я не переживу, истинно не переживу.

— И, матушка, господь с тобой. Кто же не отдавал дочерей, да и товар это не таков, чтоб на руках держать: залежится, пожалуй. Нет, по-моему, коли мать пресвятая богородица благословит, так хорошо бы составить авантажную партию. Вот Софьи-то Алексеевны сынок приехал; он ведь нам доводится в дальнем свойстве; ну, да ведь нынче родных-то плохо знают, а уж особенно бедных; а должно быть, состояньице хорошее, тысячи две душ в одном месте, имение устроенное.

— Да человек-то каков? Вам всё деньги дались, а богатство больше обуза, чем счастие,— заботы да хлопоты; это все издали кажется хорошо, одна рука в меду, другая в патоке; а посмотрите — богатство только здоровью перевод. Знаю я Софьи Алексеевны сына; тоже совался в знакомство с Карпом Кондратьевичем; мы, разумеется, приняли учтиво, что ж нам его учить,— ну, а уж на лице написано: преразвращенный! Что за манеры! В дворянском доме держит себя точно в ресторации. Вы видели его?

— Видала издали, на улице: он частенько ездит мимо меня и пешком прохаживает.

— Да куда же это мимо вас он ходит?

— Не знаю, матушка, мне ли в мои лета и при тяжких болезнях моих (при этом она глубоко вздохнула) заниматься, кто куда ходит, своей кручины

довольно... Пред вами, как перед богом, не хочу таить: Якиша-то опять зашалил — в гроб меня сведет...— Тут она заплакала.

— Что бы вам посоветоваться с крестовоздвиженским церковным старостою: удивительно лечит; возьмет простого пенного, поговорит над ним, даст хлебнуть больному и сам остальное выпьет, больше ничего, а тому так и начнут бесенята казаться и разные адские наваждения,— ну как рукой и снимет!

— Да ведь небось дорого попросит; знаете наше состояние.

— Нет, он лечил нашего повара, всего дали синенькую.

— Да помог ли?

— Помочь-то помог; он было опять стал припадать, так Карп Кондратьич другого лекарства закатил: «Ты, говорит, боярских милостей не понимаешь; я пять рублей пролечил на тебя, а ты не выздоровел, мошенник!» Ну, и, знаете, по-русски; с тех пор и не пьет. Я вам пришлю старосту. Ну, а уж я не вытерпела бы, узнала бы, куда это шляется этот молодчик.

— Да и я сама как-то спросила свою Василиску — ведь она такая бойкая у меня... так, от безделья молвила, куда, мол, ездит вот этот барин мимо нас; а она на другой же день мне и докладывает: «Изволили мне вчера молвить, куда бельтовский барин ездит: он все с дохтуром, с стариком, к учителю негровскому ездит».

— С Круповым, к негровскому учителю?— спросила Марья Степановна, едва скрывая приятное волнение, в котором сама себе не могла дать отчета.

— Да, матушка, он ведь здесь в этой гимназии служит, этому учит...

— А, так вот куда он похаживает; я с самого начала его считала преразвращенным, и чему дивить? Учитель его с малолетства постриг в масонскую веру, — ну, какому же быть пути? Мальчишка без надзору жил во французской столице, ну, уж по имени можете рассудить, какая моральность там... Так это он за негровской-то воспитанницей ухаживает, прекрасно! Экой век какой!

— Жаль, вчуже жаль, Марья Степановна, бедного мужа; говорят, человек солидный. А она — уж такое происхождение! Скольких я видала на своем веку,— холопская кровь скажется!

— Ну, и Семен-то Иванович, роля очень хороша! Прекрасно! Старый грешник, бога б побоялся; да и онто масонишка такой же, однокорытнику и помогает, да ведь, чай, какие берет с него денежки? За что? Чтоб погубить женщину. И на что, скажите, Анна Якимовна, на что этому скареду деньги? Один, как перст, ни ближних, никого; нищему копейки не подаст; алчность проклятая! Иуда искариотский! И куда? Умрет, как собака, в казну возьмут!

Разговор продолжался еще с четверть часа в том же духе и направлении, после чего Анна Якимовна, в жару разговора выпившая еще три чашки чаю, стала собираться домой, сняла очки, уложила их в футляр и послала в переднюю спросить, пришел ли Максютка проводить ее, и, узнавши, что Максютка тут, встала. Давно Марья Степановна не принимала ее так ласково; она проводила ее даже до самой передней, где небритый Максютка, пресмешной старик лет шестидесяти, грязный и пропахнувший простым вином, одетый в фризовую шинель с черным воротником, держал одной рукой заячий салоп Анны Якимовны, а другой укладывал в карман тавлинку. Максютка был очень не в духе: он только было готовился запереть дамку и уже поставил грязный палец на шашку, чтобы ее двинуть, как барыня отворила дверь. «Ворона проклятая»,— бормотал он грубо, надевая салоп на сухие плечи вдовствующей Анны Якимовны.

— Вот у меня дурачок, не могу научить салопа подать,— заметила барыня.

— Пора нас со двора, наберите себе ученых,— бормотал Максютка.

— Вот, матушка, вдовье положенье; ото всего терплю, от последнего мальчишки. Что сделаешь — дело женское; если б был покойник жив, что бы я сделала с эдаким негодяем... себя бы не узнал... Горькая участь, не суди вам бог испытать ее!

Речь эта не тронула Максютку; он, ведя под руку свою барыню с лестницы, успел обернуться к провожавшим людям и подмигнуть, указывая на Анну Якимовну, что доставило истинное и продолжительное удовольствие дворне дубасовского предводителя.

Предоставляю читателям вообразить всю радость и все удовольствие доброй Марьи Степановны, услышавшей такую новость и получившей явную возможность

пустить скандальную историю не только о Бельтове, но и о Крупове. По дороге приходилось, правда, раздавить репутацию женщины, как-то жаль, но что делать? Есть важные случаи, в которых личности человеческие приносятся на жертву великим планам!

IV

В то самое время, когда почтенная вдова Анна Якимовна кушала чай у не менее почтенной Марьи Степановны и они с тем нежным вниманием, свойственным одному женскому сердцу, занимались Бельтовым,— Бельтов, чрезвычайно грустный, сидел, с своей стороны, в своем нумере, тоскливо думая о чем-то очень грустном и тяжелом. Будь он одарен ясновидением, ему было бы легко утешиться, он ясно услышал бы, что не далее как через большую и нечистую улицу да через нечистый и маленький переулок две женщины оказывали родственное участие к судьбам его, и из них одна, конечно, без убийственного равнодушия слушала другую; но Бельтов не обладал ясновидением; по крайней мере, если б он был не испорченный западным нововведением русский, он стал бы икать, и икота удостоверила бы его, что там,— там, где-то... вдали, в тиши его поминают; но в наш век отрицанья икота потеряла свой мистический характер и осталась жалким гастрическим явлением.

Хандра Бельтова, впрочем, не имела ни малейшей связи с известным разговором за шестой чашкой чаю; он в этот день встал поздно, с тяжелой головой; с вечера он долго читал, но читал невнимательно, в полудремоте,— в последние дни в нем более и более развивалось какое-то болезненное *не по себе,* не приходившее в ясность, но располагавшее к тяжелым думам,— ему все чего-то недоставало, он не мог ни на чем сосредоточиться; около часу он докурил сигару, допил кофей, и, долго думая, с чего начать день, со чтения или с прогулки, он решился на последнее, сбросил туфли, но вспомнил, что дал себе слово по утрам читать новейшие произведения по части политической экономии, и потому надел туфли, взял новую сигару и совсем расположился заняться политической экономией, но, по несчастию, возле ящика с сигарами лежал Бай-

рон; он лег на диван и до пяти часов читал — «Дон-Жуана». Когда он посмотрел на часы, окончивши чтение, он очень удивился, что так поздно, позвал своего камердинера, велел приготовить одеваться как можно скорее; впрочем, и удивление и приказ были больше инстинктивны, потому что он никуда не сбирался и ему было совершенно все равно — шесть ли часов утра или двенадцать почи. Одевшись с тою тщательностью и чистотою, к которой мы привыкаем, долго живши за границей, и от которой скоро отвыкаем в провинции, он, твердый в намерении заняться политической экономией, лег на то же место и развернул какую-то английскую брошюру об Адаме Смите. А камердинер развернул небольшой стол и начал его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону; Григорий преспокойно накрыл стол, поставил графин с водою и бутылку с лафитом, поставил на другой стол графинчик с абсинтом и сыр, потом спокойно осмотрел сделанное и, убедившись, что все поставлено на месте, отправился за супом и через минуту принес — только не суп, а письмо.

— Откуда?— спросил Бельтов, не сводя глаз с брошюрки об Адаме Смите.

— Должно быть, из чужих краев: штемпель не наш, да еще объявление на посылку.

— Дай сюда,— и Бельтов бросил брошюру.— «От кого б это было,— думал он,— не понимаю; из Женевы... разве... нет — скорее... нет...»

Конечно, легче было бы распечатать письмо и на конце четвертой странички прочитать, от кого оно, нежели отгадывать. Без сомнения. Отчего же все делают подобные гадания над письмом? Это — тайна сердца человеческого, основанная, впрочем, на том, что лестно человеку признать себя догадливым и проницательным.

Наконец Бельтов снял пакет и стал читать письмо; с каждой строчкой его лицо делалось бледнее, и слезы навернулись на глазах его.

Письмо это было от племянника m-r Жозеф; он извещал Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благородного существа, так, как текла, тихо и ясно, так и потухла. Он был много лет главным учителем в сельской школе, недалеко от Женевы. Дни два ему нездоровилось, на третий казалось лучше; едва переставляя ноги, он отправился в учебную залу; там

он упал в обморок, его перенесли домой, пустили ему кровь, он пришел в себя, был в полной памяти, простился с детьми, которые молча стояли, испуганные и растерянные, около его кровати, звал их гулять и прыгать на его могилу, потом спросил портрет Вольдемара, долго с любовью смотрел на него и сказал племяннику: «Какой бы человек мог из него выйти... да, видно, старик дядя лучше знал... Отошли этот портрет к Вольдемару после... адрес у меня в портфельке, в старом, на котором портрет Вашингтона... жаль Вольдемара... очень жаль...»

«Тут,— писал племянник,— больной начал бредить, лицо его приняло задумчивое выражение последних минут жизни; он велел себя приподнять и, открывши светлые глаза, хотел что-то сказать детям, но язык не повиновался. Он улыбнуся им, и седая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на нашем сельском кладбище между органистом и кистером».

Бельтов прочитал письмо, положил его на стол, отер слезу, прошелся по комнате, постоял у окна, снова взял письмо, прочел его от доски до доски. «Удивительный человек! Удивительный человек!— бормотал он сквозь зубы.— Пресчастливый человек, умел довольствоваться, умел трудиться, был полезным на всяком месте, куда судьба его ни бросала... Теперь на всем земном шаре у меня мать и более никого... никого... Хоть изредка дойдет, бывало, весть о старике, и хорошо, ну, просто я бывал доволен сознанием, что он существует. И его нет! Фу, как тяжело все это. Право, если б вперед говорили условия, мало нашлось бы дураков, которые решились бы жить».

— Суп простынет, Владимир Петрович,— доложил камердинер, с участием видевший, что содержание письма было не из приятных.

— Григорий,— спросил Бельтов,— помнишь учителя, который жил у нас?

— Как не помнить-с швейцарца-то-с.

— Он скончался,— сказал Бельтов и отвернулся от Григорья, чтоб скрыть волнение.

— Царство ему небесное!— прибавил Григорий.— Добрый был человек и с нашим братом прост; мы вот недавно говорили с Максим Федоровым, что у маменьки служит в буфетчиках, то есть о вас. Признаться доложить, Максим Федорович не надивится на вас; я,

по вашей милости, насмотрелся на разные нации и на тамошние порядки, ну, а он больше все в губернии проживал, ему и удивительно. «Конечно, говорит, добрая душа у них, врожденная, барынина. Ну и то есть и от учителя было чему заняться; бывало, я помню, перед деревенским мальчишкой, который поклонится, приказывает Владимиру Петровичу картузик снять; такой же де образ и подобие божие есть».

Бельтов промолчал и грустно принялся за суп.

Весть о смерти Жозефа естественным образом вызвала в памяти Бельтова всю его юность, а за нею и всю жизнь. Он вспомнил поучения Жозефа, как жадно внимал он им, как верил и как все оказалось в жизни совсем не так, как в словах Жозефа, — и... странное дело! — все говоренное им было прекрасно, истинно, истинно направо и налево и совершенно ложно для него, Бельтова. Он сравнивал себя тогдашнего и себя настоящего; ничего не было общего, кроме нити воспоминаний, связывавших эти два разные лица. Тот — полный упований, с религией самоотвержения, с готовностию на тяжкие подвиги, на безвозмездные труды, и *этот,* уступивший внешним обстоятельствам, без надежд, ищущий чего-нибудь для развлечения. Когда Григорий принес портрет с почты, Бельтов разрезал поскорее клеенку и с большим нетерпением вынул его... Он переменился в лице, взглянув на черты, бывшие некогда его чертами, он чуть не отвернулся от них. Тут было представлено все, что бродило у него в голове. Как свежо, светло было отроческое лицо это,— шея раскрыта, воротник от рубашки лежал на плечах, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробегала по устам и взору,— той неопределенной задумчивости, которая предупреждает будущую мощную мысль; «как много выйдет из этого юноши»,— сказал бы каждый теоретик, так говорил мсье Жозеф,— а из него вышел праздный турист, который, как за последний якорь, схватился за место по дворянским выборам в NN. «Тогда, — думал Бельтов, глядя с упреком на портрет, — тогда мне было четырнадцать лет, теперь мне за тридцать — и что впереди? Одна серая мгла, скучное, однообразное продолжение впредь; начать новую жизнь поздно, продолжать старую невозможно. Сколько начинаний, сколько встреч... и все окончилось праздностью и одиночеством...»

Нить горьких мыслей прервал Семен Иванович; они продолжались в форме разговора.

— Что состояние здоровья, Владимир Петрович?

— А! Здравствуйте, Семен Иванович; очень рад вас видеть; такая тоска, такая скука, что мочи нет. Я, право, нездоров; во мне что-то вроде лихорадки, очень небольшой, но беспрерывно поддерживающей меня в каком-то напряженном состоянии.

— Вы ведете неправильный образ жизни,— возразил Крупов, заворачивая длинный рукав на сюртуке, чтоб основательно пощупать пульс. — Пульс нехорош. Вы живете вдвое скорее, чем надобно, не жалеете ни колес, ни смазки — долго так ехать нельзя.

— Я сам чувствую, что морально и физически разрушаюсь.

— Раненько. Нынешнее поколение быстро живет; надобно бы вам, впрочем, серьезно позаняться здоровьем, взять свои меры.

— Какие тут меры?

— Очень много. Ложитесь вовремя спать, вставайте раньше, меньше чтения, меньше думать, больше гулять, разгоняйте печальные мысли, вина пить немного, крепкий кофе совсем бросить.

— Вам кажется все это легко, особенно разгонять мысли... И надолго ли вы меня обрекаете такой диете?

— На всю жизнь.

— Покорнейший слуга, это и скучно, и противно, да и хлопотать не из чего.

— Как не из чего? Мне кажется, что стоит принесть кой-какую жертву для того, чтоб достигнуть глубокой старости, для того, чтоб долее прожить.

— Ну, а для чего же долго жить?

— Странный вопрос! Ну, да как для чего, я не знаю, для чего; ну, жить, все же лучше жить, нежели умереть; всякое животное имеет любовь к жизни.

— Если ж найдется такое, которое не имеет? — заметил, горько улыбаясь, Бельтов.— Байрон очень справедливо сказал, что порядочному человеку нельзя жить больше тридцати пяти лет. Да и зачем долгая жизнь? Это, должно быть, очень скучно.

— Вы всё из проклятых немецких философов начитались таких софизмов.

— В этом случае позвольте мне защитить немцев; я человек русский и жизнию обучился думать, а не

думою жил. Благо мы дошли с вами до этого вопроса; скажите добросовестно, подумавши, что будет пользы, если я проживу не десять, а пятьдесят лет, кому нужна моя жизнь, кроме моей матери, которая сама очень ненадежна? По слабости ли сил, по недостатку ли характера, но дело в том, что я — бесполезный человек, и, убедившись в этом, я полагаю, что я один хозяин над моей жизнию; я еще не настолько разлюбил жизнь, чтоб застрелиться, и уж не люблю ее настолько, чтоб жить на диете, водить себя на помочах, устранять сильные ощущения и вкусные блюда для того, чтоб продлить на долгое время эту жизнь больничного пациента.

— Вы предпочитаете хроническое самоубийство, — возразил Крупов, начинавший уже сердиться, — понимаю, вам жизнь надоела от праздности, — ничего не делать, должно быть, очень скучно; вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенное занятие да отними она у вас Белое Поле, вы бы стали работать, положим, для себя, из хлеба, а польза-то вышла бы для других; так-то все на свете и делается.

— Помилуйте, Семен Иванович, неужели вы думаете, что, кроме голода, нет довольно сильного побуждения на труд? Да просто желание обнаружиться, высказаться заставит трудиться. Я из одного хлеба, напротив, не стал бы работать,— работать целую жизнь, чтоб не умереть с голоду, и не умирать с голоду, чтоб работать,—умное и полезное препровождение времени!

— Что же вы, с вашей сытостью и желанием высказаться, много наделали? — спросил совсем уже рассерженный старик.

— Тут-то и запятая. Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомительную для меня. Ученым специалистом я не родился, так, как не родился музыкантом; а остальные дороги, кажется, для меня не родились...

— То есть вы себя этим утешаете; земля вам коротка, мало места; воли-то твердой нет, настойчивости нет, gutta cavat...

— Lapidem[1], — окончил Бельтов. — Вы человек положительный, а туда же толкуете о воле.

---

[1] капля точит... камень (*лат.*).

— Красно-то вы говорите, красно, — заметил Крупов, — а все мне сдается, что хороший работник без работы не останется.

— Да что же вы думаете, эти лионские работники, которые умирают голодной смертью с готовностью трудиться, за недостатком работы не умеют ничего делать или из ума шутят? Ох, Семен Иванович! Не торопитесь осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствие и конский щавель: первое невозможно, а второе не может помочь. Мало болезней хуже сознания бесполезных сил. Какая тут диета! Вспомните Наполеонов ответ доктору Антомарки: «Это не рак, взошедший внутрь, а Ватерлоо, взошедшее внутрь». У каждого есть свое Waterloo rentré![1] Пойдемте-ка, Семен Иванович, к Круциферским, у них я раза два вылечивался от хандры; подобные средства помогают лучше всех декоктов.

— Вот и жди от вас спасиба да признания! А кто вам прописал их дом?

— Виноват, виноват, забыл! О, вы величайший из сынов Гиппократа, Семен Иванович! — отвечал Бельтов, накладывая сигары и добродушно улыбаясь доктору.

Да что же наконец, — спросим мы вместе с Марьей Степановной, — что влекло Бельтова в скромный дом учителя? Нашел ли он друга в нем, человека симпатичного, или, в самом деле, не влюблен ли он в его жену? Ему самому отвечать на эти вопросы, при всем желании сказать истину, было бы очень трудно. Его многое сблизило с этим домом. Выборы кончились с своими обедами и балами. Бельтова, как разумеется, ни во что не избрали, и он оставался в NN только для окончания какого-то процесса в гражданской палате. Предоставляем вам оценить всю величину скуки для этого человека в NN, если б он не был знаком с Круциферскими. Тихая, безмятежная жизнь Круциферских представляла нечто новое и привлекательное для Бельтова; он провел всю жизнь в общих вопросах, в науке и теории, в чужих городах, где так трудно сближаться с домашнею жизнию, и в Петербурге, где ее немного. Он домашнее довольство считал вымыслом или достоянием людей пошлых и мелких. Круциферские не были

[1] внутреннее Ватерлоо (*фр.*).

таковы. Характер Круциферского определить трудно: натура нежная и любящая до высшей степени, натура женская и поддающаяся, он имел столько простосердечия и столько чистоты, что его нельзя было не полюбить, хотя чистота его и сбивалась на неопытность, на неведение ребенка. Трудно было бы сыскать человека, более не знающего практическую жизнь; он все, что знал, знал из книги, и оттого знал неверно, романтически, риторически; он свято верил в действительность мира, воспетого Жуковским, и в идеалы, витающие над землей. Из затворничества студентской жизни, в продолжение которой он выходил в мир страстей и столкновений только в райке московского театра, он вышел в жизнь тихо, в серенький осенний день; его встретила жизнь подавляющей нуждой, все казалось ему неприязненным, чуждым, и молодой кандидат приучался более и более находить всю отраду и все успокоение в мире мечтаний, в который он убегал от людей и от обстоятельств. Та же внешняя нужда загнала его в дом Негрова; эта встреча с действительностию еще более сосредоточила его. Кроткий от природы, он и не думал вступить в борьбу с действительностию, он отступал от ее напора, он просил только оставить его в покое; но явилась любовь, так, как она является в этих организациях: не бешено, не безумно, но на веки веков, но с таким отданием себя, что уж в груди не остается ничего неотданного. Нервная раздражительность поддерживала его беспрерывно в каком-то восторженно меланхолическом состоянии; он всегда готов был плакать, грустить — он любил в тихие вечера долго-долго смотреть на небо, и кто знает, какие видения чудились ему в этой тишине; он часто жал руку своей жене и смотрел на нее с невыразимым восторгом; но к этому восторгу примешивалась такая глубокая грусть, что Любовь Александровна сама не могла удержаться от слез. Во всех его действиях была та же кротость, что и на лице, то же спокойствие, та же искренность и та же робкая задумчивость. Нужно ли говорить, как такой человек должен был любить свою жену? Любовь его росла беспрерывно, тем более что ничто не развлекало его; он не мог двух часов провести, не видавши темно-голубых глаз своей жены, он трепетал, когда она выходила со двора и не возвращалась в назначенный час; словом, ясно было видно, что все корни его бытия

были в ней. К этому много способствовал мир, в который он попал.

Учители NN-ской гимназии были, как это бывало в старину в наших школах, люди большею частию обленившиеся, огрубевшие в провинциальной жизни, отданные тяжелым материальным привычкам и усыпившие всякое желание знать что-нибудь. Не думаем, чтоб Круциферский имел призвание вести далее науку, отдаться ее вопросам вполне и сделать из них свои жизненные вопросы, но он им сочувствовал, ему было многое доступно... кроме средств. Самому выписывать книги нечего было и думать, гимназия приобретала, но не такие, которые могли бы поддержать интерес в молодом ученом. Провинциальная жизнь вообще гибельна для тех, которые хотят сохранить не одно недвижимое имение, и для тех, которые не хотят делать неудободвижимым свое тело; при совершенном отсутствии всякого теоретического интереса кто не заснет если не сладким, то долгим сном в этой обители душевной дремоты?.. Человеку необходимы внешние раздражения; ему нужна газета, которая бы всякий день приводила его в соприкосновение со всем миром, ему нужен журнал, который бы передавал каждое движение современной мысли, ему нужна беседа, нужен театр, — разумеется, от всего этого можно отвыкнуть, покажется, будто все это и не нужно, потом сделается в самом деле совершенно не нужно, то есть в то время, как сам этот человек уже сделался совершенно не нужен. Круциферский далеко не принадлежал к тем сильным и настойчивым людям, которые создают около себя то, чего нет; отсутствие всякого человеческого интереса около него действовало на него более отрицательно, нежели положительно, между прочим, потому, что это было в лучшую эпоху его жизни, то есть тотчас после брака. А потом он привык, остался при своих мечтах, при нескольких широких мыслях, которым уж прошло несколько лет, при общей любви к науке, при вопросах, давно решенных. Удовлетворения более действительным потребностям души он искал в любви, и в сильной натуре своей жены он находил все. Споры с Круповым, продолжавшиеся года четыре, получили тот же характер провинциальной стоячести: они в эти годы переговаривали ежедневно одно и то же. Круциферский являлся на защиту спиритуализма, и старик Крупов грубо

и с негодованием бил его своим медицинским материализмом. Этим-то тихим руслом журчала жизнь наших приятелей, когда вдруг взошло в нее лицо совсем иного закала, лицо чрезвычайно деятельное внутри, раскрытое всем современным вопросам, энциклопедическое, одаренное смелым и резким мышлением. Круциферский невольно покорился энергической сущности нового приятеля; зато Бельтов, с своей стороны, далеко не остался изъят от влияния жены Круциферского. Сильной натуре, не занятой ничем особенно, почти невозможно обороniться от влияния энергической женщины; надобно быть или очень ограниченным, или очень ячным, или совершенно бесхарактерным, чтоб тупо отстоять свою независимость перед нравственной властью, являющейся в прекрасном образе юной женщины, — правда, что, пылкий от природы, увлекающийся от непривычки к самообузданию, Бельтов давал легкий приз над собою всякой кокетке, всякому хорошенькому лицу. Он много раз был до безумия влюблен то в какую-нибудь примадонну, то в танцовщицу, то в двусмысленную красавицу, уединившуюся у минеральных вод, то в какую-нибудь краснощекую и белокурую немку с притязанием на мечтательность, готовую всегда любить по Шиллеру и поклясться при пении соловья в вечной любви здесь и *там*, — то в огненную француженку, верную наслажденью и разгулу без лицеприятия... но такого влияния Бельтов не испытывал.

С начала знакомства Бельтов вздумал пококетничать с Круциферской; он приобрел на это богатые средства, его трудно было запугать аристократической обстановкой или ложной строгостью; уверенный в себе, потому что имел дело с очень не трудными красотами, ловкий и опасно дерзкий на язык, он имел все, чтоб оглушить совесть провинциалки, но догадливый Бельтов тотчас оставил пошлое ухаживание, поняв, что на такого зверя тенеты слишком слабы. Женщина, явившаяся перед ним в этой глуши, была так проста, так наивно естественна и так полна силы и ума, что у Бельтова прошла очень скоро охота интриговать ее. Трудно было на нее сделать нападение, потому что она вовсе не оборонялась, не становилась en garde[1]; другое отношение, более человечественное, быстро сблизило Круци-

[1] настороже (*фр.*).

ферскую с Бельтовым. Круциферская поняла его грусть, поняла ту острую закваску, которая бродила в нем и мучила его, она поняла и шире и лучше в тысячу раз, нежели Крупов, например,—поняв, она не могла более смотреть на него без участия, без симпатии, а глядя на него так, она его более и более узнавала, с каждым днем раскрывались для нее новые и новые стороны этого человека, обреченного уморить в себе страшное богатство сил и страшную ширь понимания. Бельтов тотчас оценил разницу добросовестно-нравоучительного участия Крупова, романтического сочувствия, готового разделить слезу, Дмитрия Яковлевича, с тем верным тактом, который он видел в Круциферской. Много раз, когда они четверо сидели в комнате, Бельтову случалось говорить внутреннейшие убеждения свои; он их, по привычке утаивать, по склонности, почти всегда приправлял иронией или бросал их вскользь; его слушатели по большей части не отзывались, но когда он бросал тоскливый взгляд на Круциферскую, легкая улыбка пробегала у него по лицу, — он видел, что понят; они незаметно становились, — досадно сравнить, а нечего делать, — в то положение, в котором находились некогда Любонька и Дмитрий Яковлевич в семье Негрова, где прежде, нежели они друг другу успели сказать два слова, понимали, что понимают друг друга. Этого рода симпатий нечего ни развивать, ни подавлять; они просто выражают факт братственного развития в двух лицах, где бы и как бы ни встретились эти лица; если они узнают друг друга, если они поймут родство свое, то каждый пожертвует, если обстоятельства потребуют, всеми низшими степенями родства в пользу высшего.

— Отгадайте, кто это? — сказал Бельтов, подавая портрет свой Любови Александровне.

— Да это вы! — почти вскрикнула Любовь Александровна и вся вспыхнула в лице. — Ваши глаза, ваш лоб... Как вы были хороши юношей! Какое беззаботное и смелое лицо...

— Много надобно храбрости, чтоб решиться самому для сличения принести женщине свой портрет, деланный более нежели за пятнадцать лет, но мне смертельно хотелось его показать вам, чтоб вы сами увидели,

Таков ли был я, расцветая?

Я, право, удивляюсь, как вы узнали: ни одной черты не осталось.

— Узнать можно, — отвечала Круциферская, не сводя глаз с портрета. — Как это вы его давно не принесли!

— Я сегодня только получил его; мой добрый Жозеф умер с месяц тому назад; его племянник прислал мне этот портрет с письмом.

— Ах, бедный Жозеф! Я считаю его в числе близких знакомых, по вашим рассказам.

— Старик умер среди кротких занятий своих, и вы, которые не знали его в глаза, и толпа детей, которых он учил, и я с матерью — помянем его с любовью и горестью. Смерть его многим будет тяжелый удар. В этом отношении я счастливее его: умри я, после кончины моей матери, и я уверен, что никому не доставлю горькой минуты, потому что до меня нет никому дела.

Говоря это очень искренно, Бельтов немного и пококетничал: ему хотелось вызвать Любовь Александровну на какой-нибудь теплый ответ.

— Вы этого не думаете сами, — отвечала Круциферская, пристально взглянув на Бельтова; он опустил глаза.

— Ну, вот уже после смерти мне совершенно все равно, кто будет плакать и кто хохотать, — заметил Крупов.

— Я с вами не согласен, — присовокупил Круциферский, — я очень понимаю весь ужас смерти, когда не только у постели, но и в целом свете нет любящего человека, и чужая рука холодно бросит горсть земли и спокойно положит лопату, чтоб взять шляпу и идти домой. Любонька, когда я умру, приходи почаще ко мне на могилу, мне будет легко...

— Да, очень легко, это правда, — с досадой ввернул Крупов. — так что и на химических весах не свешаешь...

— И будто у вас нет других друзей, кроме Жозефа? — спросила Круциферская, — может ли это быть?

— Было множество, самых пламенных, самых преданных, мало ли что было! У меня лицо было вот какое, а теперь совсем другое. Да, впрочем, друзей не нужно: дружба — милая, юношеская болезнь; беда тому, кто не умеет сам себя довлеть.

— Однако же Жозеф, сколько я знаю, остался до конца жизни близок с вами.

— Потому что мы жили далеко друг от друга; мы с ним были дружны, потому что раз виделись в пятнадцать лет. И при этом мелькнувшем свидании я заслонил воспоминаниями замеченную мною разность нашу.

— Так вы видели его после того, как он отправился в Швецию?

— Один раз.

— Где?

— В местах, где он кончил жизнь.

— И давно?

— С год тому назад.

— Вот, вместо ваших мрачных слов, лучше расскажите нам ваше свидание с стариком.

— С большим удовольствием; мне хочется им заниматься, мне весело говорить об нем. Дело было вот как.

В начале прошлого года я приехал из южной Франции в Женеву. Зачем? Трудно объяснить. Мне не хотелось ехать в Париж, потому что я там ничего не успевал делать и потому что я там постоянно страдал завистью: все кругом заняты, хлопочут из дела, из вздора, а я читаю в кофейных газеты и хожу благосклонным, но посторонним зрителем. В Женеве я прежде не был; город тихий, в стороне, а потому я и избрал ее зимней квартирой; я собирался там заняться политической экономией и на досуге обдумать, что делать на будущее лето и куда ехать. Само собою разумеется, что на другой или на третий день я уже справлялся у лонлакеев, у банкиров, везде, не знает ли, не слыхал ли кто о господине Жозефе. Никто не имел о нем понятия; один старик часовщик говорил, что он, точно, знал Жозефа, который учился с ним вместе и ушел в Петербург, но что после этого он не видал его.

Раздосадованный, я бросил мои поиски; занятья не клеились, дело было ранней весною, погода стояла ясная и прохладная; скитальческая жизнь моя оставила во мне страсть к бродяжничеству: я решился сделать несколько маленьких путешествий пешком по окрестностям Женевы. Дорога имеет на меня страшное влияние: я оживаю на дороге, особенно пешком или верхом. Экипаж стучит, развлекает, присутствие возчика раз-

рушает одиночество; но один, верхом или с палкой в руке, идешь, идешь; дорога ниткой вьется перед глазами, куда-то пропадая, и никого вокруг, кроме деревьев, да ручья, да птицы, которая спорхнет и пересядет... удивительно хорошо! Иду я раз таким образом в нескольких милях от Женевы, долго шел я один... вдруг с боковой дороги вышли на большую человек двадцать крестьян; у них был чрезвычайно жаркий разговор, с сильной мимикой; они так близко шли от меня и так мало обращали внимания на постороннего, что я мог очень хорошо слышать их разговор: дело шло о каких-то кантональных выборах; крестьяне разделились на две партии, — завтра надобно было подать окончательные голоса; видно было, что вопрос, их занимавший, поглощал их совершенно: они махали руками, бросали вверх шапки. Я сел под дерево, ватага избирателей прошла, и долго еще доносились до меня отрывки демагогических речей и консерваторских возражений. Меня всегда терзает зависть, когда я вижу людей, занятых чем-нибудь, имеющих дело, которое их поглощает... а потому я уже был совершенно не в духе, когда появился на дороге новый товарищ, стройный юноша, в толстой блузе, в серой шляпе с огромными полями, с котомкой за плечами и с трубкой в зубах; он сел под тень того же дерева; садясь, он дотронулся до края шляпы; когда я ему откланялся, он снял свою шляпу совсем и стал обтирать пот с лица и с прекрасных каштановых волос. Я улыбнулся, поняв осторожность моего соседа: он потому не снял прежде шляпы, чтоб я не подумал, что это для меня. Посидевши, молодой человек обратился ко мне и спросил:

— Куда идет ваша дорога?

— Мне труднее отвечать вам, нежели вы думаете; я просто иду куда глаза глядят.

— Вы, верно, иностранец?

— Я русский.

— У! Из какой дали... чай, у вас теперь страшные морозы?..

Известное дело, что ни один иностранец не может говорить о России, не упомянув о морозе и о скорой почтовой езде, несмотря на то что пора было убедиться, что ни особенно страшных морозов нет, ни сказочной езды.

— Да, теперь в Петербурге зима.

— А как вам нравится наш климат? — спросил швейцарец с гордостью.

— Хорош,— отвечал я.— Вы здешний уроженец?

— Да, я родился недалеко отсюда и иду теперь из Женевы на выборы в нашем местечке; я еще не имею права подать голос в собрании, но зато у меня остается другой голос, который не пойдет в счет, но который, может быть, найдет слушателей. Если вам все равно, пойдемте со мной; дом моей матери к вашим услугам, с сыром и вином; а завтра посмотрите, как наша сторона одержит верх над стариками.

«Ого, да это радикал!» — подумал я, снова окинув глазами моего соседа.

— Пойдемте к вам,—сказал я ему, подавая руку,— мне все равно.

— Вам, чай, любопытно посмотреть на выборы: ведь у вас дома выборов нет?

— Кто это вам сказал? — отвечал я. — У вас в школе, верно, был прескверный учитель географии; очень много, напротив: и дворянские, и купеческие, и мещанские, и сельские, даже в помещичьих деревнях начальник называется выборным.

Юноша покраснел.

— Я учился географии давно,— сказал он,— и не очень долго. А учитель наш, несмотря на все уважение, которое имею к вам, отличнейший человек; он сам был в России, и, если хотите, я познакомлю вас с ним; он такой философ, мог бы быть бог знает чем и не хочет, а хочет быть нашим учителем.

— Очень благодарен, — отвечал я, не имея ни малейшего желания видеться с каким-нибудь полевым педантом.

— А он, точно, был в вашей стороне.

— Где же?

— В Петербурге и в Москве.

— А как его фамилия?

— Мы его зовем père Joseph[1].

— Père Joseph! — повторил я, не веря ушам своим.

— Ну, да что ж тут удивительного? — возразил мой товарищ.

Довольно сказать, после двух-трех вопросов я совершенно убедился, что père Joseph — именно мой Жозеф.

---

[1] дядюшка Жозеф (*фр.*).

Мы удвоили шаги. Молодой человек не мог довольно нарадоваться, что доставил мне такое неожиданное удовольствие, и еще более тому, что он доставит его и Жозефу, которого любил и уважал безмерно. Я расспрашивал его об образе жизни старика и из всех подробностей увидел, что он остался тот же, простой, благородный, восторженный, юный; я понял из рассказа, что я обогнал Жозефа в совершеннолетии, что я старее его. Прошло пять лет с тех пор, как он принял на себя должность старшего учителя и заведывателя школы; он делал втрое больше, нежели требовали его обязанности, имел небольшую библиотеку, открытую для всего селения, имел сад, в котором копался в свободное время с детьми. Когда мы остановились перед чистеньким домиком школьного учителя, ярко освещенным заходящими лучами солнца и удвоенным отражением высокой горы, к которой домик прислонялся, — я послал вперед моего товарища, чтоб не слишком взволновать старика нечаянностию, и велел сказать, что один русский желает его видеть. Père Joseph был в саду и отдыхал на скамеечке, опираясь на заступ. Он встрепенулся при слове «Россия» и поспешными шагами шел мне навстречу; я бросился в его объятия. Первое, что поразило меня,— это оскорбительная сила разрушения, лежащая во времени,— десяти лет не прошло с тех пор, как я его не видал, — и какая перемена! Он потерял почти все волосы, лицо его осунулось, походка не была так тверда, и он уже ходил сгорбившись, одни глаза были так же юны, как и в прежнее время. Не могу вам выразить радости, с которой он встретил меня: старик плакал, смеялся, делал наскоро бездну вопросов, — спрашивал, жива ли моя ньюфаундлендская собака, вспоминал шалости; привел меня, говоря, в беседку, усадил отдыхать и отправил Шарля, то есть моего спутника, принести из погреба кружку лучшего вина. Признаюсь, что я вряд когдалибо пил с таким наслаждением отличнейшее клико, с каким я поглощал стакан за стаканом кисленькое винцо Жозефа. Я был одушевлен, юн, счастлив; но старик вскоре окончил мое превосходное расположение духа вопросом:

— Что же ты делал все это время, Вольдемар?

Я рассказал ему всю историю моих неудач и заключил тем, что, конечно, жизнь моя могла бы лучше разы-

граться, но я не раскаиваюсь; если я потерял юношеские верования, зато приобрел взгляд трезвый, может, безотрадный, грустный, но зато истинный.

— Вольдемар, — возразил старик, — бойся предаваться слишком трезвому взгляду, — как бы он не охладил твоего сердца, не потушил бы в нем любви! Многого я не предвидел в твоей жизни; тяжко тебе было, но не должно же тотчас класть оружие; достоинство жизни человеческой в борьбе... награду надобно выстрадать.

Я уж тогда смотрел попроще на дела житейские, однако слова старика сильно подействовали на меня.

— Скажите-ка, père Joseph, лучше что-нибудь о себе, как вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, побоку ее. Я точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, переводил вам, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» Но жив человек не откликался... мое несчастье!.. А один в поле не ратник... Я и ушел с поля и пришел к вам в гости.

— Рано, рано сдался,— заметил старик, качая головой.— Что я могу рассказывать о себе? Моя жизнь идет тихонько. Оставивши ваш дом, я жил в Швеции, потом уехал с одним англичанином в Лондон, года два учил его детей; но мой образ мыслей так расходился с мнениями почтенного лорда, что я оставил его. Мне захотелось домой, и я прямо оттуда приехал в Женеву; в Женеве я не нашел никого, кроме мальчика, сестрина сына. Думал, думал, что начать под конец жизни, — а тут открылось место учителя в здешней школе, я принял его и чрезвычайно доволен моими занятиями. Нельзя, да и не нужно всем выступать на первый план: делай каждый свое в своем кругу, — дело везде найдется, а после работы спокойно заснешь, когда придет время последнего отдыха. Наша жажда видных и громких общественных положений показывает великое несовершеннолетие наше, отчасти неуважение к самому себе, которые приводят человека в зависимость от внешней обстановки. Поверь, Вольдемар, что это так.

В этом тоне разговор наш продолжался с час.

Тронутый свиданьем, я был чрезвычайно восприимчив, чрезвычайно хорошо настроен; мне были доступны все юные, полузабытые мечты. Я смотрел на лицо Жозефа, совершенно спокойное, безмятежное, и мне стало тяжело за себя, меня давило мое совершеннолетие, и

как он был хорош! Старость имеет свою красоту, разливающую не страсти, не порывы, но умиряющую, успокаивающую; остатки седых волос его колыхались от вечернего ветра; глаза, одушевленные встречею, горели кротко; юно, счастиво я смотрел на него и вспомнил католических монахов первых веков, так, как их представляли маэстры итальянской школы. И те были юны, думал я, с сединами своими, и он юн, а я стар; зачем же я узнал так много, чего они не знали? Жозеф взял меня за руку, вставая, чтоб идти в комнату, и с глубокой любовью повторил: «Пора домой, Вольдемар, пора домой!» Я остался у него ночевать. Всю ночь меня мучили тысячи проектов и планов. Пример Жозефа был слишком силен: он, без средств, старик, создал себе деятельность, он был покоен в ней, — а я, par dépit[1], оставил отечество, шляюсь чужим, ненужным по разным странам и ничего не делаю... На другое утро я объявил старику, что отправляюсь прямо в NN служить по выборам. Старик расплакался и, положивши руку свою мне на голову, сказал: «Ступай, друг мой, ступай. Ты увидишь — человек, прямо и благородно идущий на дело, много сделает, и, — прибавил старик дрожащим голосом,—да будет спокойствие на душе твоей». Мы расстались; я отправился в NN, а он на тот свет. Вот и все. Это было последнее юношеское увлечение; с тех пор я покончил мое воспитание.

Любовь Александровна смотрела на него с глубоким участием; в его глазах, на его лице действительно выражалась тягостная печаль; грусть его особенно поражала, потому что она не была в его характере, как, например, в характере Круциферского; внимательный человек понимал, что внешнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту светлую натуру, насильственно втеснили ей мрачные элементы и что они разъедают ее по несродности.

— Зачем вы приехали сюда? — спросила тихим голосом Круциферская.

— Благодарю вас, душевно благодарю за этот вопрос, — ответил Бельтов.

— Конечно, странно, — заметил Дмитрий Яковлевич, — просто непонятно, зачем людям даются такие силы и стремления, которых некуда употребить. Вся-

[1] с досады (*фр.*).

кий зверь ловко приспособлен природой к известной форме жизни. А человек... не ошибка ли тут какая-нибудь? Просто сердцу и уму противно согласиться в возможности того, чтоб прекрасные силы и стремления давались людям для того, чтоб они разъедали их собственную грудь. На что же это?

— Вы совершенно правы, — с жаром возразил Бельтов, — и с этой точки вы не выпутаетесь из вопроса. Дело в том, что силы сами по себе беспрерывно развиваются, подготовляются, а потребности на них определяются историей. Вы, верно, знаете, что в Москве всякое утро выходит толпа работников, поденщиков и наемных людей на вольное место; одних берут, и они идут работать, другие, долго ждавши, с понурыми головами плетутся домой, а всего чаще в кабак; точно так и во всех делах человеческих; кандидатов на все довольно — занадобится истории, она берет их; нет — их дело, как промаячить жизнь. Оттого-то это забавное à propos всех деятелей. Занадобились Франции полководцы—и пошли Дюмурье, Гош, Наполеон со своими маршалами... конца нет; пришли времена мирные — и о военных способностях ни слуху ни духу.

— Но что же делается с остальными? — спросила грустным голосом Любовь Александровна.

— Как случится; часть их потухает и делается толпой, часть идет населять далекие страны, галеры, доставлять практику палачам; разумеется, это не вдруг, — спачала они делаются трактирными удальцами, игроками, потом, смотря по призванию, туристами по большим дорогам или по маленьким переулкам. Случится по дороге услышать клич — декорации переменяются: разбойника нет, а есть Ермак, покоритель Сибири. Всего реже выходят из них тихие, добрые люди; их беспокоят у домашнего очага едкие мысли. Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него нет выхода, когда жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу, в сердце и надобно сидеть сложа руки... а мышцы так здоровы, а крови в жилах такая бездна... Одно может спасти тогда человека и поглотить его... это встреча... встреча с...

Он не договорил.

Любовь Александровна вздрогнула.

— Экая беспорядочная голова!—заметил Крупов.—

Чего он тут не наговорил; хаос, истинно хаос! Ну, нечего сказать, славный кандидат в заседатели или в уездные судьи!

Все улыбнулись.

V

Между прочими достопримечательностями города NN особенного внимания заслуживает публичный сад. В богатой природе средней полосы нашего отечества публичные сады совершенная роскошь; от этого ими никто не пользуется, то есть в будни, а что касается до воскресных и праздничных дней, то вы можете встретить весь город от шести часов вечера до девяти в саду; но в это время публика сбирается не для саду, а друг для друга. Если начальник губернии в хороших отношениях с полковым командиром, то в эти дни являются трубы или большой барабан с товарищами, смотря по тому, какое войско стоит в губернии; и увертюра из «Лодоиски» и «Калифа Багдадского» вместе с французскими кадрилями, напоминающими незапамятные времена греческого освобождения и «Московского телеграфа», увеселяют слух купчих, одетых по-летнему — в атлас и бархат; и тех провинциальных барынь, за которыми никто не ухаживает, каких, впрочем, моложе сорока лет почти не бывает. В будни, как мы сказали, сады бывают пусты; разве какой-нибудь заезжий в отчаянье, что нет лошадей, в отчаянье, что и *этот* город похож на все остальные, отправится в сад в надежде найти хоть какой-нибудь посредственный вид. Давно замечено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна к тому, что делают люди на ее спине, не плачет над стихами и не хохочет над прозой, а делает свое дело по крайнему разумению. Природа точно так поступила и в NN и вовсе не смотрела на то, что по саду никто не гулял; а кто и гулял, тот обращал внимание не на деревья, а на превосходную беседку в китайско-греческом вкусе; действительно, беседка была прекрасна в своем роде; начальница губернии весьма удачно ее назвала — Монрепо[1]. Она была особенно успокоительна тем, что вы-

[1] Мой отдых (от *фр.* mon repos).

резанная из жести пряничная лошадка, состоявшая в должности дракона и посаженная на шпице, беспрестанно вертелась, издавая какой-то жалобный вопль, располагавший к мечтам и подтверждавший, что ветер, который снес на левую сторону шляпу, действительно дует с правой стороны; сверх дракона, между колоннами были приделаны нечесаные и пресердитые львиные головы из алебастра, растрескавшиеся от дождя и всегда готовые уронить на череп входящему свое ухо или свой нос. Несмотря на этот плач дракона и на эту опасность погибнуть от львов, как в Даниловой пещере, равнодушная природа превосходно разрослась, особенно по боковым аллеям, и это не от скромности, а оттого, что прежний губернатор велел подрезать на большой аллее старые липы; ему казалось несовместным с буквальным исполнением обязанности такое своеволие липовых сучьев. Лишенные верхушек своих, липы, с торчащими к небу ветвями, сбивались на колодников, которым обрили полголовы в предупреждение побега, и, казалось, титановски повторяли стих Озерова:

Есть боги, — а земля злодеям предана.

Но зато по маленьким дорожкам деревьям была воля вольная расти сколько душе угодно или сколько соку хватит. На одной-то из них, в теплый апрельский день, пришедший, вероятно, для того в NN, чтоб жители потом попяли весь холод мая, следующего за ним, какая-то дама в белом бурнусе прогуливалась с кавалером в черном пальто. Сад был разбит по горе; на самом высоком месте стояли две лавочки, обыкновенно иллюстрированные довольно отчетливыми политипажами неизвестной работы; частный пристав, сколько ни старался, не мог никак поймать виновников и самоотверженно посылал перед всяким праздником пожарного солдата (как привычного к разрушениям) уничтожать художественные произведения, периодически высыпавшие на скамейке. Дама и кавалер сели на нес. Вид был недурен. Большая (и с большою грязью) дорога шла каймою около сада и впадала в реку; река была в разливе; на обоих берегах стояли телеги, повозки, тарантасы, отложенные лошади, бабы с узелками, солдаты и мещане; два дощаника ходили беспрерывно взад и вперед; битком набитые людьми, лошадьми и экипа-

жами, они медленно двигались на веслах, похожие на каких-то ископаемых многоножных раков, последовательно поднимавших и опускавших свои ноги; разнообразные звуки доносились до ушей сидевших: скрип телег, бубенчики, крик перевозчиков и едва слышный ответ с той стороны, брань торопящихся пассажиров, топот лошадей, устанавливаемых на дощанике, мычание коровы, привязанной за рога к телеге, и громкий разговор крестьян на берегу, собравшихся около разложенного огня. Дама и кавалер прервали свои речи и молча смотрели и слушали даль... Отчего все это издали так сильно действует на нас, так потрясает — не знаю, но знаю, что дай бог Виардо и Рубини, чтоб их слушали всегда с таким биением сердца, с каким я много раз слушал какую-нибудь протяжную и бесконечную песню бурлака, сторожащего ночью барки, — песню унылую, перерываемую плеском воды и ветром, шумящим между прибрежным пвняком. И мало ли что мне чудилось, слушая монотонные, унылые звуки; мне казалось, что этой песнью бедняк рвется из душной сферы в иную; что он, не давая себе отчета, оглашает свою печаль; что его душа звучит, потому что ей грустно, потому что ей тесно, и проч. и проч. Это было в мою молодость!

— Как хорошо здесь... — сказала наконец дама в белом бурнусе. — Сознайтесь, что и северная природа прекрасна?

— Как везде. Где бы ни взглянул человек и когда бы ни взглянул на природу, на жизнь с раскрытой душой, прямо, бескорыстно — они дадут бездну наслаждения.

— Это правда. Всем на свете можно любоваться, если только хочешь. Мне часто приходит в голову странный вопрос: отчего человек умеет всем наслаждаться, во всем находить прекрасное, кроме в людях?

— Понять можно отчего, но от этого не легче будет. Мы вносим в наших отношениях с людьми заднюю мысль, которая тотчас убивает самой дрянной прозой поэтическое отношение. Человек в человеке всегда видит неприятеля, с которым надобно драться, лукавить и спешить определить условия перемирья. Какое ж тут наслаждение? Мы с этим выросли, и отделаться от этого почти невозможно; в нас во всех есть мещанское само-

любие, которое заставляет оглядываться, осматриваться; с природой человек не соперничает, не боится ее, и оттого нам так легко, так свободно в одиночестве; тут совершенно отдаемся впечатлениям; пригласите с собой самого близкого приятеля, и уже не то.

— Я вообще мало встречаю людей, особенно таких, которые бы мне были близки; но думаю, что есть, что может быть, по крайней мере, такое сочувствие между лицами, что все внешние препятствия непониманья пали между ними, они не могут помешать друг другу ни в каком случае жизни.

— Я сомневаюсь в продолжительной полноте такого сочувствия; это все говорится только. Люди, совершенно сочувствующие, еще не договорились до тех предметов, где они противоположны; но, рано или поздно, они договорятся.

— Все же, пока они не договорились, могут быть минуты полной симпатии, где они не мешают друг другу наслаждаться и природой и собой.

— В эти-то минуты я только и верю. Это святые минуты душевной расточительности, когда человек не скуп, когда он все отдает и сам удивляется своему богатству и полноте любви. Но эти минуты очень редки; по большей части мы не умеем ни оценить их в настоящем, ни дорожить ими, даже пропускаем их чаще всего сквозь пальцы, убиваем всякой дрянью, и они проходят человека, оставляя после себя болезненное щемление сердца и тупое воспоминание чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человек очень глупо устроил свою жизнь: девять десятых ее проводит в вздоре и мелочах, а последней долей он не умеет пользоваться.

— Зачем же терять такие минуты, когда человек знает им цену? На вас лежит двойная ответственность, — заметила Круциферская, улыбаясь, — вы так ясно видите и понимаете.

— Я не только такими мгновениями, я дорожу каждым наслаждением; но ведь это легко сказать: не теряйте такие мгновения; одна фальшивая нота — и оркестр погиб. Как отдаться вполне, когда тут же рядом видишь всякие привидения... грозящие пальцем, ругающиеся...

— Какие? Не собственные ли это капризы? — заметила Круциферская.

— Какие? — повторил Бельтов, которого голос мало-помалу изменялся от внутреннего движения.— Трудно мне вам объяснить, а для меня это очень ясно; человек так себя забил, что не смеет дать воли ни одному чувству. Послушайте, так и быть, я скажу вам пример, именно тот, который не следовало бы говорить, — но я его скажу... начавши, я не в силах остановить себя. С первых дней нашего знакомства я полюбил вас,— дружба ли это, любовь ли, просто ли сочувствие?.. Но знаю, что вы, ваше присутствие сделались для меня необходимостью. Знаю то, что целые утры я проводил в детском нетерпении, в болезненном ожидании вечера... Приходил наконец вечер, я бежал к вам, задыхаясь от мысли, что я увижу вас; лишенный всего, окруженный со всех сторон холодом, я на вас смотрел как на последнее утешение... поверьте, что на сию минуту я всего далее от фраз... с волнением переступал я порог вашего дома и входил хладнокровно, и говорил о постороннем, и так проходили часы... для чего эта глупая комедия?.. Скажу больше: вы не остались равнодушны ко мне; вероятно, иной вечер и вы меня ждали, я видел радость в ваших глазах при моем появлении — и сердце у меня билось в эти минуты до того, что я задыхался,— и вы меня встречали с притворной учтивостью, и вы садились издали, и мы представляли посторонних... зачем?.. Разве на дне моей души, на дне вашей души было что-нибудь такое, чего надобно стыдиться, прятать от глаз людей? Нет! — Чего от глаз людей?.. еще смешнее: мы скрывали друг от друга нашу близость; теперь в первый раз говорим мы об этом, да и тут, кажется, вполовину скрываем. Самое светлое чувство делается острым, жгучим, делается темным — чтоб не сказать другого слова, — если его боятся, если его прячут, оно начнет верить, что оно преступно, и тогда оно сделается преступным; в самом деле, наслаждаться чем-нибудь, как вор краденым, с запертыми дверями, прислушиваясь к шороху,— унижает и предмет наслажденья и человека.

— Вы несправедливы, — отвечала Круциферская дрожащим голосом, — я никогда не скрывала моей дружбы к вам, я не имела в этом нужды...

— Так отчего же, скажите, — возразил Бельтов, схватив ее руку и крепко ее сжимая,— отчего же, измученный, с душою, переполненною желанием испо-

веди, обнаружения, с душою, полной любви к женщине, я не имел силы прийти к ней и взять ее за руку, и смотреть в глаза, и говорить... и говорить... и склонить свою усталую голову на ее грудь... Отчего она не могла меня встретить теми словами, которые я видел на ее устах, но которые никогда их не переходили.

— Оттого, — отвечала Круциферская с какой-то отчаянной энергией, — оттого, что эта женщина принадлежит другому и любит его... да, да! любит его от души.

Бельтов бросил ее руку.

— Представьте себе, что я именно этого ответа и не ждал, а теперь мне кажется, что другого и сделать нельзя. Однако позвольте, разве непременно вы должны отвернуться от одного сочувствия другому, как будто любви у человека дается известная мера?

— Может быть, но я не понимаю любви к двоим. Муж мой, сверх всего другого, одной своей беспредельной любовью стяжал огромные, святые права на мою любовь.

— Зачем вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападает на них. К тому же вы дурно начали их защищать; да, если его любовь дала ему такие права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имеет никаких прав? Это странно!.. Послушайте, Любовь Александровна, откровенность, откровенность раз в жизни, потом, пожалуй, я совсем не буду ничего говорить, даже уеду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить; не понимаете? Сойдите поглубже, в душу вашу и посмотрите, что там делается теперь, сейчас. Ну, имейте же дух признанья, что я прав, скажите, по крайней мере, что вы все это перечувствовали, передумали, ведь я это знаю, я видел эти думы на вашем челе, в ваших глазах.

— Ах, Бельтов, Бельтов, зачем все это, зачем этот разговор? — говорила Круциферская голосом, исполненным мрачной грусти. — Нам было так хорошо... теперь не будет так.. вы увидите.

— То есть пока мы не назвали вещей своими именами? Какое ребячество!

Бельтов грустно качал головою и щурил глаза; лицо его, за минуту вдохновенное и выражавшее бесконечную нежность, приняло свою насмешливую мину.

Со слезами, с ужасом смотрела на него испуганная женщина... Круциферская была поразительно хороша в эту минуту; шляпку она сняла; черные волосы ее, развитые от сырого вечернего воздуха, разбросались, каждая черта лица была оживлена, говорила, и любовь струилась из ее синих глаз; дрожащая рука то жала платок, то покидала его и рвала ленту на шляпке, грудь по временам поднималась высоко, но казалось, воздух не мог проникнуть до легких. Чего хотел этот гордый человек от нее? Он хотел слова, он хотел торжества, как будто это слово было нужно; если б он был юнее сердцем, если б в голове его не обжились так долго мысли горькие и странные, он не спросил бы этого слова.

— Вы ужасный человек,—промолвила наконец бедная Круциферская и подняла робкий взгляд на него.

Он выдержал этот взгляд и спросил:

— Куда это Семен Иванович запропастился? Хотел тотчас прийти. Не ищет ли он нас в других аллеях? Пойдемте к нему навстречу, а то совсем смеркается.

Она не трогалась с места, обиженная тоном последних слов. Помолчавши несколько, она опять подняла взор свой на Бельтова и тихим, умоляющим голосом сказала ему:

— Я стала ниже в ваших глазах, вы забыли, что я простая, слабая женщина, — и слезы лились из глаз ее.

Тут, как всегда, любовь и теплота женщины победили гордую требовательность мужчины. Бельтов, тронутый до глубины души, взял ее руку и приложил к своей груди; она слышала биение его сердца; она слышала, как горячие капли слез падали на ее руку... Он был так хорош, так увлекателен в своей гордой страсти... У ней самой так волновалась кровь, так смутно было в голове и так хорошо, так богато чувствами на сердце, что она в каком-то безотчетном порыве бросилась в его объятия, и ее слезы градом лились на пестрый парижский жилет Владимира Петровича. Почти в ту же минуту раздался голос Семена Ивановича:

— Где вы? — кричал он. — Тут, что ли?

— Здесь, — отвечал Бельтов и подал руку Любови Александровне.

Бельтов был упоен своим счастьем; его дремавшая душа вдруг воскресла со всеми своими силами.

Любовь, доселе сдерживаемая, распахнулась в нем, он чувствовал невыразимое блаженство во всем бытии своем. Как будто он вчера, третьего дня не знал, что он любит и любим. От дома Круциферского он воротился в сад, бросился на ту же скамью, грудь его была так полна, и слезы текли из глаз; он удивлялся, что нашел и столько юности, и столько свежести в себе... Правда, вскоре примешалось что-то неловкое к радостному чувству, что-то такое, что заставляло его морщить лоб; но, воротившись домой, он велел Григорью подать за закуской бутылку шампанского, и неловкое потонуло в нем, а радостное стало еще звонче.

Круциферская, бледная, как смерть, простилась с Бельтовым у своего дома, куда их проводил и Семен Иванович. Она не смела понять, не смела ясно вспомнить, что было... но одно как-то страшно помнилось, само собою, всем организмом, это — горячий, пламенный, продолжительный поцелуй в уста, и ей хотелось забыть его, и так хорош он был, что она ни за что в свете не могла бы отдать воспоминания о нем. Семен Иванович хотел идти, Круциферская испугалась; она просила его зайти, она боялась одна переступить за порог, ей было страшно.

Они вошли. Дмитрий Яковлич сидел перед столом и внимательно читал какой-то журнал; вид его был, кажется, покойнее и безмятежнее, нежели обыкновенно. Добродушно улыбаясь входящим, он закрыл журнал и, протягивая руку жене, спросил:

— Где вы это загулялись? Я ждал, ждал тебя, даже грустно сделалось.

Рука жены была холодна и покрыта потом, как бывает у при смерти больных.

— Мы были в саду, — отвечал Крупов за нее.

— Что с тобою? — спросил Круциферский. — Какая у тебя рука! Да на тебе, мой друг, лица нет.

— У меня что-то кружится голова; не беспокойся, Дмитрий, я пойду в спальню и выпью воды, это сейчас пройдет.

— Позвольте, позвольте; куда торопиться? Дайтека посмотреть; вы забыли, что ли, что я доктор... Что это? Да ей дурно. Дмитрий Яковлевич, посадимте ее на диван; держите так, под руку, под руку... так, так. Я что-то на дороге заметил, что ей не по себе. Весенний воздух, кровь остра, талый лед испаряется, всякая

дрянь оттаивает... Кабы была под рукой английская горчица, сделать бы синапизмики — маленькие, в ладонь, с черным хлебом и уксусом... Кухарка ваша дома?.. Пошлите-ка к моему Карпу, он знает... просто, так... спросить горчицы... так... и привязать к икрам, а не поможет — еще парочку, пониже плеч, где мясное место.

— Я не больна, я не больна, — повторяла слабым голосом Любовь Александровна, приходя в себя и дрожа всем телом, — Дмитрий, поди сюда ко мне, Дмитрий... я не больна, дай мне твою руку.

— Что с тобой, что с тобой, мой ангел? — спрашивал ее муж, который сам уже успел и занемочь и расплакаться.

Она посмотрела каким-то странно грустным взглядом на него, но не могла сказать, зачем его звала. Он опять спросил ее.

— Дай мне воды да немножко уснуть, и я буду здорова, мой друг.

Часа через два или три Любовь Александровна, наказанная угрызениями совести внутри и горчичниками снаружи за поцелуй Бельтова, лежала на постели в глубоком летаргическом сне или в забытьи. Потрясение было слишком сильно, организм не выдержал.

А в гостиной на диване лежал совсем одетый Крупов, оставшийся сколько для больной, столько и для Круциферского, растерянного и испуганного. Крупов, чрезвычайно сердясь на пружины дивана, которые, нисколько не способствуя эластичности его, придавали ему свойства, очень близкие той бочке, в которой карфагеняне прокатили Регула, — в четверть часа сладко захрапел с спокойствием человека, равно не обременявшего себе ни совести, ни желудка.

Возле кровати больной горел ночник, сделанный в блюдечке, который бросал довольно яркий круг света на потолок, беспрестанно изменявший величину, колебавшийся и вторивший всем движениям маленького пламени, сожигавшего маленькую светильню. Бледный и потерянный, Круциферский сидел за столиком, на котором стоял ночник. Кому случалось проводить ночи у изголовья трудно больного, друга, брата, любимой женщины, особенно в нашу полновесную зимнюю ночь, тот поймет, что было на душе нервного Круциферского.

Тупое, глупое чувство бессилия помочь вместе со страхом будущего и с горячечной напряженностью от бессонницы и устали привели его в какое-то раздраженное состояние. Он беспрестанно приподнимался и смотрел на нее, клал ей руку на лоб, находил, что жар уменьшился, и начинал думать, что не хуже ли это, не бросилась ли болезнь внутрь. Он вставал, переставлял ночник и склянку с лекарством, смотрел на часы, подносил их к уху и, не видавши, который час, клал их опять, потом опять садился на свой стул и начинал вперять глаза в колеблющийся кружок света на потолке, думать, мечтать — и воспаленное воображение чуть не доходило до бреда. «Нет, — думал он, — это нельзя, это невозможно, ну, просто невозможно; как это она одна у меня на свете, она так молода. Бог видит мою любовь, он сжалится над нами. Это пустяки, пройдет; так, холодный, сырой ветер, кровь остра, лед испаряется, да, только весенние простуды страшны, нервная горячка, чахотка... как это до сих пор не умеют лечить чахотки? Страшная болезнь! Впрочем, она опасна до восемнадцати лет; а вот у нашего французского учителя жена тридцати лет, а в чахотке умерла, да, умерла; ну, если...» И ему так живо представился гроб в гостиной, покрыт покровом, грустное чтение раздается, Семен Иванович стоит печальный возле, Яшу держит нянька, повязанная белым платком. А потом еще что-то страшнее почудилось ему, что и гроба нет, в комнате так прибрано, полы вымыты... только попахивает ладаном. Он встал, близкий к обмороку, и подошел к жене. Щеки ее пылали, она тяжело дышала, болезненный сон сковал ее. Круциферский скрестил руки на груди и горько заплакал... Да! этот человек умел любить, — стоило взглянуть на него; он опустился на колени, взял горячую руку жены и приложил ее к губам своим.

— Нет, — говорил он вслух, — нет, он не возьмет ее, она не оставит меня; что же со мной будет без нее?

И, поднявши глаза к небу, он молился.

Тут вошел Семен Иванович с сильно заспанным видом; левый глаз у него вовсе не хотел открываться, сколько он ни нудил мускул, нарочно затем приставленный к глазу, чтоб его раскрывать.

— Что, начала бредить? А?

— Нет, она спит спокойно.

— Я сам, братец, слышал; во сне, что ли, мне показалось.

— Должно быть, Семен Иванович, вам показалось во сне, — возразил Дмитрий Яковлевич с видом пойманного школьника.

Крупов подошел к постели.

— Жарок есть, а впрочем, кажется, ничего; да вы бы прилегли, Дмитрий Яковлевич, ну, что пользы себя мучить.

— Нет-с, я не лягу, — отвечал Дмитрий Яковлевич.

— Вольному воля, — заметил Крупов, зевая и направляя стопы свои к рельефному дивану, на котором преспокойно проспал до половины осьмого — час, в который он вставал ежедневно, несмотря на то — в десять ли вечера он ложился или в семь поутру.

Осмотревши больную, Семен Иванович решил, что это легонькая простудная горячечка, как он выражался, и прибавил, что теперь это в поветрии.

Что было после горячечки, пусть расскажет сама Любовь Александровна; вот отрывок из ее журнала.

«*Мая 18.* Как давно я не писала в этой книге: больше месяца... больше месяца! А иной раз подумаешь, будто годы прошли с того дня, как я занемогла. Теперь, кажется, все прошло, и жизнь опять пойдет тихо, спокойно. Вчера я первый раз выходила из дому. Как я рада была подышать воздухом! Погода была прекрасная... Однако я очень ослабела во время болезни; два или три раза прошла я по нашему палисаднику и до того устала, что у меня закружилась голова. Дмитрий перепугался, но это тотчас прошло. Господи! как он меня любит! Добрый, добрый Дмитрий, как он ходил за мной! Стоило мне ночью раскрыть глаза, пошевельнуться — он уже стоял тут; спрашивал, что мне надобно, предлагал пить... бедный, он сам похудел, как будто после болезни. Какая способность любви! Надобно иметь каменное сердце, чтоб не любить такого человека. О! Я люблю его, мне было бы невозможно не любить его. То происшествие в саду, оно ничего не значит, болезнь уже приготовлялась, и я была в особом расположении, нервы у меня были раздражены... Вчера я *его* видела в первый раз после болезни... его голос я слыхала, как сквозь сон, но его не видала. Он был очень взволнован, хотя и скрывал это, голос у него дрожал, когда

он мне сказал: «Наконец-то, наконец-то вам лучше». Потом он мало говорил, какая-то мысль его занимала, он раза два провел рукою по лбу, как будто желал стереть ее, но она снова проступала. Ни одного малейшего намека о бывшем, он, верно, понял, что это было болезненное опьянение. Зачем я не рассказала всего Дмитрию? В тот вечер, когда он так кротко протянул мне руку, мне хотелось броситься к нему и все рассказать, но я не имела силы, мне сделалось дурно. Сверх того, Дмитрий так нежен, его это страшно бы огорчило. После я ему скажу непременно.

20 мая. Вчера мы были с Дмитрием в саду, он хотел сесть на той скамейке, я сказала, что боюсь ветра с реки, — мне эта скамейка сделалась страшна; мне казалось, что для Дмитрия будет оскорбительно сидеть на ней. Будто это правда, что можно любить двоих? Не понимаю. Можно и не двоих, а нескольких любить, но тут игра слов; любить любовью можно одного, и ею я люблю моего мужа. А потом я люблю Крупова и не боюсь признаться, что и Бельтова люблю; это такой сильный человек, что я не могу не любить его. Это человек, призванный на великое, необыкновенный человек; из его глаз светится гений. Та любовь и не нужна такому человеку. Что для него женщина? Она пропадает в беспредельной душе его... ему нужна любовь иная. Он страдает, глубоко страдает, и нежная дружба женщины могла бы облегчить эти страдания; ее он всегда найдет во мне, он слишком пламенно понимает эту дружбу, он все пламенно понимает; сверх того, он так не привык к вниманию, к симпатии; он всегда был одинок, душа его, огорченная, озлобленная, вдруг встрепенулась от голоса сочувствующего. Это очень натурально.

23 мая. Бывают иногда странные минуты какого-то беспокойного желания жизни еще полнейшей. Неблагодарность ли это к судьбе, или уж человек так устроен, а я чувствую часто, особенно с некоторого времени, стремление... очень мудрено это выразить. Я искренно люблю Дмитрия; но иногда душа требует чего-то другого, чего я не нахожу в нем, — он так кроток, так нежен, что я готова раскрыть ему всякую мечту, всякую детскую мысль, пробегающую по душе; он все оценит, он не улыбнется с насмешкой, не оскорбит холодным словом или ученым замечанием, но это не все:

бывают совсем иные требования, душа ищет силы, отвагу мысли; отчего у Дмитрия нет этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслию? Я, бывало, обращаюсь к нему с тяжелым вопросом, с сомнением, а он меня успокаивает, утешает, хочет убаюкать, как делают с детьми... а мне совсем не того хотелось бы... он и себя убаюкивает теми же детскими верованиями, а я не могу.

24 мая. Яша болен. Два дня он лежал в жару, сегодня показалась сыпь, Семен Иванович меня обманывает. В десять раз лучше сказать прямо; надобно испугать воображение, а не предоставить ему волю: оно само выдумает еще страшнее, еще хуже. Я не могу прямо в глаза посмотреть Яше, сердце обливается кровью, страдания ребенка ужасны. Как он похудел, бедняжка, как бледен!.. И туда же, чуть выйдет минута полегче, улыбается, просит мячик. Что это за непрочность всего, что нам дорого, страшно вздумать! Так какой-то вихрь несет, кружит всякую всячину, хорошее и дурное, и человек туда попадает, и бросит его на верх блаженства, а потом вниз. Человек воображает, что он сам распоряжается всем этим, а он, точно щепка в реке, повертывается в маленьком кружочке и плывет вместе с волной, куда случится, — прибьет к берегу, унесет в море или увязнет в тине... Скучно и обидно!

26 мая. У него скарлатина. У Дмитрия умерло трое братьев от скарлатины. Семен Иванович печален, сердит, груб и не отходит от Яши. Боже мой, боже мой! Что это такое делается над нами? Дмитрий сам едва ходит; это-то счастие я тебе принесла?

27 мая. Время тащится тихо, все то же; смертный приговор или милость... поскорей бы... Что у меня за страшное здоровье, как я могу выносить все это! Семен Иванович только и говорит: подождите, подождите... Яша, ангел мой, прощай... прощай, малютка!

29 мая. Полтора суток прошло поспокойнее, кризис миновал. Но тут-то и надобно беречь. Все это время я была в каком-то натянутом состоянии, теперь начинаю чувствовать страшную душевную усталь. Хотелось бы много поговорить от души. Как весело говорить, когда нас умеют верно, глубоко понимать и сочувствовать.

1 июня. Все идет хорошо... Кажется, на этот раз туча прошла мимо головы. Яша играл со мной сегодня часа два на своей постельке. Он так ослабел, что не

может держаться на ногах. Добрый, добрый Семен Иванович, что за человек!

6 июня. Все успокоилось, Яше гораздо лучше, но я больна, больна, это я чувствую. Сижу иногда у его кроватки, и вместо радости, вдруг, без всякой внешней причины, поднимается со дна души какая-то давящая грусть, которая растет, растет и вдруг становится немою, жестокой болью; готова бы, кажется, умереть. Я в этой суете не имела времени остаться наедине с собою; моя болезнь, болезнь Яши, хлопоты не давали мне ни минуты углубиться в себя. Лишь стало поспокойнее и лучше, какой-то скорбный, мучительный голос звал меня заглянуть в свое сердце, и я не узнала себя. Вчера после обеда я что-то чувствовала себя дурно, сидела у Яши, положила голову на его подушечку и уснула... Не знаю, долго ли я спала, но вдруг мне сделалось как-то тяжело, я раскрыла глаза — передо мною стоял Бельтов, и никого не было в комнате... Дмитрий пошел давать уроки... Он смотрел на меня, и глаза его были полны слез; он ничего не сказал, он протянул мне руку, он сжал мою руку крепко, больно... и ушел. Зачем же он не сказал ничего?.. Я хотела его остановить, но у меня не было голоса в груди.

9 июня. Он был весь вечер у нас и ужасно весел: сыпал остротами, колкостями, хохотал, шумел, но я видела, что все это натянуто; мне даже казалось, что он выпил много вина, чтоб поддержать себя в этом состоянии. Ему тяжело. Он обманывает себя, он очень невесел. Неужели я, вместо облегчения, принесла новую скорбь в его душу?

15 июня. День был сегодня удушливый, я изнемогала от жары. К обеду собралась гроза, и проливной дождь освежил меня, может, больше, нежели траву и деревья. Мы пошли в сад; на дворе необычайно было хорошо: деревья благоухали какой-то укрепляющей, влажной свежестью; мне стало легко... Я первый раз вспомнила о *тогдашнем* дне иначе: в нем много прекрасного... Может ли быть что-нибудь преступное полно прелести, упоения, блаженства?.. Мы шли по той же дорожке. На лавочке кто-то сидел, мы подошли: это был *он*; я чуть не вскрикнула от радости. Он был очень печален, все слова его были грустны, исполнены горечи и иронии. Он прав — люди сами себе выдумывают терзания; ну, если б он был мой брат, разве я

не могла бы его любить открыто, говорить об этом Дмитрию, всем?.. И никому не показалось бы это странно. А он брат мне, я это чувствую... Как мы могли бы прекрасно устроить нашу жизнь, наш маленький кружок из четырех лиц; кажется, и доверие взаимное есть, и любовь, и дружба, а мы делаем уступки, жертвы, не договариваем. Когда мы шли домой, было поздно; месяц взошел. Б. шел возле меня. Что за странная магнетическая власть взгляда у этого человека! Взгляд Дмитрия тих и спокоен, как небо голубое, а его — волнует, так делается беспокойно, — и потом нет.

Мы мало говорили... только, прощаясь, он мне сказал: «Я много думал об вас все это время и... мне очень бы хотелось поговорить, так на душе много». — «И я думала об вас... прощайте, Вольдемар...» Я сама не знаю, как у меня сорвались эти слова; я никогда его так не называла, но мне казалось, что я не могу его иначе назвать. Он содрогнулся, услышав это названье; он наклонился ко мне и с тою нежностью, которая минутами является у него, сказал: «Вы третьи меня так назвали, это меня может тешить как ребенка, я буду этим счастлив дня на два». — «Прощайте, прощайте, Вольдемар», — повторила я. Он хотел что-то сказать, подумал, пожал мне руку, посмотрел в глаза и ушел.

20 июня. Я много изменилась, возмужала после встречи с Вольдемаром; его огненная, деятельная натура, беспрестанно занятая, трогает все внутренние струны, касается всех сторон бытия. Сколько новых вопросов возникло в душе моей! Сколько вещей простых, обыденных, на которые я прежде вовсе не смотрела, заставляют меня теперь думать. Многое, о чем я едва смела предполагать, теперь ясно. Конечно, при этом приходится часто жертвовать мечтами, к которым привыкла, которые так береглись и лелеялись; горька бывает минута расставания с ними, а потом становится легче, вольнее. Мне было бы очень тяжело, если б он уехал. Я не искала его, но случилось так; наши жизни встретились — совсем врозь они идти не могут; он открыл мне новый мир внутри меня. И не странно ли, что этот человек, не нашедший себе нигде ни труда, ни покоя, одиноко объездивший весь свет, вдруг здесь, в маленьком городишке, нашел симпатию в женщине мало образованной, бедной, далекой от его круга!

Он, может, слишком любит меня, — да разве это зависит от воли? К тому же он столько вынес холоду и безучастия, что готов платить сторицею за всякое теплое чувство. Оставить его тем же одиноким, сделаться чужою ему я не могла бы, это было бы просто грешно... да! Он прав: и его любовь имеет права!

Последнее время Дмитрий особенно не в духе: вечно задумчив, более обыкновенного рассеян; у него это есть в характере, но страшно, что все это растет; меня беспокоит его грусть, и подчас я дурно объясняю ее...

22 июня. И, кажется, не ошиблась. Вчера Дмитрий был до того мрачен, что я не вынесла и спросила, что с ним? «У меня болит голова, — ответил он, — мне надобно походить», — и взял свою шляпу. «Пойдем вместе», — сказала я. «Нет, друг мой, не теперь; я пойду очень скоро, ты устанешь», — и он ушел со слезами на глазах. Я не вынесла этого и горько проплакала все время, пока он ходил; он меня застал на том же месте у окна, видел, что я плакала, грустно пожал мне руку и сел. Мы молчали. Потом, спустя несколько минут, он мне сказал: «Любонька, знаешь ли, о чем я думаю? Как хорошо бы в такую теплую, легкую ночь, где-нибудь в роще, положить голову тебе на колени и уснуть навеки».— «Помилуй, Дмитрий,—сказала я ему,— что это за мрачные мысли; неужели тебе не жаль никого покинуть здесь?» — «Жаль,—отвечал он,—очень жаль и тебя и Яшу; но Семен Иванович говорит, что я только могу повредить воспитанию Яши, да я и сам согласен, что ты лучше воспитаешь его, нежели я. К тому же, друг мой, и там, как здесь, вечная молитва о вас, — молитва, полная веры и упованья — найдет доступ... Тебе будет меня жаль, я это знаю, друг мой, ты так добра; но ты найдешь силы перенести этот удар, признайся сама». Мне было невыносимо больно слушать его; я из этих слов слышала и видела чувство нехорошее, слезы лились у меня из глаз. Что это такое? Мне начинает казаться, что я созвала какие-то бедствия на нашу жизнь. А между тем совесть моя чиста... Неужели я довела его до такого состояния недостатком любви или... У него нет прежней веры в меня, это я вижу. Неужели в его благородной душе есть место чувству, которого назвать не хочу? Неужели он подозревает, что я разлюбила его и люблю другого? Господи! Как мне объяснить это ему? Я не другого

люблю, а люблю его и люблю Вольдемара; симпатия моя с Вольдемаром совсем иная... Странно, мне казалось, что жизнь наша успокоилась, что она пойдет широко, полно,—и вдруг какая-то пропасть раскрылась под ногами... лишь бы удержаться на краю... Тяжело... Если б я умела хорошо, очень хорошо играть на фортепьяно, я извлекла бы те звуки из души, которые не умею высказать; Дмитрий понял бы меня, он понял бы, что внутри меня все чисто. Бедный Дмитрий! Ты страдаешь за беспредельную любовь твою; я люблю тебя, мой Дмитрий! Если б я с самого начала была откровенна с ним, этого бы никогда не было; что за нечистая сила остановила меня? Как только он успокоится, я поговорю с ним и все, все расскажу ему...

23 июня. Семен Иванович, кажется мне, тоже переменился со мной; да что же сделала я?.. Я ничего не понимаю — ни что сделала, ни что сделалось. Дмитрий поспокойнее сегодня; я многое говорила с ним, но не все; были минуты, в которые мне казалось, что он понимает меня, но через минуту я ясно видела, что мы совершенно разно смотрели на жизнь. Я начинаю думать, что Дмитрий и прежде не вполне понимал меня, не вполне сочувствовал, — это страшная мысль!

24 июня. Вечером, поздно. Жизнь! Жизнь! Среди тумана и грусти, середь болезненных предчувствий и настоящей боли вдруг засияет солнце, и так сделается светло, хорошо. Сейчас пошел Вольдемар; долго говорили мы с ним... Он тоже грустен и много страдает, и как понятно мне каждое слово его! Зачем люди, обстоятельства придают какой-то иной характер нашей симпатии, портят ее? Зачем они все это делают?

25 июня. Вчера был Иванов день. Дмитрий был на именинах у одного учителя. Он воротился поздно и нетрезвый; я никогда не видала его в таком положении. Бледный, с растрепанными волосами, неверными шагами ходил он по спальне. «Тебе дурно, мой друг? — сказала я. — Не дать ли тебе воды?» — «Да,—говорил он голосом, задыхающимся от волнения, и с выражением, совершенно чуждым его характеру, — если б ты столько принесла воды, чтоб утопиться можно, я бы поблагодарил тебя». Я глядела прямо в глаза ему, он смешался. — «Не слушай, бога ради, что я вру,—сказал он, испугавшись, вероятно, моего взгляда, — сам не знаю, как выпил лишний стакан вина, от этого жар,

бред... Прощай, мой друг, я отдохну здесь немного»,— и он бросился, совсем одетый, на диван и скоро заснул тяжелым сном. Я не спала всю ночь; глубокое страдание выражалось на сонном лице его; иногда он улыбался, но не своей улыбкой... Нет, Дмитрий, меня не обманешь! Ты не случайно выпил лишний стакан вина, ты не в бреду говорил твои слова, а вино только придало тебе жестокости, которой вовсе нет в твоей душе. Что это делается над нашими головами, боже милосердный! Это свыше сил человеческих! Тяжело тебе, бедный Дмитрий! А мне-то видеть его страдания и знать, что причиною всего я!

Через три часа. Не могу еще ничего привесть в порядок, в душе все смутно, как после бури — волны не могут улечься. Кровь стучит в висках, сердце бьется до того, что держу грудь. — Дмитрий! И тебе не грешно так жалко меня понимать?! И как ты, бедный, страдаешь за это! Облегченье ему, облегченье!.. Ах, как кружится голова и горит! Не опять ли горячка? Я говорила с Дмитрием, я требовала от него объяснения его грусти, его поступков, его слов; да, он утратил веру в меня, он никогда не поймет, что во мне делается. Это страшно, потому что я не могу ничего переменить... Все покрывается туманом, в груди трепет, боль; зачем я встретилась с Вольдемаром?

26 июня. Как все странно и перепутано в людских понятиях! Подумаешь иногда и не знаешь: сердиться ли или хохотать. Мне сегодня пришло в голову, что самоотверженнейшая любовь—высочайший эгоизм, что высочайшее смирение, что кротость — страшная гордость, скрытая жесткость; мне самой делается страшно от этих мыслей, так, как, бывало, маленькой девочкой я считала себя уродом, преступницей за то, что не могла любить Глафиры Львовны и Алексея Абрамовича; что же мне делать, как оборониться от своих мыслей и зачем? Я не ребенок. Дмитрий не обвиняет меня, не упрекает, ничего не требует; он сделался еще нежнее. *Еще!* Вот в этом-то *еще* и видно, что все это неестественно, не так; в этом столько гордости и унижения для меня и такая даль от пониманья. Он очень страдает, но что же сказать о той женщине, которая за любовь платит отравой? Да, боже мой, хотела ли я этого! Я говорила с ним откровеннее, нежели бы это сделала другая женщина; он, видимо, уступает, но в

то же время у него накапливается совсем другое в душе, и он не совладает с этим другим.

27 июня. Его грусть принимает вид безвыходного отчаяния. В те дни после грустных разговоров являлись минуты несколько посветлее. Теперь нет. Я не знаю, что мне делать. Я изнемогаю. Много надобно было, чтоб довесть этого кроткого человека до отчаяния, — я довела его, я не умела сохранить эту любовь. Он не верит больше словам моей любви, он гибнет. Умереть бы мне теперь... сейчас, сейчас бы умерла!

Я начинаю себя презирать; да, хуже всего, непонятнее всего, что у меня совесть покойна; я нанесла страшный удар человеку, которого вся жизнь посвящена мне, которого я люблю; и я сознаю себя только несчастной; мне кажется, было бы легче, если б я поняла себя преступной, — о, тогда бы я бросилась к его ногам, я обвила бы моими руками его колени, я раскаянием своим загладила бы все: раскаяние выводит все пятна на душе; он так нежен, он не мог бы противиться, он меня бы простил, и мы, выстрадавши друг друга, были бы еще счастливее. Что же это за проклятая гордость, которая не допускает раскаяния в душу? Мне хотелось бы теперь быть одной, где-нибудь вдали, — только бы Яшу взяла с собой; я бродила бы где-нибудь между чужими людьми и окрепла бы... Ты не найдешь, Дмитрий, примирения в своей душе; ах, друг мой, я отдала бы всю кровь мою до последней капли, если б ты мог, хотел понять меня; так тебе было бы хорошо! Ты падешь жертвой твоего восторженного непониманья, я пойду за тобой в эту пропасть, пойду, потому что люблю тебя, потому что подземные силы меня избрали для твоей гибели. Подчас мне кажется, что два-три слова с Вольдемаром облегчили бы меня, и я боюсь искать случая с ним видеться. Вот что сделали толки! Они успели бросить страх и в меня, успели отравить светлое и благородное чувство. Да отпустится им! Семен Иванович косвенно читал мне мораль... о, добрый Семен Иванович! Мне так жаль его было; ничего не понимает, говорит о святых обязанностях матери... неужели ему не приходит в голову, что я иногда думала об этом?.. Участие людское оскорбительнее людского холода... Дружба считает лучшим правом своим привязать друга к позорно-

му столбу... потом требовать исполнения советов... как бы они ни были противны тому, которому советуют... Ах, как все это мелко! Фу, душно, как в маленькой комнатке, когда все окны закрыты да еще мухи летают!..»

Если б Бельтов не приезжал в NN, много бы прошло счастливых и покойных лет в тихой семье Дмитрия Яковлевича, конечно, — но это не утешительно; идучи мимо обгорелого дома, почерневшего от дыма, без рам, с торчащими трубами, мне самому приходило иной раз в голову: если б не запала искра да не раздулась бы в пламень, дом этот простоял бы много лет, и в нем бы пировали, веселились, а теперь он — груда камней.

Повесть наша, собственно, кончена; мы можем остановиться, предоставляя читателю разрешить: *кто виноват?* — Но есть еще несколько подробностей, которые кажутся нам довольно занимательными; позвольте ими поделиться. Обращаемся сначала к бедному Круциферскому.

Круциферский, вскоре после болезни своей жены, заметил, что какая-то мысль ее сильно занимает; она была задумчива, беспокойна... в ее лице было что-то более гордое и сильное, нежели всегда. Круциферскому приходили разные объяснения в голову, странные, невероятные; он внутренно смеялся над ними, но они возвращались.

Раз как-то она сидела с Яшей; вдруг в передней стукнула дверь, и кто-то спросил: «Дома?» — «Это Бельтов», — сказал Круциферский, подымая глаза, и глаза его встретили легкий румянец на лице Любови Александровны и оживленный взгляд, который, кажется, был не для него так оживлен. Он содрогнулся и промолчал. Он очень хорошо знал, что жена его была в большой дружбе с Бельтовым, и нисколько не удивлялся этому; но этот взгляд, но эта краска, пробежавшая по ее лицу! «Неужели?» — думал он — и снова посмотрел на то, что́ делалось. Бельтов ласкал Яшу; но что за взор, исполненный нежности и страсти, он остановил на матери! В этом взоре один слепой не прочел бы любви, любви пламенной и еще более—любви счастливой. Она стояла, потупивши глаза, руки ее немного

дрожали, ей, кажется, было очень хорошо. Дмитрий Яковлевич, сказавши несколько слов, вышел в другую комнату. «Неужели это правда?» — спрашивал он себя, испуганный; у него в голове сделался такой сумбур, в ушах стук, что он поскорее сел на кровать; посидевши минут пять, в которые он ничего не думал, а чувствовал какое-то нелепо тяжелое состояние, он вышел в комнату; они разговаривали так дружески, так симпатично, ему показалось, что им вовсе его не нужно. Он стал ходить по комнате и вспоминать разные мелочи, едва обратившие в свое время внимание, но являвшиеся теперь как доказательства, как подтверждения. Когда Бельтов пошел, она его проводила, она ему улыбнулась, и как улыбнулась! «Да, она его любит». Сознавшись в этом, он с ужасом стал отталкивать эту мысль, но она была упорна, она всплыла; мрачное, безумное отчаяние овладело им. «Вот они, мои предчувствия! Что мне делать? И ты, и ты не любишь меня!» И он рвал волосы на голове, кусал губы, и вдруг в его душе, мягкой и нежной, открылась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потребность отомстить, и в дополнение он нашел силу все это скрыть. Настала ночь; ему очень хотелось плакать, но не было слез; минутами сон смыкал его глаза, но он тотчас просыпался, облитый холодным потом; ему снился Бельтов, ведущий за руку Любовь Александровну, с своим взглядом любви; и она идет, и он понимает, что это навсегда, — потом опять Бельтов, и она улыбается ему, и все так страшно; он встал. На дворе рассветало; она спала, лицо ее было покойно; лицо спящего имеет иногда особенную трогательную прелесть,—таково, действительно, в эту минуту было лицо Любови Александровны, и вдруг улыбка показалась на устах. «Она видит его во сне», — подумал Круциферский и посмотрел на нее с такою ненавистью, с таким зверством, что, не имей он миролюбивых привычек нашего века, он задушил бы ее не хуже венецианского мавра; у нас трагедии оканчиваются не так круто. «За эту беспредельную любовь чем она заплатила? О, боже мой, боже мой! — за такую любовь!» — повторял он и как будто желал уйти от себя и от страшных искушений; он подошел к кроватке. — Яша разбросался, подложил ручонку под щеку и крепко спал. «Ты скоро останешься сиротой, — думал, стоя перед ним, Дмит-

рий Яковлевич,—бедный Яша!.. Я тебе больше не отец, не могу и не хочу перенести этого; бедный ребенок! Поручаю тебя заступнику всех сирот... Как он похож на нее!» — Он заплакал. Слезы, молитва и покойный вид спящего Яши несколько облегчили страдальца; толпа совсем иных мыслей явилась в размягченной душе его. «Да прав ли я, что обвиняю ее? Разве она хотела его полюбить? И притом он... я чуть ли сам не влюблен в него...» И наш восторженный мечтатель, сейчас безумный ревнивец, карающий муж, вдруг решился самоотверженно молчать. «Пусть она будет счастлива, пусть она узнает мою самоотверженную любовь, лишь бы мне ее видеть, лишь бы знать, что она существует; я буду ее братом, ее другом!» И он плакал от умиления, и ему стало легче, когда он решился на гигантский подвиг — на беспредельное пожертвование собою, — и он тешился мыслию, что она будет тронута его жертвой; но это были минуты душевной натянутости: он менее нежели в две недели изнемог, пал под бременем такой ноши.

Не станем винить его; подобные противуестественные добродетели, преднамеренные самозаклания вовсе не по натуре человека и бывают большею частию только в воображении, а не на деле. На несколько дней его стало; но первая мысль, ослабившая его героизм, была холодная и узкая: «Она думает, я ничего не вижу, она хитрит, она притворяется». О ком думал он это? О женщине, которую он так любил, так уважал, которую должен бы был знать — да не знал; потом внутренняя тоска, снедавшая его сама по себе, стала прорываться в словах, потому что слова облегчают грусть, это повело к объяснениям, в которых ни он не умел остановиться, ни Любовь Александровна не захотела бы. Тяжело ему стало после разговоров с нею; он миновал быть с нею с глазу на глаз, и между тем в отшельнической жизни своей они почти всегда были вдвоем. Он пробовал больше заниматься, но ему наука не шла в голову, книга не читалась, или пока глаза его читали, воображение вызывало светлые воспоминания былого, и часто слезы лились градом на листы какого-нибудь ученого трактата. В душе его открылась какая-то пустота, которой пределы словно раздвигались с каждым часом и жить с которой было невозможно. Он стал искать рассеяния. Мы видели в жур-

нале, как он возвратился в Иванов день с вечера ученого друга своего, Медузина.

Кстати, для отдыха от патетических мест пойдемте в ученую беседу Медузина и начнем с того, без чего войти в нее нельзя: познакомимся с почтенным хозяином. Знакомство это так приятно, что мы отделим его в новую главу.

VI

Иван Афанасьевич Медузин, учитель латинского языка и содержатель частной школы, был прекраснейший человек и вовсе не похож на Медузу — снаружи потому, что он был плешив, внутри потому, что он был полон не злобой, а настойкой. Медузиным его назвали в семинарии, во-первых, потому, что надобно было как-нибудь назвать, а во-вторых, потому, что у будущего ученого мужа волосы торчали все врознь и отличались необыкновенной толщиной, так что их можно было принять за проволоки, но сокрушающая сила времени «и ветер их разнес». Из семинарии Иван Афанасьевич, сверх приятной мифологической фамилии, вынес то прочное образование, которое обыкновенно сопровождает семинаристов до последнего дня их жизни и кладет на них ту самобытную печать, по которой вы узнаете бывшего семинариста во всех нарядах. Аристократические манеры не были отличительным свойством Медузина: он никогда не мог решиться ученикам говорить *вы* и не прибавлять в разговоре слов, мало употребляемых в высшем обществе. Ивану Афанасьевичу было лет пятьдесят. Сначала он был учителем в разных домах, наконец дошел до того, что завел свою собственную школу. Однажды приятель его, учитель, тоже из семинаристов, по прозванию Кафернаумский, отличавшийся тем, что у него с самого рождения не проходил пот и что он в тридцать градусов мороза беспрестанно утирался, а в тридцать жара у него просто открывалась капель с лица, встретив Ивана Афанасьевича в классе, сказал ему, нарочно при свидетелях:

— А ведь кажется, Иван Афанасьич, день тезоименитства вашего, если не ошибаюсь, приближается. Конечно, мы отпразднуем его и ныне по принятому уже вами обыкновению?

— Увидим, почтеннейший, увидим, — отвечал Иван Афанасьевич с усмешкою и на этот раз решился почему-то великолепнее обыкновенного отпраздновать свои именины.

Хозяйство Ивана Афанасьевича не было *монтировано*. Он жил лет пятнадцать безвыездно в NN, но можно было думать, что он только вчера приехал в город и не успел ничего завести. Это было не столько от скупости, сколько от совершенного неведения вещей, потребных для человека, живущего в гражданском обществе. Приготовляясь дать бал, он осмотрел свое хозяйство; оказалось, что у него было шесть чайных чашек, из них две превратились в стаканчики, потеряв единственные ручки свои; при них всех состояли три блюдечка; был у него самовар, несколько тарелок, колеблющихся на столе, потому что кухарка накупила их из браку, два стаканчика на ножках, которые Медузин скромно называл «своими водочными рюмками», три чубука, заткнутых какой-то грязью, вероятно, чтоб не было сквозного ветра внутри их. Вот и все. А он назвал всех школьных учителей; долго думал он, как быть, и наконец позвал кухарку свою Пелагею (заметьте, что он ее никогда не называл Палагеей, а, как следует, Пелагеей; равно слова «четверток» и «пяток» он не заменял изнеженными «четверг» и «пятница»).

Пелагея была супруга одного храброго воина, ушедшего через неделю после свадьбы в милицию и с тех пор не сыскавшего времени ни воротиться, ни написать весть о смерти своей, чем самым он оставил Пелагею в весьма неприятном положении вдовы, состоящей в подозрении, что ее муж жив. Я имею тысячу причин думать, что толстая, высокая, повязанная платком и украшенная бородавками и очень темными бровями Пелагея имела в заведывании своем не только кухню, но и сердце Медузина, но я вам их не скажу, потому что тайны частной жизни для меня священны. Она явилась. Он объяснил ей свое затруднительное положение.

— Эк ведь лукавый-то вас, — отвечала Пелагея, — а туда же, ученые! Как, прости господи, мальчишка точно неразумный, эдакую ораву назвать, а другой раз десяти копеек на портомойное не выпросишь! Что теперь станем делать? Перед людьми-то срам: точно погорелое место.

— Пелагея — возразил громким голосом Медузин. — Не употребляй во зло терпение мое; именины править с друзьями хочу, хочу и сделаю; возражений бабьих не терплю.

Влияние Цицерона было бы заметно каждому, но Пелагея, взволнованная вестью о празднике, не думала о Цицероне.

— Конечно, мы и замолчим; дело ваше, хоть в окно бросайте деньги, коли блесир[1] доставляет. Дайте пятьдесят рублей, всего искуплю, кроме напитков.

Пелагея очень хорошо знала, что Медузину не понравится ее ответ, а потому, сказавши это, она с глубоким чувством собственного достоинства подперла одну руку другой, а первой рукой щеку и спокойно ожидала действия своих слов.

— Пятьдесят рублей на эту дрянь! Да ты — того, хватила, что ли, через край? Пятьдесят рублей без напитков! Вздор какой! Баба глупая! Никакого совета не умеет дать! Так ступай же к отцу Иоанникию пригласить его ко мне двадцать четвертого числа и попроси у него посуды на вечер.

— Куда хорошо по дворам шляться за посудою!

— Пелагея! Знакомый тебе это человек? — спросил Медузин, указывая на сучковатую трость в углу.

Пелагея, увидевшись с знакомым, пошла в кухню надеть капот, шелковый платок и потом с ворчанием отправилась к отцу Иоанникию; а Медузин сел за письменный стол и просидел с час в глубокой задумчивости; потом вдруг «обошелся посредством» руки, схватил бумагу и написал, — вы думаете, комментарий к «Энеиде» или к Евтропиевой краткой истории, — и ошибаетесь. Вот он что написал:

1. Российская грамматика и логика	много употребл.
2. История и география	употребляет довольно
3. Чистая математика	плох
4. Французский язык	виноградн. много
5. Немецкий язык	пива очень много
6. Рисование и чистописание . . .	одну настойку
7. Греческий язык[2]	все употребляет

[1] Искаженное *фр.* plaisir — удовольствие.

[2] У меня было написано *«Отец законоучитель»...* цензура заменила его *греческим учителем! (Примеч. А. И. Герцена.)*

После этих антропологических отметок Иван Афанасьевич написал соответственную им программу:

Ведро саитуринского	16 руб.	
½ ведра настойки	8 »	
½ ведра пива	4 »	
2 бутылки меду	—	50 коп
Судацкого 10 бутылок	10 »	
3 бутылки ямайского	4 »	
Сладкой водки штоф	2 »	50 коп
	Итого: 45 руб.	

Медузин был доволен сметой: не то чтоб очень дорого, а выпить довольно; сверх того, он ассигновал значительные деньги на покупку визиги для пирогов, ветчины, паюсной икры, лимонов, селедок, курительного табаку и мятных пряников, — последнее уже не по необходимости, а из роскоши.

Гости собрались в седьмом часу. В девять с Кафернаумского шел уже проливной дождь; в десять учитель географии, разговаривая с учителем французского языка о кончине его супруги, помер со смеху и не мог никак понять, что, собственно, смешного было в кончине этой почтенной женщины,—но всего замечательнее то, что и француз, неутешный вдовец, глядя на него, расхохотался, несмотря на то что он употреблял одно виноградное. Медузин показывал сам пример гостям: он пил беспрестанно и все, что ни подавала Пелагея, — пунш и пиво, водку и сантуринское, даже успел хватить стакан меду, которого было только две бутылки; ободренные таким примером гости не отставали от хозяина; один Круциферский, приглашенный хозяином для почета, потому что он принадлежал к высшему ученому сословию в городе, — один Круциферский не брал участия в общем шуме и гаме; он сидел в углу и курил трубку. Зоркий взгляд хозяина добрался наконец до него.

— Дмитрий Яковлевич, вы-то что же пуншику-то с лимончиком?.. Ну, что, право, сидите голову повеся, сами не пьете, другим мешаете.

— Вы знаете, Иван Афанасьевич, что я никогда не пью.

— И знать, любезнейший мой, не хочу такого вздору, пьешь не пьешь, а с друзьями выпить надобно;

дружеская беседа, да... Пелагея, подай стакан пуншу да гораздо покрепче.

Последнее замечание, вероятно, хозяин основал на том, что Круциферский и послабже не хотел.

Принесла Пелагея стакан кизлярки, в которой лежал, должно быть, мертво пьяный кусок лимону и в которой бесследно пропали несколько чайных ложек кипятку. Круциферский взял стакан, чтоб отделаться от хозяина, в надежде, что найдет случай три четверти выплеснуть за растворенное окно. Это было не так легко, потому что Медузин, посадивши кого-то за себя поиграть в бостон, подсел к Круциферскому.

— Вот, Дмитрий Яковлевич, я тебе искренно скажу, ты меня обязал, истинно дружески обязал, а то как в твои лета, сидишь дома назаперти; конечно, у тебя есть там хозяюшка молодая, ну, да ведь надобно же и в свет-то иной заглянуть. Ну, дай же, Дмитрий Яковлевич, я тебя за это поцелую, — и, не дожидаясь разрешения и несмотря на то что от него пахло точно из растворенной двери питейного дома, вылитографировал довольно отчетливо толстые губы свои на щеке Круциферского. А вслед за тем, не говоря худого слова, обнял Дмитрия Яковлевича и Кафернаумский, с которого пот лился ручьями. Желая просушить лицо, без явной обиды собрату по просвещению юношества, Круциферский отошел в угол и вынул платок. Спиною к нему стоял неутешный вдовец и учитель французского языка с Густавом Ивановичем, учителем немецкого языка, который в сию минуту был налит пивом до конца ногтей и курил трубку с перышком. Ни тот, ни другой не заметили Круциферского и продолжали вполголоса разговор. Само собою разумеется, что Круциферскому вовсе не хотелось подслушать, что они говорят, но фамилия Бельтова, произнесенная довольно громко, рядом с его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.

— Это старый штук, — говорил француз, погладивши как-то все русские буквы,—и если Адан не носил рок, то это оттого, что он бил одна мушина в Эден.

— Та,—отвечал Густав Иванович,—та! Этот Пельгтоф, это точна Тон-Шуан, — и через минуту громко расхохотался; минуту эту, по немецкому обычаю, он провел в глубокомысленном обсуживании, что сказал французский учитель об Адаме; добравшись наконец

до смысла, Густав Иванович громко расхохотался и, вынимая из чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами, присовокупил с большим довольством: «Ich habe die Pointe, sehr gut»[1]

Но наибольшее действие этот рассказ сделал не на Густава Ивановича, а на человека, который почти не слыхал его, то есть на Круциферского. Что это значит — эти две фамилии, рядом поставленные? Да как же это, неужели страшная тайна, которую он едва подозревал, в которой он себе не смел признаться, сделалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили, — и вот они стоят еще на том же месте, и Густав Иванович продолжает хохотать... Круциферскому показалось, что у него в груди что-то оборвалось и что грудь наполняется горячей кровью, и все она подступает выше и выше, и скоро хлынет ртом... Голова у него кружилась, перед глазами прыгали огоньки, он боялся встретиться с кем-нибудь взглядом, он боялся упасть на пол — и прислонился к стене... Вдруг чья-то тяжелая рука схватила его за рукав; он весь содрогнулся; что еще будет? — думал он.

— Нет, любезный Дмитрий Яковлевич, честные люди так не поступают, — говорил Иван Афанасьевич, держа одной рукой Круциферского за рукав, а другою стакан пуншу, — нет, дружище, припрятался к сторонке, да и думаешь, что прав. У меня такой закон: бери не бери, твоя воля, а взял, так пей.

Круциферский, долго всматриваясь и вслушиваясь, — вроде того, как Густав Иванович изучал замечание французского учителя, — наконец смутно понял, в чем дело, взял стакан, выпил его разом и расхохотался.

— Вот люблю, можно чести приписать! Каков? А говорит — не пью, экой хитрец! Ну, Дмитрий Яковлевич, Митя, выпей еще стаканчик... Пелагея, — присовокупил Медузин, вытаскивая из стакана Круциферского собственным (обходительным) пальцем своим кусок лимона, — еще пуншу да покрепче... Выпьешь?

— Давайте.

— Браво, браво!..

И Медузин только потому не поцеловал Круцифер-

---

[1] Я понял, в чем соль, очень хорошо! (*нем.*)

ского, что рот его был занят лимоном, который он съел с кожей и с косточками, прибавляя в виде объяснительной комментарии: «Кисленькое-то славно, когда фундамент выведен».

Пунш принесли, Круциферский выпил его, как стакан воды. Никто не заметил, что он был бледен, как воск, и что посинелые губы у него дрожали, может, потому, что гостям казалось, что весь земной шар дрожит.

Между тем как дело шло на пульку, неутомимая Пелагея принесла на маленький столик поднос с графином и стаканчиками на ножках, потом тарелку с селедками, пересыпанными луком. Селедки хотя и были нарублены поперек, но, впрочем, не лишены ни позвоночного столба, ни ребер, что им придавало особенную, очень приятную остроту. Игра кончилась мелким проигрышем и крупным ругательством между людьми, жившими вместе целый бостон. Медузин был в выигрыше, а следовательно, в самом лучшем расположении духа.

— Полноте, полноте! — кричал он. — Пойдемте-ка лучше да с божьим благословением хватимте кантафресного.

Иван Афанасьевич постоянно называл настойку кантафресным, почему — не знаю, но полагаю, по достаточным и верным латинским источникам.

Гости отправились к столу.

— Дмитрий Яковлевич! Уж, верно, ты не откажешься и от кантафресного?

— Давайте и кантафресного, — отвечал Круциферский и опрокинул в горло огромную рюмку пенника, испорченного разными травами, отвратительными на вкус и полезными, как думают легковерные люди, для желудка.

Восторг гостей был неописанный; но Пелагея принесла баснословной величины пирог с визигой... Я, впрочем, полагаю, что мы довольно ознакомились с характером валтасаровского празднества, которым Медузин праздновал свое тезоименитство; тем более не считаю нужным описывать продолжение его, что могу уверить читателей в том, что праздник продолжался совершенно в том же направлении и на тех же основаниях.

На другой день Круциферский имел длинный разговор с Любовью Александровной; она поднялась в его глазах опять так высоко, так недосягаемо высоко; он

был способен понять и оценить ее... но что-то отлетело между ними, и страшная мысль: «об этом говорят» — уничтожала его. Он, впрочем, насчет этого не сказал ей ни слова; ему было тяжело с ней говорить, и он торопился в гимназию; пришедши туда прежде окончания другой лекции, он стоял у окна в рекреационной зале. Давно ли он так спокойно смотрел из этого окна, давно ли, на верху человеческого счастия, он так торопился бежать домой? И вдруг все переменилось: он хотел бы бежать из дому... и между тем он был подавлен ее величием и силой, он понял, что она страдает не меньше его, но что она скрывает эти страдания из любви к нему... «Из любви ко мне! Но разве она любит меня, разве можно любить бревно, лежащее на дороге к счастью?.. Зачем я не умел скрыть, что все знаю; если б я был осторожнее, она не столько бы страдала, а я все сделал бы, чтоб она была счастлива; но что же делать; бежать, бежать — куда?..»

. . . .
. . . .

Его остановил Анемподист Кафернаумский. Он, видимо, еще не оправился от вчерашнего раута; глаза у него были красны и окружены каким-то пухлым кругом, как бывает луна зимою в морозные дни, на щеках и носу проступали сизые пятна.

— Что, почтеннейший, — сказал Кафернаумский, отирая пот с лица, — трещит?

Круциферский промолчал.

— Я сам едва жив.

Видала ль ты обломки корабля?
Видала, но почто? Се жизнь теперь моя...

Каков-с Медузин-то? Старый пес, расходился как! Да вы, Дмитрий Яковлевич, поправлялись? То есть, клин клином-то...

— Как, поправлялся ли?

— А вот я вам покажу как; и видно, что еще новичок! Пойдемте-ка ко мне. Я ведь тут возле живу, —

Ради рома и арака
Посети домишко мой.

Круциферский отправился к Кафернаумскому. Зачем? Этого он сам не знал. Кафернаумский вместо

рома и арака предложил рюмку пеннику и огурцы: Круциферский выпил и к удивлению увидел, что в самом деле, у него на душе стало легче; такое открытие, разумеется, не могло быть более кстати, как в то время, когда безвыходное горе разъедало его.

. . . .
. . . .

Часов в десять с небольшим Семен Иванович Крупов явился в небольшую залу «Города Кересберг» и принялся прохаживаться взад и вперед, с лицом озабоченным и сердитым. Минут через пять дверь из комнаты Бельтова отворилась, и вышел Григорий, со щеткой в руке и с пальто на руке.

— Что, небось еще спит?

— Сейчас проснулись, — отвечал Григорий.

— Скажи ему, что я пришел и имею до него дело.

— Семен Иванович! — закричал Бельтов. — Семен Иванович! Милости просим, — и показался в дверях.

— Имеете вы,— спросил он, — полчаса времени для меня?

— Хоть целый день! — отвечал Бельтов.

— Да не помешал ли я вам? Вы, кажется, по утрам занимаетесь политической экономией, что ли?

Старик нисколько не скрыл иронический тон вопроса.

— Вы, кажется, сегодня и рано встали с постели, да только левой ногой, — заметил Бельтов, до высочайшей степени кротко принимавший замечания старого ворчуна.

— Стало, я встал с той ноги, с которой хотел.

— Итак,— сказал Бельтов, указывая на дверь.

Крупов молча вошел в нее.

— Владимир Петрович! — начал Крупов, и сколько он ни хотел казаться холодным и спокойным, не мог,— я пришел с вами поговорить не сбрызгу, а очень подумавши о том, что делаю. Больно мне вам сказать горькие истины, да ведь не легко и мне было, когда я их узнал. Я на старости лет остался в дураках; так ошибся в человеке, что мальчику в шестнадцать лет надобно было бы краснеть.

Бельтов смотрел на старика с удивлением.

— Коли я уж начал говорить, так буду, как македонский солдат, вещи называть своим именем, а там

что будет, не мое дело; я стар, однако трусом меня никто не назовет, да и я, из трусости, не назову неблагородного поступка — благородным.

— Послушайте, Семен Иванович! Я уверен, что вы не трус, да еще более уверен в том, что и меня вы не считаете за труса, но мне бы очень было неприятно стать в необходимость доказывать это вам, которого я искренно уважаю; я вижу, вы раздражены, а потому, что бы ни было, сделаемте условие не употреблять грубых выражений; они имеют странное свойство надо мной: они меня заставляют забыть все хорошее в том, кто унижается до ругательств. Бранью вы ничего не объясните, а потому к делу, и извините за aviso[1].

— Хорошо-с; я буду, милостивый государь, вежлив, чрезвычайно вежлив. Позвольте мне иметь смелость, Владимир Петрович, вас спросить — знаете вы или нет, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четыре года ходил радоваться, которая мне заменяла мою собственную семью; вы отравили ее, вы сделали разом четырех несчастных. Из сожаления к вашему одиночеству я ввел вас в эту семью; вас приняли, как родного, вас отогрели там, а вы чем отблагодарили? Извольте знать, муж не нынче-завтра повесится или утопится, не знаю, в воде или вине; она будет в чахотке, за это я вам отвечаю; ребенок останется сиротою на чужих руках, и, в довершение, весь город трубит о вашей победе. Позвольте же и мне вас поздравить!

Благородный старик дрожал от гнева, говоря последние слова.

— А может, вам это ничего, с высшей точки зрения, — прибавил он, погодя немного.

Бельтов встал с дивана и быстро ходил по комнате; потом он вдруг остановился перед стариком.

— Позвольте мне вас теперь спросить: кто вам дал право так дерзко и так грубо дотрогиваться до святейшей тайны моей жизни? Почему вы знаете, что я не вдвое несчастнее других? Но я забываю ваш тон; извольте, я буду говорить. Что вам от меня надобно знать? Люблю ли я эту женщину? Я люблю ее! Да, да! Тысячу раз повторяю вам: я люблю всеми силами души моей эту женщину! Я ее люблю, слышите?

---

[1] предупреждение (*ит.*).

— Так зачем же вы ее губите? Если б вы были человек с душою, вы остановились бы на первой ступени, вы не дали бы заметить своей любви! Зачем вы не оставили их дом? Зачем?

— Вы проще спросите: зачем я живу вообще? Действительно, не знаю! Может, для того, чтоб сгубить эту семью, чтоб погубить лучшую женщину, которую я встречал. Вам все это легко и спрашивать и осуждать. Видно, в вас сердце-то смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь в воспоминании. Извольте, я буду отвечать на ваши вопросы. Да! Я чувствую теперь потребность не оправдываться, — я не признаю над собою суда, кроме меня самого, — а говорить; да сверх того, вам нечего больше мне сказать: я понял вас; вы будете только пробовать те же вещи облекать в более и более оскорбительную форму; это наконец раздражит нас обоих, а, право, мне не хотелось бы поставить вас на барьер, между прочим, потому, что вы нужны, необходимы для этой женщины.

— Говорите, говорите; я буду слушать.

— Я приехал сюда в одну из самых тяжелых эпох моей жизни. В последнее время я расстался с заграничными друзьями; здесь не было ни одного человека, близкого мне; я толкнулся к некоторым в Москве — ничего общего! Это укрепило меня еще более в намерении ехать в NN. Вы знаете, что́ здесь было и весело ли я жил. Вдруг я встречаю эту женщину... Вы ее любите, уважаете, но вы ее совсем не знаете, так точно, как не знаете меня. Вы дорого оценили ее семейное счастье, ее любовь к мужу, к ребенку — только; не сердитесь — есть минуты, в которые говорят не одни сладкие истины... Не думайте, чтобы внешняя близость или число лет распечатывали душу одного другому, — нисколько! Очень часто людей, живших лет двадцать вместе, в гроб кладут чужими, а иногда они и любят друг друга, да не знают, а братственное сочувствие в один миг раскрывает в десять раз больше. К тому же, по вашей привычке морализировать, вы на нее смотрели докторально, сверху вниз, а я, изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо! Как это сделалось в ней, что те результаты, за которые я пожертвовал полжизнию, до которых добился трудами и мучениями и которые так новы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто

выработанное,— были для нее простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновенны. Не знаю, я со многими людьми встречался, у каждого рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, чрез который он пересадить не может; в ней я не видел этого горизонта. Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали!.. Я отдохнул за весь холод, испытанный в моей жизни. Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье, и зачем он не остановился? Это наконец становится смешно, столько благоразумия у меня нет. Да и потом это вовсе было не нужно. Когда я отдал отчет, когда я сам понял — было поздно.

— Да скажите, наконец, какая же у вас цель? Ну, что же дальше?

— Я не думал об этом и ничего не могу сказать вам.

— Вот вам перед глазами зато и лежат плоды необдуманности.

— Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды, что я ждал, чтоб вы пришли мне рассказать? Прежде вас я понял, что мое счастье потускло, что эпоха, полная поэзии и упоенья, прошла, что эту женщину затерзают... потому что она удивительно высоко стоит. Дмитрий Яковлевич хороший человек, он ее безумно любит, но у него любовь — мания; он себя погубит этой любовью, что ж с этим делать?.. Хуже всего, что он и ее погубит.

— Как же, по-вашему, ему следовало бы хладнокровно смотреть на то, что его жена любит другого?

— Я этого не говорю. Вероятно, ему следовало то делать, что он сделал; каждая натура очень верна себе, особенно в критические минуты. А знаете, чего ему не следовало делать? Сочетать свою жизнь с женщиной такой силы, как она.

— По несчастью, это я ему говорил перед свадьбой, но согласитесь, что теперь поздно об этом толковать и что до вашего приезда она была счастлива.

— Семен Иванович, это бы не осталось так навсегда. Такого рода недоразумения рано или поздно всплывают; как это вы так непоследовательны?!

— Право, это дело мудреное! Ох, то-то недаром всегда говорил я, что семейная жизнь — вещь

преопасная, да проповедовал, как Иоанн в пустыне; никто меня не слушал. Хоть бы вы из сострадания просто...

— Я, право, не знаю, чего вы от меня хотите? После ее болезни я стал замечать ее грусть и его немое безвыходное отчаяние. Я почти перестал ходить к ним, вы это знаете, а чего мне это стоило, знаю я; двадцать раз принимался я писать к ней — и, боясь ухудшить ее состояние, не писал; я бывал у них — и молчал; в чем же вы меня упрекаете, что вы хотите от меня, надеюсь, что не простое желание бросить в меня несколько оскорбительных выражений привело вас ко мне?

— Владимир Петрович, ну, докажите же, что вы сильный человек; я верю, что вам это трудно, ну, все же принесите жертву, большую жертву... А мы, может, спасем эту женщину; Владимир Петрович, уезжайте отсюда!..

И какая-то нежность в тоне заменила натянутую жесткость... голос у старика дрожал. Он любил Бельтова.

Бельтов открыл свой портфель, порылся в бумагах и подал ему начатое письмо.

— Прочтите, — сказал он.

Письмо было к матери; он извещал ее о своем твердом намерении опять ехать за границу и притом очень скоро.

— Вы видите, я еду. И вы думаете, что вы спасете ее этим, — спросил он грустно, качая головой,—добрейший Семен Иванович?

— Да что же делать? — спросил Крупов с каким-то отчаянием.

— Не знаю, — отвечал Бельтов.—Семен Иванович, я напишу к ней письмо и принесу его к вам, вы отдадите, честное слово?

— Отдам, — отвечал Крупов.

Бельтов проводил Семена Ивановича, печального и расстроенного, до дверей.

Потом он воротился к своему столику и бросился на диван в каком-то совершенном бессилии; видно было, что разговор с Круповым нанес ему страшный удар; видно было, что он не мог еще овладеть им, сообразить, осилить. Часа два лежал он с потухнувшей сигарой, потом взял лист почтовой бумаги и начал писать.

Написавши, он сложил письмо, оделся, взял его с собою и пошел к Крупову.

— Вот письмо, — сказал Бельтов.— Можете вы, Семен Иванович, доставить мне случай с ней видеться при вас на две минуты или нет?

— Да зачем?

— Что вам до этого, хуже от этого не будет. Если в вас когда-нибудь была малейшая привязанность ко мне, вы это сделаете.

— Когда вы едете?

— Завтра утром.

— Будьте в восемь часов в саду.

Бельтов пожал ему руку.

— А я видел сегодня *его* в самом жалком положении.

— Перестаньте; ни слова, Семен Иванович, умоляю вас.

Бледная, исхудавшая, с заплаканными глазами, шла несчастная Любовь Александровна под руку с Круповым; она была в лихорадке, выражение ее глаз было страшно. Она знала, куда она шла, и знала зачем. Они пришли к заветной лавочке и сели на нее; она плакала, в руках ее было письмо; Семен Иванович, не находивший даже нравоучительных замечаний, обтирал слезу за слезою.

Подошел Бельтов; все светлое в лице его исчезло, в каждой черте видно было нестерпимое страдание; он взял ее руку. Он был похож на мертвеца.

— Прощайте, — сказал он ей едва внятным голосом, — я опять скитаться; но наша встреча, но ваш образ сохранится во мне... он меня утешит в последнюю минуту жизни.

— Навсегда? — спросила она.

Он молчал.

— Боже мой! — сказала она и умолкла. — Прощайте, Вольдемар, — прибавила она шепотом, и потом вдруг, как будто силы ее разом удесятерились, она встала и, сжимая руку его, сказала громко и ясно: — Вольдемар, помните, что вы любимы беспредельно... беспредельно любимы, Вольдемар!

Она встала, он не удерживал ее; в ней достало духу идти более твердым шагом, нежели как она пришла.

Он смотрел им вслед, провожал донельзя мелькание

белого бурнуса между березками. Она не имела силы обернуться. Вольдемар остался. «Да неужели,—думал он, — я должен оставить ее, и навсегда!» Он положил голову на руку, закрыл глаза и с полчаса сидел уничтоженный, задавленный горем, как вдруг кто-то его назвал по имени; он поднял голову и едва узнал общее советничье лицо советника; Бельтов сухо поклонился ему.

— Вы, кажется, Владимир Петрович, приходите сюда отдаваться мечтаниям и размышлениям.

— Да, и поэтому люблю быть один.

— Это точно-с, доложу вам, что может быть приятнее для образованного человека, как одиночество, — заметил советник, садясь на лавку, — а впрочем, есть и компания иногда не хуже одиночества. Я сейчас встретил Крупова, Семена Ивановича, он такую себе подцепил дамочку.

Бельтов встал в ту же минуту, как советник сел, и хотел идти, но он его остановил последними словами. Насмешливый вид советника очень хорошо показывал, с какой целью он это говорил. Всего вероятнее, что он и в сад попал по тайному поручению какой-нибудь Марьи Степановны.

— Я знаю даму, с которой шел Крупов, — сказал Бельтов, задыхаясь от ярости.

— Да как, чай, вам не знать, ха, ха, ха! — заметил развязный советник. — Уж вы, молодые люди, знаете всех хорошеньких.

— Вы или сумасшедший, или дурак! В обоих случаях прощайте, — сказал Бельтов и отправился по аллее.

— Как вы осмелились меня так назвать! — вскричал советник, покрасневши, как пион, и вскакивая с лавки.

Бельтов остановился.

— Что вы хотите от меня, — спросил он советника, — стреляться с вами? Извольте! Как ни гадко, я стану; если ж нет, вы меня извините, я имею скверную привычку отгонять тростью тех, которые мне мешают гулять.

— Как тростью? — спросил советник. — Да кто вы такой, что смеете тростью угрожать?

Во всяком другом случае Бельтов расхохотался бы от всего сердца над милым советником, но в эту

минуту, когда он и без него был так сильно раздражен и вряд ли хорошо помнил, что делает, он показал советнику *как*. Советник удивился; Бельтов ушел.

На другой день утром, пока Григорий укладывал и хлопотал, Бельтов ходил по комнате; у него в уме и в груди была какая-то пустота, точно полжизни, полсуществования кануло в воду и нет ее, так что-то страшно и больно, какой-то трепет, — и вдруг навернутся слезы. Десять раз Григорий обращался к нему с вопросом, и он отвечал «все равно», и действительно в эту минуту ему было не только все равно, какое пальто надеть на дорогу, а даже по какой дороге ехать, в Париж или Тобольск. Вошел Семен Иванович, совсем не так, как вчера: на глазах его видны были следы слез, он как-то вошел тихо, чистил шляпу рукавом, постоял у окна, заметил Григорью, что вага у дормеза не хорошо привязана, и вообще был не в своей тарелке.

— Довольны мною, Семен Иванович? — сказал со смехом и со слезами Бельтов.

— Я оскорбил вас вчера; ну, что делать, простите меня... если вы так уедете...

И у старика голос замер.

— Полноте, полноте, Семен Иванович, что вы это?

И Бельтов протянул ему обе руки.

— Вот еще что: примите от меня в знак памяти, я истинно вас любил и хочу вам... — и он ему подал довольно большой сафьяновый портфель,— хочу вам отдать вещь дорогую, очень дорогую мне.

Бельтов развернул портфель, взглянул на старика и бросился к нему на шею; старик рыдал и приговаривал: «Самому смешно, право, из ума выживаю. Экая глупость, под старость плаксой стал».

Бельтов бросился на стул и держал перед собою портфель... Это был акварельный портрет Любови Александровны.

Крупов стоял перед ним, и чтоб окончательно уверить Бельтова, что он вовсе ничего не чувствует, делал следующие комментарии, отирая украдкой слезы:

— Года два тому назад здесь проезжал англичанин-живописец, хороший живописец; он большие масляные портреты делал; вот губернаторшин портрет, что висит в кабинете, он писал; я уговорил Любовь Алек-

сандровну посидеть, — всего три сеанса... думала ли она?..

Бельтов не слушал его, а потому беда была не велика, когда речь Крупова перервал хозяин трактира, который, запыхавшись, возвестил приезд господина полицеймейстера.

— Что ему надобно? — спросил Бельтов.

— Имеет до вашей милости дело, — отвечал трактирщик.

— Скажи, что я дома.

Полицеймейстер вошел, страшно гремя саблею; вдали сквозь растворенную дверь виднелся тощий комиссар и половой, державший в страхе в руках шинель полицеймейстера.

Бельтов встал и всею фигурою своей выразил вопрос, так что слов не нужно было. Вопрос был, естественно, тот: *за коим диаволом?*

— Мне очень жаль, Владимир Петрович, что я должен остановить вас на несколько минут; вы, кажется, намерены отбыть из нашего города?

— Да.

— Генерал вас просит побывать к нему. Фирс Петрович Елканевич подал на вас, партикулярным письмом, жалобу его превосходительству насчет оскорбления его чести. Мне очень совестно; согласитесь сами — долг службы; сами изволите знать, мое дело — неумытное исполнение.

— Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте вас спросить, это надолго может меня остановить?

— Это будет зависеть от вас; господин Елканевич человек благородный: он, наверное, дела не затянет вдаль, если вы, изволите знать, объяснитесь.

— Да как тут объясняться?

— Ох, Владимир Петрович, что мне это с тобою делать? Ничего, право, не понимаешь,—заметил Крупов. — Ну, хотите, я с господином полицеймейстером буду посредником и кончим в четверть часа?

— Очень бы обязали, истинно обязали бы.

— Помилуйте,—заметил полицеймейстер,—это священная обязанность наша, и самая приятная обязанность, когда можно эдак мирным образом и к общему удовольствию.

Так и случилось.

...Через две недели по этой дороге, по которой некогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихих лошадей, и которая шла от Белого Поля на большую дорогу, подымался дорожный дормез; Григорий сидел на козлах и закуривал трубку, ямщик убеждал лошадей идти дружнее и, чтоб ближе поддeлаться к их понятиям, произносил одни гласные: о... о... о... у... у... у... а... а... а... и т. д. А по сю сторону реки стояла старушка, в белом чепце и белом капоте; опираясь на руку горничной, она махала платком, тяжелым и мокрым от слез, человеку, высунувшемуся из дормеза, и он махал платком, — дорога шла немного вправо; когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облаком пыли, и пыль эта рассеялась, и, кроме дороги, ничего не было видно, а старушка все еще стояла, поднимаясь на цыпочки и стараясь что-то разглядеть.

Скучно и пусто сделалось старушке в Белом Поле; бывало, все же в неделю раз-другой приедет Вольдемар, она так привыкла слышать издали, еще с горы, бубенчики и выходить к нему навстречу на тот балкон, на котором она некогда ждала его, загорелого отрока с светлым лицом. Ее что-то звало в NN: там жила женщина, любимая ее сыном, несчастная жертва любви к нему. И в самом деле, старушка переехала туда к зиме. Она застала Любовь Александровну потухающею, ненадежною; Семен Иванович, сделавшийся вдвое угрюмее, качал головою, когда его спрашивали об ней; Дмитрий Яковлевич, задавленный горем, *молился богу* и пил. Софья Алексеевна просила позволения ходить за больной и дни целые проводила у ее кровати, и что-то высоко поэтическое было в этой группе умирающей красоты с прекрасной старостью, в этой увядающей женщине со впавшими щеками, с огромными блестящими глазами, с волосами, небрежно падающими на плечи,— когда она, опирая свою голову на исхудалую руку, с полуотверстым ртом и со слезою на глазах внимала бесконечным рассказам старушки матери об ее сыне— об их Вольдемаре, который теперь так далеко от них...

<1841—1846>

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



СОРОКА-ВОРОВКА

Повесть

(ПОСВЯЩЕНО МИХАЙЛУ СЕМЕНОВИЧУ ЩЕПКИНУ)

Твой дом, украшенный богато,
Гостям-согражданам открыт;
Там Терпсихора и Эрато
С подругой Талией гостит;
Хозяин, ласковый душою,
Склоняет к ним приветный взор.
«Украинский вестник на 1816 год»

Заметили ли вы, — сказал молодой человек, остриженный под гребенку, продолжая начатый разговор о театре,— заметили ли вы, что у нас хотя и редки хорошие актеры, но бывают, а хороших актрис почти вовсе нет и только в предании сохранилось имя Семеновой; не без причины же это.

— Причину искать недалеко; вы ее не понимаете только потому, — возразил другой, остриженный в кружок, — что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы, возбуждать в ней те чувства, которые она приносит в исключительный дар своему главе; ее место дома, а не на позорище. Незамужняя — она дочь, дочь покорная, безгласная; замужем — она покорная жена. Это естественное положение женщины в семье если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов.

— Отчего же у немцев, — заметил третий, вовсе не стриженный,— семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у нас, и это нисколько не мешает появлению хороших актрис? Да потом я и в главном не согласен с вами: не знаю, что делается около очага у западных славян, а мы, русские, право, перестаем быть такими патриархами, какими вы нас представляете.

— А позвольте спросить, где вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высших сословий, живущих особою жизнию, в городах, которые оставили сельский быт, один народный у нас, по большим дорогам, где

мужик сделался торгашом, где ваша индустрия развратила его довольством, развила в нем искусственные потребности? Семья не тут сохранилась; хотите ее видеть, ступайте в скромные деревеньки, лежащие по проселочным дорогам.

— Однако, странное дело, большие дороги, города, все то, что хранит и развивает других, вредно для славян, так, как вам угодно их представлять; по-вашему, чтоб сохранить чистоту нравов, надобно, чтоб не было проезда, сообщения, торговли, наконец, довольства, первого условия развивающейся жизни. Конечно, и Робинзон, когда жил один на острове, был примерным человеком, никогда в карты не играл, не шлялся по трактирам.

— Все можно представить в нелепом виде; шутка иногда рассмешит, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которых при всей ловкости западного ума вы не поймете, ну, так не поймете, как человек, лишенный уха, не понимает музыки, что ему вовсе не мешает быть живописцем или чем угодно. Вы не поймете никогда, что бедность, смиренная и трудолюбивая, выше самодовольного богатства. Вы не поймете нашего семейного, отеческого распорядка ни в избе, где отец — глава, ни в целом селе, где глава общины — отец. Вы привыкли к строгим очертаниям прав, к рамам для лиц, сословий, к взаимному обузданью и недоверью, — все это необходимо на Западе: там все основано на вражде, там вся задача государственная, как сказал ваш же поэт, в ловкой борьбе:

Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.

— Этой дорогой я не думаю, чтоб мы скоро добрались до решения вопроса, отчего у нас редки актрисы, — сказал начавший разговор. — Если для полноты ответа вы хотите chemin faisant[1] разрешить все исторические и политические вопросы, то надобно будет посвятить на это лет сорок жизни, да и то еще успех сомнителен. Вы, любезный славянин, сколько я понимаю, хотите сказать, что у нас оттого нет актрис, что женщина существует не как лицо, а как член семейства, которым она поглощается: тут много истинного. Одна-

[1] попутно (*фр.*).

ко вы полагаете, что семейство — в маленьких деревеньках; ну, а ведь актрисы берутся не из этих же деревенек, к которым нет проезда.

— Здесь позвольте мне отвечать вам,—заметил европеец (так мы будем называть нестриженого), — у нас вообще и по шоссе, и по проселочным дорогам женщина не получила того развязного права участия во всем, как, например, во Франции; встречаются исключения, но всегда неразрывные с каким-то фанфаронством, — лучшее доказательство, что это исключение. Женщина, которая бы вздумала у нас вести себя наравне с образованным мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотела бы выказать свое освобождение.

— Конечно, такая женщина была бы урод; и по счастию, — возразил славянин, — не у нас надобно искать la femme émancipée[1], да и вообще надобно ли ее где-нибудь искать, — я не знаю. Вот что касается до человеческих прав, то обратите несколько внимания на то, что у нас женщина пользовалась ими с самой глубокой древности больше, нежели в Европе, ее именье не сливалось с именьем мужа, она имеет голос на выборах, право владения крестьянами.

— Конечно, из прав, которыми пользуются у нас дамы, не все принадлежат европейской женщине. Но, извините, здесь речь вовсе не о писанных правах, а именно о правах неписанных, об общественном мнении. Что сказали бы мы сами, если бы в нашу беседу, очень тихую и не имеющую в себе ничего оскорбительного, вдруг явилась одна из знакомых дам? Я уверен, что и нам и ей было бы не по себе; мы совсем иначе настроиваем себя, если предвидим дамское общество: в этом недостаток уважения к женщине.

— Как вы начитались Жоржа Санда. Мужчина вовсе не должен быть с женщинами нараспашку; и зачем женщина пойдет делить его беседу? Мне ужасно нравятся мужские собрания, в которые не мешаются дамы, — в этом есть что-то строгое, неизнеженное.

— И чрезвычайно гуманное относительно женщин, которые покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы в запорожские казаки, если б попрежде родились.

— Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русского не прибрали, чтоб ее выразить. Как будто ма-

[1] эмансипированную женщину (*фр.*).

ло женщине дела в скромном кругу домашней жизни; я не говорю уж о матери, которой обязанности и так святы и так сложны.

— Ох, этот скромный круг! Император Август, который разделял ваши славянские теории, держал дочь дома и с улыбкой говорил спрашивавшим о ней: «Дома сидит, шерсть прядет». Ну, а знаете, нельзя сказать, чтоб нравы ее сохранились совершенно чистыми. Помоему, если женщина отлучена от половины наших интересов, занятий, удовольствий, так она вполовину менее развита и, браните меня хоть по-чешски, вполовину менее нравственна: твердая нравственность и сознание неразрывны.

— Теперь мой черед вам возражать, — сказал начавший разговор. — Каждый видел своими собственными глазами, что у нас в образованных сословиях женщины несравненно выше своих мужей; вот и ловите жизнь после этого общими формулами. Дело очень понятное. Мужчина у нас не просто мужчина, а военный или статский; он с двадцати лет не принадлежит себе, он занят делом: военный — ученьями, статский — протоколами, выписками, а жены в это время, если не ударятся исключительно в соленье и варенье, читают французские романы.

— Поздравляю их. Должно быть хорошо образование, — вставил славянин, — которое можно почерпнуть из Бальзака, Сю, Дюма, из этой болтовни старика, начинающего морализировать от истощенья сил.

— Я с вами, пожалуй, соглашусь, хоть я и не говорил, что дамы читают именно те романы, о которых вы говорите; и тут, удивительное дело, самые пустые французские романы больше развивают женщину, нежели очень важные занятия развивают их мужей, и это отчасти оттого, что судьба так устроила француза: что б он ни делал, он все учит. Он напишет дрянной роман с неестественными страстями, с добродетельными пороками и с злодейскими добродетелями да по дороге или, вернее, потому, что это совсем не по дороге, коснется таких вопросов, от которых у вас дух займется, от которых вам сделается страшно, а чтоб прогнать страх, вы начнете думать. Положим, что вопросов-то и не разрешите вы, да самая возбужденность мысли есть своего рода образование. Вот, видя это отношение женского образования у нас к мужскому, я и удивляюсь, что нет актрис.

— Да что же вам еще надо, — возразил с запальчивостью славянин, — у нас нет актрис потому, что занятие это несовместно с целомудренною скромностью славянской жены: она любит молчать.

— Давно бы вы сказали, — прибавил европеец,—вы больше объяснили, нежели хотели. Теперь ясно, отчего у нас актрис нет, а танцовщиц очень много. Но шутки в сторону. Я думаю, у нас оттого нет актрис, что их заставляют представлять такие страсти, которых они никогда не подозревали, а вовсе не от недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистом, должно быть ему коротко знакомо для того, чтоб его выразить не карикатурно. Китайца в «Opium et champagnê»[1] ничего не значит представить, но есть ли возможность, чтоб я хорошо сыграл индейского брамина, повергнутого в глубокое отчаяние оттого, что он нечаянно зацепился за парию, или боярина XVII столетия, который в припадке аристократического местничества, из point d'honneur, валяется под столом, а его оттуда тащат за ноги. Если б, в самом деле, у нас женщина не существовала как лицо, а была бы совершенно потеряна в семействе, тут нечего было бы и думать об актрисе. В пастушеской жизни, как и везде, могут быть страсти, но не те, которые возможны в драме, — слепая покорность, коварная скрытность, двоедушие так же мало идут в истинную драму, как подлое убийство, как чувственность. Необразованная семья слишком неразвита, она семья, — а в драме нужны лица. По счастью, такая семья только и существует в преданиях да в славянских мечтах. Но если мы и перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтоб глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как сыграет русская актриса Деву Орлеанскую? это не в ее роде совсем; или: как русский актер воссоздаст эти величавые и мрачные, гордые и самобытные шекспировские лица, окружающие его Иоанна, Ричарда, Генрихов, — лица совершенно английские? Они для него так же странны, как человек, который бы нюхал глазами и ушами пел бы песни. Фальстафа он представит скорее, потому что в Фальстафе есть черты, которые мы можем видеть во всяком доме, во всяком уездном городе...

[1] «Опиум и шампанское» (*фр.*).

— Но есть же и общечеловеческие страсти?

— И да и нет. Отелло был ревнив по-африкански и задушил невинную Дездемону, потом зарезался, называя себя «собакой». А у меня был приятель, сосед по имению, тоже преревнивый; он перехватил раз письмо, писанное к его жене и притом очень недвусмысленное; в припадке ярости он употребил отеческую исправительную меру, приобщил к ней всю девичью, отдал в солдаты лакея — и помирился с женою. Ревность—одна страсть, но похожа ли она в бешеном мавре и в нравоучительном приятеле? До некоторой степени можно натянуть себя на пониманье чуждого положения и чуждой страсти, но для художественной игры этого мало. Поверьте, так как поэт всюду вносит свою личность, и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце; то же с актером: чему он не сочувствует, того он не выразит или выразит учено, холодно; вы не забывайте, он все же себя вводит в лицо, созданное поэтом.

— О чем это вы так горячо проповедуете? — спросил, входя в комнату, один известный художник.

— Вот кстати-то, как нельзя больше; решайте нам вопрос, занимающий нас; мы единогласно выбираем вас непогрешающим судьей.

— Много чести. В чем же дело?

— Во-первых, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполне удовлетворила всем вашим требованиям на искусство?

— Которая была бы не хуже Марс, Рашель?

— Хоть Аллан и Плесси.

— Видел, — отвечал артист, — видел великую русскую актрису; только я ее сужу без всякого сравнения; все названные ваши актрисы хороши, велики, каждая в своем роде, но как их искусство относится к той, которую я видел, не знаю. Знаю, что я видел великую актрису и что она была русская.

— В Москве или Петербурге?

— Вот задача-то для нашего славянина, — подхватил один из говоривших, — как вы думаете, ведь театр-то более принадлежит петербургской эпохе, нежели московской. Ну, где же она была?

— Все-таки, должно быть, в Москве, — решительно возразил славянин.

— Успокойтесь. Я ее видел ни там, ни тут, а в одном маленьком губернском городе.

— Вы это, верно, говорите для оригинальности, хотите нас поразить эффектом.

— Может быть. Вы признали меня непогрешающим судьей — ваше дело верить. Ну, как я теперь вам докажу, что двадцать лет тому назад я видел великую актрису, что я тогда рыдал от «Сороки-воровки»[1] и что все это было в маленьком городке?

— Очень легко. Расскажите нам какие-нибудь подробности о ней: ведь не с неба же она свалилась прямо в «Сороку-воровку» и не улетела же вместе с безнравственной птицей.

— Пожалуй, — да только эти воспоминанья не отрадны для меня, как-то очень тяжелы. Но извольте, что помню — расскажу. Дайте сигару.

— Вот вам casadores cubrey, — сказал европеец, вынимая из портфеля длинную, стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежит к высшей аристократии табачного листа.

— Вы знаете человеческую слабость — о чем бы человек ни вспоминал, он начинает всегда с того, что вспомнит самого себя; так и я, грешный человек, попрошу у вас позволенья начать с самого себя.

— От души позволяем, от всей души.

— Не знаю, будут ли подробности об актрисе интересны, а об вас-то наверное:

Parlez-nous de vous, notre grand-père,
Parlez-nous de vous! [2] —

напевал европеец.

Все успокоились, все немножко подвинулись, как обыкновенно бывает, когда приготовляются слушать. Передаю здесь, насколько могу, рассказ художника; конечно, записанный, он много потеряет и потому, что трудно во всей живости передать речь, и потому, что я не все записал, боясь перегрузить статейку.

Но вот его рассказ.

---

[1] Историческая мелодрама (1815) Кенье и д'Обиньи.

[2] Расскажите нам о себе, дедушка, расскажите нам о себе! (*фр.*)

— Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре. Дела нашего театра порасстроились; я был уж женат, — надобно было думать о будущем. В самое это время распространялись более и более сказочные повествования о театре князя Скалинского в одном дальнем городе. Любопытство видеть хорошо устроенный театр, надежды, а может быть, и самолюбие, сильно манили туда. Долго думать было не о чем; я предложил одному из товарищей, который вовсе не предполагал ехать, отправиться вместе в N, и через неделю мы были там. Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете из этого заключить, что театр был не совсем дурен. В князе была русская широкая, размашистая натура: страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну, и при этом, как водится, непривычка обуздываться и расточительность в высшей степени. За последнее винить его не станем: это у нас в крови; я, небогатый художник, и он, богатый аристократ, и бедный поденщик, пропивающий все, что выработывает, в кабаке, — мы руководствуемся одними правилами экономии; разница только в цифрах.

— Мы — не расчетливые немцы, — заметил с удовольствием славянин.

— В этом нельзя не согласиться, — прибавил европеец. — Останавливался ли кто из нас мыслию, что у него денег мало, например, когда ему хотелось выпить благородного вина? За него, говорит Пушкин:

Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните ль, друзья?

Совсем напротив: чем меньше денег, тем больше тратим. Вы, верно, не забыли одного из наших друзей, который, отдавая назад налитой стакан плохого шампанского, заметил, что мы еще не так богаты, чтоб пить дурное вино.

— Господа, мы мешаем рассказу. Итак-с?

— Ничего. — Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и раздавал билеты, с глубоким обсуживанием, достоин или нет и какого именно места достоин приславший за билетом. «Очень рад, очень рад, что вы вздумали наконец по-

сетить наш театр, вы будете нашим дорогим гостем»,— и бездну любезностей; мне оставалось благодарить и кланяться. Князь говорил о театре как человек, совершенно знающий и сцену и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны друг другом.—В тот же вечер я отправился в театр; не помню, что давали, но уверяю, что такой пышности вам редко случалось видеть: что за декорации, что за костюмы, что за сочетание всех подробностей! Словом, все внешнее было превосходно, даже выработанность актеров, но я остался холоден: было что-то натянутое, неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс. Потом я дебютировал, был принят публикой как нельзя лучше: князь осыпал меня учтивостями. Приготовляясь ко второму дебюту, я пошел в театр. Давали «Сороку-воровку»; мне хотелось посмотреть княжескую труппу в драме.

Пьеса уже началась, когда я вошел; я досадовал, что опоздал, и рассеянно, не понимая, что делают на сцене, смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же, на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Вдруг меня поразил слабый женский голос; в нем выражалось такое страшное, глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата... Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. «Боже мой!» — думал я.— Откуда взялись такие звуки в этой юной груди; они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджей, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшные опыты». Она провожает отца до плетня, она стоит перед ним так просто, задумчиво; надежд мало его спасти,— и когда старик уходит, вместо слов, назначенных в роли, у нее вырвался неопределенный крик — крик слабого, беззащитного существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, через двадцать лет, я слышу этот раздирающий крик.

Он приостановился.

— Да, господа, — сказал он, помолчавши, — это была великая русская актриса!

Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», хоть

по россиниевской опере. Страшная пьеса, после которой ничего бы не оставалось на душе, кроме отчаяния, если бы не приделали мелодрамную развязку. Анету обвиняют в краже; подозрение имеет как будто полное право пасть на ее голову; как ее не подозревать? Она бедна, она служанка. Да и, наконец, если обвинение окажется несправедливым, что за беда; ей скажут: «Поди, голубушка, домой; видишь, какое счастие, что ты невинна!» А до какой степени все это вместе должно разбить, уничтожить оскорблением нежное существо — этого рассказать не могу; для этого надобно было видеть игру Анеты, видеть, как она, испуганная, трепещущая и оскорбленная, стояла при допросе; ее голос и вид были громкий протест — протест, раздирающий душу, обличающий много нелепого на свете и в то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностию, разливающей свой характер нежной грации на все ее движения, на все слова. Я был изумлен, поражен; этого я не ожидал. Между тем пьеса развивалась, обвинение шло вперед, бальи[1] хотел его для наказания неприступной красавицы; черные люди суда мелькали по сцене, толковали так глубокомысленно, рассуждали так здраво, — потом осудили невинную Анету, и толпа жандармов повела ее в тюрьму... да, да, вот как теперь вижу, бальи говорит: «Господа служивые, отведите эту девицу в земскую тюрьму», — и бедная идет! Но она останавливается еще раз. «Ришар, — говорит она, — я невинна, да неужели и ты не веришь, что невинна!» И тут уже среди стона угнетенной женщины звучит вопль негодования, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю унижения, после потери всех надежд, — развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности положения. Помните старый анекдот, как добрый немец закричал из райка людям убитого командора, искавшим Дон-Жуана: «Он побежал направо в переулок!»? Я чуть не сделал того же, когда Анету повели солдаты. Потом сцена в тюрьме с бальи. Развратный старик видит невиновность ее в краже и предлагает продажей чести купить свободу. Несчастная жертва вырастает, ее слова становятся страшны, и какая-то глубокая ирония лица удвоивает оскорбительную силу слов. Я как-то случайно

[1] судья (от *фр.* bailli).

взглянул в продолжение этой сцены на князя; он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. «Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой! Он, верно, умел вполне ценить такую актрису», — подумал я. Тихо, с опущенной головой, с связанными руками шла Анета, окруженная толпою солдат, при резких звуках барабана и дудки. Ее вид выражал какую-то глубокую думу и изумление. В самом деле, представьте себе всю нелепость: это дитя, слабое, кроткое, с светлым челом невинности, и французские солдаты с тесаками, с штыками, и барабаны; да где же неприятель? А неприятель-то — это дитя в середине их, и они победят его... но она останавливается перед церковью, бросается молча на колени, поднимает задумчивый взгляд к небу; не укор Прометея, не надменность Титана в этом взгляде, совсем нет, а так, простой вопрос: «За что же это? И неужели это правда?» Ее повели. Я рыдал, как ребенок. Вы знаете предание о «Сороке-воровке»; действительность не так слабонервна, как драматические писатели, она идет до конца: Анету казнили. В пьесе открывают, что воровка не она, а сорока, — и вот Анету несут назад в торжестве, но Анета лучше автора поняла смысл события; измученная грудь ее не нашла радостного звука; бледная, усталая, Анета смотрела с тупым удивлением на окружающее ликование, со стороною упований и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул; спасти его нельзя было; как мне жаль было эту девушку!..

— Фу, боже мой, — продолжал он, обтирая лицо платком, — я такую волю дал воображению и воспоминанию, что, кажется, и заврался и расплакался; да я не могу об этих предметах иначе говорить, всякий раз увлекусь... Ну, занавесь опустилась. Как дорого бы я дал, чтоб ее опять подняли; еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не вызывали. Не увидеть Анету я не мог; идти к ней, сжать ей руку, молча, взглядом передать ей все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святые мгновения, за глубокое потрясение, очищающее душу от разного хлама, — мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы... в партере меня остановил один любитель театра; он кричал мне,

выходя из своего ряда: «А ведь Анета-то недурна была, как вам? Очень недурна, немножко манеры тривиальны». Я не возражал ему ни слова; его бы не убедил, а время терять не хотел. «Куда вы?» — спросил меня офицант, стоявший при входе за кулисы. «Я желаю видеть Анету, понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку». — «Без княжого позволенья нельзя».— «Помилуй, любезный, я сам артист, третьего дня играл». — «Мне не было приказу вас пускать». — «Пожалуйста», — сказал я, выразительно опустивши два пальца в жилетный карман. «Какие вы мудреные, — отвечал лакей, — что же, мне из-за вас свою спину подставить?» Я больше не настаивал и отправился домой, но я был близок к отчаянию, я был несчастен, и это не фраза, не пустое слово... Неужели из вас никому не случалось отдаваться безотчетно и бесцельно обаятельному влиянию женщины, вовсе не близкой, долго смотреть на нее, долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе, когда эта женщина исчезает; и вы себя чувствуете как-то оставленным, одиноким; какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер испорчен, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече и что сигара скверно курится, — все оттого, что сыграли роман в полтора часа, роман с завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике; тоска по Анете привела меня в лихорадочное состояние. Я, больной, бросился на кровать, я бредил, спал и не спал, и в обоих случаях образ несчастной служанки носился передо мною. То она стоит, осужденная, так просто, удивительно просто; кругом сумасшедшие, — их называют судьи, — и мне становилось горько; никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведут ее, со связанными руками, на торжественное убиение и думают, что делают дело. То несут ее с криками радости, ей толкуют, говорят, что все прошло, что она свободна, — а она устала, у ней нет сил обрадоваться, она как будто спрашивает: «Да что же было, ведь ничего и не было?» Словом, тысячи вариаций на тему «Сороки-воровки» бродили у меня в голове всю ночь.

На другой день утром, часов в одиннадцать, я от-

правился в дом князя с твердым намерением лечь костьми или добиться аудиенции у Анеты. Когда я взошел на парадное крыльцо — один отпертый вход во все домы, домики и флигеля князя, — явился швейцар с своим глобусом на палке. Начался допрос: к кому, зачем? Я сказал. Швейцар объявил мне, что без письменного дозволения от князя меня не пропустят. «Ну, меценат ревнив, — подумал я. «Да как же берут эти дозволения?» — «Пожалуйте в контору, там управляющий может доложить его сиятельству». Швейцар позвонил; вышел официант и повел меня в контору. Гордо развалясь перед конторкой, сидел толстый управляющий, и, несмотря на ранний час, он уже успел не только утолить голод, но даже и жажду. Я объяснил ему мою просьбу; вероятно, толстый господин не очень бы двинулся для меня, но он знал, что князь хотел заманить меня в свою труппу, и, предоставляя себе делать мне отказы и неприятности впоследствии, счел за нужное теперь уступить моей просьбе и сам отправился к князю для переговоров по такому важному делу. Через минуту он возвратился с вестью, что князь билет подпишет и пришлет в контору. Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность. Француз-декоратёр прибегал крупно браниться с управляющим и ломаным русским языком говорил совершенно не русские вещи; он был растрепан, в засаленном сюртуке и так гордо смотрел, как сам управляющий, и так ругался, как сам князь. Потом управляющий велел позвать какого-то Матюшку; привели молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане из очень толстого сукна. «Пошел к себе,— сказал ему грубым голосом управляющий, — да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя не так угощу; забыли о Сеньке». Босой человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел вон. «Sacré»[1], — пробормотал декоратёр и вышел вон, надевши середь комнаты шляпу. «Лицо молодого человека мне что-то очень знакомо», — сказал я лакею, случившемуся близь меня. «Да вы с ним третьего дня играли». — «Неужели это тот, который играл лорда?» — «Тот самый». — «За что это его так скрутили?» — спросил я, понизив голос. Лакей бросил косвенный взгляд

[1] Проклятый (*фр.*).

на управляющего и, видя, что он щелкает на счетах, следственно, совершенно поглощен, отвечал мне полушепотом: «Записочку перехватили к одной актерке; ну, князь этого у нас недолюбливает, то есть не сам-то... а то есть насчет других-то недолюбливает; он его и велел на месяц посадить в сибирку».— «Так это его тогда приводили на сцену оттуда?» — «Да-с; им туда роли посылают твердить... а потом связамши приводят». — «Порядок всего дороже», — отвечал я, и желание идти в княжескую труппу начало остывать.

Дверь в контору растворилась с шумом, все вскочили, вошел князь. Лакей взглянул на меня, я понял: это была просьба о скромности. Князь прямо подошел ко мне и, подавая билет, заметил, как ему приятно, что артистка его труппы заслужила такое одобрение от меня, весьма лестно отзывался о ней, страх как жалел, что она слаба здоровьем, извинялся, что меня не пустили без билета... «Делать нечего, порядок в нашем деле — половина успеха; ослабь сколько-нибудь вожжи — беда, артисты люди беспокойные. Вы знаете, может быть, что французы говорят: легче армией целой управлять, нежели труппой актеров. Вы не сердитесь за это, — прибавил он, смеясь, — вы так привыкаете играть разных царей, вельмож, что и за кулисами остаются такие замашки». — «Князь, — сказал я, — если французы это говорят, то потому, что они не знают устройства вашей труппы и ее управления». — «О, да вы к тому же и льстец большой!» — заметил князь, грозя пальцем, и, благосклонно улыбнувшись, важно отправился к бюро. А я — к Анете.

Пока я достиг флигеля, где жила Анета, меня раза три останавливали то лакей в ливрее, то дворник с бородой: билет победил все препятствия и я с биющимся сердцем постучался робко в указанную дверь. Вышла девочка лет тринадцати, я назвал себя. «Пожалуйте, — сказал она, — мы вас ждем». Она привела меня в довольно опрятную комнатку, вышла в другую дверь; дверь через минуту отворилась, и женщина, одетая вся в белом, шла скорыми шагами ко мне. Это была Анета. Она протянула мне обе руки и сказала:

— Чем заслужила я это... благодарю вас... — сказала тем голосом, который вчера так сильно потряс меня, и прежде, нежели я успел что-нибудь отвечать, она залилась слезами.—Извините,—шептала она сквозь сле-

зы прерывающимся голосом,—бога ради, извините... это сейчас пройдет... я так обрадовалась... я слабая женщина, простите.

— Успокойтесь, что с вами? успокойтесь, — говорил я ей, и мои слезы капали на жилет, — если б я знал, что мое посещение...

— Полноте, как вам не грешно, полноте, — и она снова протянула мне руку, омоченную слезами, а другою закрыла глаза,—вы не можете понять, сколько добра вы мне сделали вашим посещением, это — благодеяние... будьте же снисходительны, подождите минуту... я немного выпью воды, тогда все пройдет,—и она улыбнулась мне так хорошо и так печально... — Мне давно хотелось поговорить с художником, с человеком, которому я могла бы все сказать, но я не ждала такого человека, и вдруг вы, — я вам очень благодарна. Пойдемте в ту комнату, здесь могут нас подслушать; не думайте, чтоб я боялась, нет, ей-богу, нет. Но это шпионство унизительно, грязно... и не для их ушей то, что я вам хочу сказать.

Мы вошли в спальню; она выпила воды и бросилась на стул, указывая мне на кресло. Где были все придуманные мною похвалы, где были эти тонкие замечания, которыми я хотел похвастать? Я смотрел на нее сквозь слезы, смотрел, и грудь моя поднималась. Лицо ее, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказанье: в каждой черте можно было прочесть ту исповедь, которая звучала в ее голосе вчера. К этим чертам, к этому лицу прибавлять много не было нужды: несколько собственных имен, несколько случайностей, чисел; остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной негой, а как-то траурно, безнадежно; огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее. Худое и до невероятности истомленное лицо раскраснелось от слез как-то неестественно, чахоточно; она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на стол, свою голову. Зачем тут не было Кановы или Торвальдсена: вот статуя страданья—страданья внутреннего, глубокого! «Что за благородная, богатая натура, — думал я, — которая так изящно гибнет, так страшно и так грациозно выражает несчастие!..» Минутами артист побеждал во мне человека... я восхищался ею как художественным произведением.

Между тем она оправилась и говорила:

— Не правда ли, какая смешная встреча? Да еще не конец; я вам хочу рассказать о себе; мне надобно высказаться; я, может быть, умру, не увидевши в другой раз товарища-художника... Вы, может быть, будете смеяться, — нет, это я глупо сказала, — смеяться вы не будете. Вы слишком человек для этого, скорее вы сочтете меня за безумную. В самом деле, что за женщина, которая бросается с своей откровенностью к человеку, которого не знает; да ведь я вас знаю, я видела вас на сцене: вы — художник.

Я жал ее руку и не мог вымолвить ни слова.

— История моя не длинна, очень коротка, напротив: я не утомлю вас; послушайте ее хоть за то удовольствие, которое я вам доставила Анетой.

— Да говорите, ради бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вам откровенно, я бы мог вам рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого ни слова... я ее знаю.

— Вот потому-то я вам и расскажу ее. Я не так давно в здешней труппе. Прежде я была на другом провинциальном театре, гораздо меньшем, гораздо хуже устроенном, но мне там было хорошо, может быть оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви к искусству с таким увлечением, что на внешнее не обращала внимания, я более и более вживалась в мысль, вам, вероятно, коротко знакомую, — в мысль, что я имею призвание к сценическому искусству; мне собственное сознание говорило, что я — актриса. Я беспрерывно изучала мое искусство, воспитывала те слабые способности, которые нашла в себе, и радостно видела, как трудность за трудностью исчезает. Помещик наш был добрый, простой и честный человек; он уважал меня, ценил мои таланты, дал мне средства выучиться по-французски, возил с собою в Италию, в Париж, я видела Тальму и Марс, я пробыла полгода в Париже, и — что делать! — я еще была очень молода, если не летами, то опытом, и воротилась на провинциальный театрик; мне казалось, что какие-то особенные узы долга связуют меня с воспитателем. Еще бы год!.. мало ли что могло бы быть... Он умер скоропостижно; в мрачной боязни ждали мы шесть недель; они прошли, вскрыли бумаги, но отпускные, написанные нам, затерялись, а может, их и вовсе не было, может, он по небреж-

ности и не успел написать их, а говорил нам так, вроде любезности, что они готовы. Новость эта оглушила нас; пока мы еще плакали да думали, что делать, нас продали с публичного торга, и князь купил всю труппу. Он нас хорошо принял, хорошо поместил, как вы сами видите, даже положил большие оклады, не стесняя себя, впрочем, точностью выдачи. Но это был уже не прежний директор, добродушный и снисходительный; он с первого разу дал почувствовать всю необъятную разницу между им и его гаерами, назначенными для удовольствия. Он привык к раболепию, он протягивал свою руку охотникам целовать; дворецкий и толпа его фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на сердце, очень тяжело, но были еще и отрадные минуты; меня берегли за талант, и я умела еще так предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тешило — самой смешно и стыдно теперь — прекрасное устройство театра. Все это прошло, — даже становится невероятным, что было.

Я стала замечать, что князь особенно внимателен ко мне; я поняла эту внимательность и — вооружилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид, что ничего не понимаю; он счел за нужное высказывать яснее и яснее свои намерения; наконец он подослал ко мне управителя, сулил отпускную на том условии, чтоб я на десять лет сделала контракт с его театром, не говоря о других обещаниях и условиях. Я прогнала управителя, и на время преследования прекратились. Раз поздно вечером, воротившись с представления, я читала вслух, одна, читала вновь переведенную с немецкого трагедию «Коварство и любовь». Вы знаете, вероятно, ее. В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, улики в нелепости жизни, которую ведут люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Все лица этой пьесы оставляют какое-то тяжелое впечатление — гофмаршал, и леди, и старик камердинер, у которого дети пошли добровольно в Америку... и милые дети, Фердинанд и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену с Вурмом, где он заставляет писать письмо, если бы можно, при вас, да князь не любит таких пьес. Итак, я читала «Коварство и любовь» и была совершенно под влиянием пьесы, увлечена, одушевлена ею; вдруг кто-то сказал: «Прекрасно, прекрасно!» — и

положил мне на раскрытое плечо свою руку. Я с ужасом отскочила к стене. Это был князь.

— Что угодно приказать вашему сиятельству? — спросила я голосом, дрожавшим от бешенства и негодования. — Я слабая женщина, вы это сейчас видели, но уверяю, я могу быть и сильной женщиной.

(— Я и это видел, — возразил я, намекая на некоторые выражения в ее рассказе.)

— Приказывать нечего, — отвечал князь, стараясь придать пленительное выражение своему лицу, — можно ли приказывать таким глазкам: они должны приказывать.

Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился, он ждал какого-нибудь ответа. Но он скоро нашелся, подошел ко мне и, сказавши: «Ne faites donc pas la prude[1], не дурачься, ну, посмотри же на меня не так; другие за счастье поставили бы себе...», он взял меня за руку; я ее отдернула.

— Князь, — сказала я, — вы меня можете отослать в деревню, на поселение, но есть такие права и у самого слабого животного, которых у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней мере. Идите к другим, осчастливьте их, если вы успели воспитать их в таких понятиях.

— Mais elle est charmante![2] — возразил князь. — Как к ней идет этот гнев! Да полно ролю играть.

— Князь, — сказала я сухо, — что вам угодно в моей комнате в такое время?

— Ну, пойдем в мою, — отвечал князь, — я не так грубо принимаю гостей, я гораздо добрее тебя. — И он придал своим глазам вид сладко-чувствительный. Старик этот в эту минуту был безмерно отвратителен, с дрожащими губами, с выражением... с гадким выражением.

— Дайте вашу руку, князь, подите сюда.

Он, ничего не подозревая, подал мне руку; я подвела его к моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его:

— И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому плешивому селадону? — Я расхохоталась.

---

[1] Не разыгрывай недотрогу (*фр.*).

[2] А ведь она очаровательна! (*фр.*).

Князь побледнел от бешенства. В первую минуту он, вырвавши свою руку, поднял ее и, вероятно, ударил бы меня в лицо, если б он больше владел собою. Он ограничился грубой бранью и вышел вон, крича:

— Я тебя научу забываться! Кому смеешь говорить! Я, дескать, актриса, нет, ты моя крепостная девка, а не актриса...

Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли схватила, когда мне помешали читать, и потом спрятала его в рукав на всякий случай.

Что я чувствовала, как я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вам рассказывать ряда мелких, оскорбительных неприятностей, который начался для меня с этого дня. У меня отняли лучшие роли, меня мучили беспрерывной игрой в ролях, вовсе чуждых моему таланту, со мною все наши власти начали обращаться грубо, говорили мне «ты», не давали мне хороших костюмов; не хочу потому рассказывать, что это все пойдет в похвалу князю: он не так бы мог поступить со мною, он поделикатился, он меня уважил гонениями, в то время как он мог наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добили только такими мелочами... хуже всего этого были последние слова князя; они врезались в голову, в сердце; я не знаю, как вам сказать, антонов огонь сделался около них... Я не могла отделаться от них, забыть... С тех пор я постоянно в лихорадке, сон не освежает меня, к вечеру голова горит, а утром я как в ознобе. Поверите ли, что с тех пор каждую неделю мне перешивают костюмы, и я радуюсь этому, а с тем вместе, признаюсь вам, страшно, страшно и больно. Да разве не могло иначе быть?.. Видно, что нет... С тех пор больная, в каком-то горячечном состоянии выхожу я на сцену, и меня осыпают рукоплесканиями, не понимая моей игры. Я с тех пор играю одну роль, зрители не догадались. Талант мой тухнет, я становлюсь одностороннее; есть роли, которые я играю небрежно, которые мне сделались невозможны. Итак, все кончено — и талант и жизнь... прощай, искусство, прощайте, увлечения на сцене! Поживу еще года два с князевыми словами: их бы вырезать на моей могиле.

Она умолкла. Я не нашел ей ничего сказать в утешение. Помолчавши, она продолжала:

— Месяца два тому назад был бенефис. Прошу костюма — не дают. «В таком случае, — сказала я режиссеру, — я куплю на свои деньги что надобно и сошью его себе». Надеваю шляпку и хочу идти в лавки.

— Не велено никуда пускать без спросу; где у вас дозволение?

Я была раздражена и пошла в контору. Князь был там; подхожу к нему и прошу позволения идти в лавки.

— Странное время тебе назначают любовники для свиданья — утром! — заметил князь к неописанному удовольствию управляющего и лакеев.

Кровь бросилась мне в голову; мое поведение было незапятнанное; оскорбление вывело меня из себя.

— Так это для сбережения нашей чести вы запираете нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что ближе году я докажу вам, что меры, вами избранные, недостаточны!

При этом я вышла прежде, нежели он успел сказать слово.

Тут она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просил успокоиться, выпить еще воды, держал ее холодную и влажную руку в моей... она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдруг она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянув на меня, сказала:

— Я сдержала слово!..

Я готов был броситься к ногам этой женщины. Как высока, как сильна, как чудно изящна казалась она мне в эту минуту признания!

Мы помолчали.

— Мой роман не оставил мне тех кротких, сладких воспоминаний счастья, упоений, как у других: в нем все лихорадочно, безумно; в нем не любовь, а отчаяние, безвыходность... Я вам не расскажу его, потому что, собственно, нечего рассказывать.

— Князь знает? — спросил я.

— Вероятно, знает; он все знает... да я бы была в отчаянии, если б он не знал. Я не боюсь его; я умру в этой комнате, а уж проситься не пойду к нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило: умереть, не видавши человека... теперь вы понимаете, что для меня ваше посещение... Одно нехорошо, и тем хуже, что это прежде мне не приходило в голову: малютка будет его,

он ему скажет: «Прежде всего ты мой». А, впрочем, я так слаба, так больна, что бог милостив — приберет и его.

— Да нельзя ли как-нибудь... располагайте мною.

— Нет; вы видите, как нас строго пасут.

«Бедная артистка! — думал я. — Что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить весть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя; может быть, подчас и поднималась бы с дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной».

— Пора нам расстаться, — сказала она печально.

— Прощайте, благодарю вас; как бы я желал что-нибудь...

Она улыбнулась.

— Вспоминайте иногда, что и во мне...

— Погибла великая русская актриса!..

Я вышел, заливаясь слезами.

— Знаешь ли, какая радость? — сказал мне товарищ мой, когда я возвратился домой. — Здесь сейчас был управляющий князя, удивлялся, что ты не приходил еще домой, и велел тебе сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. — Он с торжествующим лицом подал мне бумагу.

Условия были превосходны.

— А знаешь ли ты новость? — отвечал я ему. — Идучи домой, я зашел к нашему ямщику и нанял ту же тройку, которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду.

— Да что ты, с ума сошел?

— Не знаю, но я здесь не останусь: климат не здоров для художника. А? Подумай-ка, да и поедем на наш старый театр, с его декорациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею от реки, в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка!

— Я бы и готов, право, воротиться, — отвечал товарищ, беззаботнейший из смертных, — да ведь с голоду там умрем.

— А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба, а кусок хлеба, слава богу, с нашим здоровьем выработаем. Болезни от сытости не так скоро лечатся.

Товарищ задумался; я не хотел его уговаривать. Вдруг он помер со смеху:

— Ха-ха-ха! Еду, братец, еду! Знаешь ли, что мне в голову пришло: как удивится Василий Петрович, когда мы через две недели воротимся, вот удивится-то!

Эта мысль о сюрпризе совершенно примирила моего приятеля с неожиданным путешествием. Однако он спросил:

— Ну, а управляющему какой ответ?

— Тут очень затрудняться нечем: не мы будем отвечать завтра, если сегодня уедем; ему скажут: вчера отправились обратно. Вот и князю сюрприз такой же, как Василью Петровичу.

— В самом деле хорошо, оттого хорошо, что условия выгодны; пусть он знает, что не все на свете покупается. Сейчас буду укладываться! — И он начал увязывать и складывать небольшие пожитки наши, насвистывая мотив из «Калифа Багдадского».

Вот и все. Для полноты прибавлю, что через два часа мы попрыгивали в кибитке. Мне было скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу; я пробовал и на дорогу смотреть, и по сторонам, и сигары курить — ничего не помогало. Да и, как на смех, небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями, все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы; оттого ли, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господские домы с парками и оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными.

— Что же сделалось потом с Анетой? Видели вы ее?

— Нет; она умерла через два месяца после родов.

Художник отирал слезы, бежавшие по щеке. Молодые люди молчали; он и они представляли прекрасную надгробную группу Анете.

— Все так, — сказал, вставая, славянин, — но зачем она не обвенчалась тайно?..

26 января 1846

ДОКТОР КРУПОВ

Повесть

О ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЯХ ВООБЩЕ И ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОНЫХ В ОСОБЕННОСТИ

Сочинение доктора Крупова [1]

Много и много лет прошло уже с тех пор, как я постоянно посвящаю время, от лечения больных и исполнения обязанностей остающееся, на изложение *сравнительной психиатрии* с точки зрения совершенно новой. Но недоверие к силам, скромность и осторожность доселе воспрещали мне всякое обнародование моей теории. Ныне делаю первый опыт сообщить благосклонной публике часть моих наблюдений. Делаю оное, побуждаемый предчувствием скорого перехода в минерально-химическое царство, коего главное неудобство — отсутствие сознания. Полагаю, что на мне лежит обязанность узнанное мною закрепить, так сказать, вне себя добросовестным рассказом для пользы и соображения сотоварищам по науке; мне кажется, что я не имею права допустить мысль мою бесследно исчезнуть при новых, предстоящих большим полушариям мозга моего, химических сочетаниях и разложениях.

Узнав случайно о вашем сборнике, я решился послать в него отрывок из введения потому именно, что оно весьма общедоступно: в оном, собственно, содержится не теория, а история возникновения оной в голове моей. При сем не излишним считаю предупредить вас, что я всего менее литератор и, проживая ныне лет тридцать в губернском городе, удаленном как от

[1] Этот небольшой отрывок был помещен в «Современнике» 1847 года с значительными пропусками, сделанными цензурой. Мы его печатаем теперь в настоящем виде. (*Примеч. А. И. Герцена.*)

резиденции[1], так и от столицы, я отвык от красноречивого изложения мыслей и не привык к модному языку. Не должно, однако, терять из виду, что цель моя вовсе не беллетристическая, а патологическая. Я не пленить хочу моими сочинениями, а быть полезным, сообщая чрезвычайно важную теорию, доселе от внимания величайших врачей ускользнувшую, ныне же недостойнейшим из учеников Иппократа наукообразно развитую и наблюдениями проверенную.

Сию теорию посвящаю я вам, самоотверженные врачи, жертвующие временем вашим печальному занятию лечения и хождения за страждущими душевными болезнями.

S. Croupoff M. et Ch. Doctor[2].

I

Я родился в одном помещичьем селении на берегу Оки. Отец мой был диаконом. Возле нашего домика жил пономарь, человек хилый, бедный и обремененный огромной семьей. В числе восьми детей, которыми бог наградил пономаря, был один ровесник мне; мы с ним вместе росли, всякий день вместе играли в огороде, на погосте или перед нашим домом. Я ужасно привязался к товарищу, делился с ним всеми лакомствами, которые мне давали, даже крал для него спрятанные куски пирога, кашу — и передавал через плетень. Приятеля моего все звали «косой Левка», он действительно немного косил глазами. Чем более я возвращаюсь к воспоминаниям о нем, чем внимательнее перебираю их, тем яснее мне становится, что пономарев сын был ребенок необыкновенный; шести лет он плавал, как рыба, лазил на самые большие деревья, уходил за несколько верст от дома один-одинехонек, ничего не боялся, был как дома в лесу, знал все дороги и в то же время был чрезвычайно непонятлив, рассеян, даже туп. Лет восьми нас стали учить грамоте; я через несколько месяцев бегло читал псалтырь, а Левка не дошел и до складов. Азбука сделала переворот в его жизни. Отец его употреблял всевозможные

[1] От Москвы.
[2] С. Крупов, медицины и хирургии доктор (*лат.*).

средства, чтобы развить умственные способности сына — и не кормил дня по два, и сек так, что недели две рубцы были видны, и половину волос выдрал ему, и запирал в темный чулан на сутки, — все было тщетно, грамота Левке не давалась; но безжалостное обращение он понял, ожесточился и выносил все, что с ним делали, с какой-то злою сосредоточенностию. Это ему не дешево стоило: он исхудал, вид его, выражавший прежде детскую кротость и детскую беззаботность, стал выражать дикость запуганного зверя; на отца он не мог смотреть без ужаса и отвращения. Побился еще года два пономарь с сыном, увидел наконец, что он глупорожденный, и представил ему полную волю.

Освобожденный Левка стал пропадать целые дни, приходил домой греться или укрываться от непогоды, садился в угол и молчал, а иногда бормотал про себя разные неясные слова и вел дружбу только с двумя существами — со мной и с своей собачонкой. Собачонку эту он приобрел неотъемлемым правом. Раз, когда Левка лежал на песке у реки, крестьянский мальчик вынес щенка, привязал ему камень на шею и, подойдя к крутому берегу, где река была поглубже, бросил туда собачонку; в один миг Левка отправился за нею, нырнул и через минуту явился на поверхности с щенком; с тех пор они не разлучались.

Лет двенадцати меня отправили в семинарию. Два года я не был дома, на третий я приехал провести вакационное время к отцу. На другой день утром рано я надел свой новый затрапезный халат и хотел идти осматривать знакомые места. Только я вышел на двор, у плетня стоит Левка, на том самом месте, где, бывало, я ему давал пироги; он бросился ко мне с такою радостью, что у меня слезы навернулись. «Сенька, — говорил он, — я всю ночь ждал Сеньку, Груша вчера молвила: «Сенька приехал», — и он ласкался ко мне, как зверок, с каким-то подобострастием смотрел мне в глаза и спрашивал: «Ты не сердит на меня? Все сердиты на Левку, — не сердись, Сенька, я плакать буду, не сердись, я тебе векшу поймал». Я бросился обнимать Левку; это так ново, так необыкновенно было для него, что он просто зарыдал и, схвативши мою руку, целовал ее, я не мог ее отдернуть, так крепко он держал ее. «Пойдем-ка в лес», — сказал я ему. «Пойдем далеко за буераки, хорошо будет, очень хорошо», —

отвечал он. Мы пошли; он вел версты четыре лесом, поднимавшимся в гору, и вдруг вывел на открытое место; внизу текла Ока, кругом верст на двадцать стелился один из превосходных сельских видов Великороссии.

«Здесь хорошо, — говорил Левка, — здесь хорошо». — «Что же хорошо?» — спросил я его, желая испытать. Он остановил на мне какой-то неверный взгляд, лицо его приняло другое, болезненное выражение, он покачал головой и сказал: «Левка не знает, так хорошо!» Мне стало смерть стыдно. Левка сопровождал меня на всех прогулках, его безграничная преданность, его беспрерывное внимание сильно трогали меня. Привязанность его ко мне была понятна, один я обходился с ним ласково. В семье им гнушались, стыдились его; крестьянские мальчики дразнили его, даже взрослые мужики делали ему всякого рода обиды и оскорбления, приговаривая: «Юродивого обижать не надо, юродивый — божий человек». Он обыкновенно ходил задами села, когда же ему случалось идти улицей, одни собаки обходились с ним по-человечески; они, издали завидя его, виляли хвостом и бежали к нему навстречу, прыгали на шею, лизали в лицо и ласкались до того, что Левка, тронутый до слез, садился середь дороги и целые часы занимал из благодарности своих приятелей, занимал их до тех пор, пока какой-нибудь крестьянский мальчик пускал камень наудачу, в собак ли попадет или в бедного мальчика; тогда он вставал и убегал в лес.

Перед сельским праздником мой отец, видя, что Левка весь в лохмотьях, велел моей матери скроить ему длинную рубашку и отдать ее сестрам сшить. Управитель, услышавши об этом, дал толстого домашнего сукна для него на кафтан. При господском доме был приставлен старик лакей, он был приставлен не столько по способности смотреть за чем-нибудь, сколько за пьянство. Этот лакей был фершал и портной; он весьма затруднился, когда получил от управляющего приказ сшить Левке кафтан, — как скроить дурацкий кафтан? Сколько он ни думал, все выходил довольно обыкновенный кафтан, а потому он и решился на отчаянное средство — пришить к нему красный воротник из остатков какой-то старинной ливреи. Левка был ужасно рад и новой рубашке, и кафтану, и красному ворот-

нику, хотя, по правде сказать, радоваться было нечему. Доселе крестьянские мальчики несколько удерживались, но когда на Левку одели парадный мундир дурака — гонения и насмешки удвоились. Одни женщины были на стороне Левки, подавали ему лепешки, квасу и браги и говорили иногда приветливое слово; мудрено ли, впрочем, что бабы и девки, задавленные патриархальным гнетом мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мне было чрезвычайно жаль Левку, но помочь ему было трудно; унижая его, казалось, добрые люди росли в своих собственных глазах. Серьезно с ним никто слова не молвил; даже мой отец, от природы вовсе не злой человек, хотя исполненный предрассудков и лишенный всякого снисхождения, и тот иначе не мог обращаться с Левкой, как унижая его и возвышая себя.

— А что, Левка, — говорил он ему, — любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящего?

— Люблю,—отвечал Левка,—Сеньку люблю больше.

— Видишь, губа-то не дура, ну, а еще кого больше любишь?

— Никого, — простодушно отвечал Левка.

— Ах, глупорожденный, глупорожденный, ха-ха-ха, а мать родную меньше любишь разве?

— Меньше,— отвечал Левка.

— А отца твоего?

— Совсем не люблю.

— О господи боже мой, чти отца твоего и матерь твою, а ты, дурак, что? Бессмысленные животные и те любят родителей, как же разумному подобию божию не любить их?

— Какие животные?

— Ну какие — лошади, псы, всякие.

Левка качал головой: «Разве щенята, а большие нет. Они так любят, кто по нраву придется, вот наша кошка Машка любит моего Шарика».

И батюшка мой хохотал от души, прибавляя: «Блаженны нищие духом!»

Я тогда уже оканчивал риторику, и потому нетрудно понять, отчего мне в голову пришло написать «Слово о богопротивном людей обращении с глупорожденными». Желая расположить мое сочинение по всем квинтиллиановским правилам, с соблюдением законов хрии, я, обдумывая его, пошел по дороге, шел, шел и,

не замечая того, очутился в лесу; так как я взошел в него без внимания, то и не удивительно, что потерял дорогу, искал, искал и еще более терялся в лесу; вдруг слышу знакомый лай Левкиной собаки; я пошел в ту сторону, откуда он раздавался, и вскоре был встречен Шариком; шагах в пятнадцати от него, под большим деревом, спал Левка. Я тихо подошел к нему и остановился. Как кротко, как спокойно спал он! Он был дурен собой на первый взгляд, белые льняные волосы прямо падали с головы странной формы, бледный лицом, с белыми ресницами и несколько косившимися глазами. Но никто никогда не дал себе труда вглядеться в его лицо; оно вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, когда он спал; щеки его немного раскраснелись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой мир душевный, такое спокойствие, что становилось завидно.

Тут, стоя перед этим спящим дурачком, я был поражен мыслью, которая преследовала меня всю жизнь. С чего люди, окружающие его, воображают, что они лучше его, отчего считают себя вправе презирать, гнать это существо, тихое, доброе, никому никогда не сделавшее вреда? И какой-то таинственный голос шептал мне: «Оттого, что и все остальные — юродивые, только на свой лад, и сердятся, что Левка глуп по-своему, а не по их».

Странная мысль эта выгнала у меня из головы все хрии и метафоры, я оставил спящего Левку и пошел бродить наудачу по лесу, с какой-то внутренней болью перевертывая и вглядываясь в новую мысль. «В самом деле,— думалось мне,— чем Левка хуже других? Тем, что он не приносит никакой пользы, ну, а пятьдесят поколений, которые жили только для того на этом клочке земли, чтобы их дети не умерли с голоду сегодня и чтобы никто не знал, зачем они жили и для чего они жили,— где же польза их существования? Наслаждение жизнию? Да они ей никогда не наслаждались, по крайней мере гораздо меньше Левки. Дети? Дети могут быть и у Левки, это дело нехитрое. Зачем Левка не работает? Что за беда; он ни у кого ничего не просит, кой-как сыт. Работа — не наслаждение, кто может обойтись без работы, тот не работает, все остальные на селе работают без всякой пользы, работают целый день, чтобы съесть кусок черствого хлеба, а хлеб едят

для того, чтобы завтра работать, в твердой уверенности, что все выработанное не их. Здешний помещик, Федор Григорьевич, один ничего не делает, а пользы получает больше всех, да и то он ее не делает, она как-то сама делается ему. Жизнь его, сколько я знаю, проходит в большей пустоте, нежели жизнь Левки, который, чего нет другого, гуляет, а тот все сердится. Чем Левка сыт, я не понимаю, но знаю одно, что как он ни туп, но если наберет земляники или грибов, то его не так-то легко убедить, что он может есть одни неспелые ягоды да сыроежки, а что вкусные ягоды и белые грибы принадлежат, ну, хоть отцу Василию. Левка никогда дома не живет, не исполняет ни гражданских, ни семейных обязанностей сына, брата. Ну, а те, которые дома живут, разве исполняют? У него есть еще семь братьев и сестер, живущих дома в каком-то состоянии постоянной войны между собой и с пономарем. Все так, но пустая жизнь его. Да отчего же она пустая? Он вжился в природу, он понимает ее красоты по-своему — а для других жизнь — пошлый обряд, тупое одно и то же, ни к чему не ведущее».

И я постоянно возвращался к основной мысли, что причина всех гонений на Левку состоит в том, что Левка глуп на свой особенный салтык,— а другие повально глупы; и так, как картежники не любят неиграющего, а пьяницы непьющего, так и они ненавидят бедного Левку. Однако диссертации я не написал; для меня, ученика семинарии, казалось трудным и даже неприличным писать о таких суетных предметах. Нас учили всё писать о предметах возвышенных, душу и сердце возносящих горé. Вакационное время прошло, пора мне было возвращаться в монастырь. Когда батюшка мой заложил пегую лошадку нашу в телегу, чтобы отвезти меня, Левка пришел опять к плетню, он не совался вперед, а, прислонившись к верее, обтирал по временам грязным спущенным рукавом рубашки слезы. Мне было очень грустно его оставить; я подарил ему всяких безделушек, он на все смотрел печально. Когда же я стал садиться в телегу, Левка подошел ко мне и так печально, так грустно сказал: «Сенька, прощай»,— а потом подал мне Шарика и сказал: «Возьми, Сенька, Шарика себе». Дороже предмета у Левки не было, и он отдавал его. Я насилу уговорил его оста-

вить Шарика у себя, что пусть он будет мой — но жить у него. Мы поехали. Левка пустился лесом и выбежал на гору, мимо которой шла дорога; я увидел его и стал махать платком. Он стоял неподвижно на горе, опираясь на свою палку.

Мысль о Левке, о причине его странного развития не выходила из головы моей. Она мешала мне вполне предаваться изучению духовных предметов, и я вместо превыспренних созерцаний стремился к изучению предметов земных, несмотря на то что я знал ничтожность всего телесного и суетность всего физического. Мало-помалу во мне развилось непреодолимое желание изучать медицину. Когда я впервые заикнулся об этом отцу моему, он взошел в неописанный гнев. «Ах ты, баловень презорный,— кричал он на меня,— вот как схвачу за вихры, так ты у меня и узнаешь, где раки зимуют. Деды твои и отцы не хуже тебя были, да не выходили из своего звания, а ты что вздумал? Пришлось под старость дожить до такого сраму,— вот и радость, приносимая сыном, от плоти моей рожденным. Не один, видно, пономарь посещен богом, недаром с дураком валандаешься вечно, свой своему поневоле брат. А все ты, малоумная баба, испортила его»,— прибавил батюшка, обращаясь к матушке. Почему именно матушка была виновата, что я хотел учиться медицине, этого я не знаю. «Господи,— думал я,— да что же я сделал такое, мне хочется заниматься медициной, а послушаешь батюшку, право, подумаешь, что я просился на большую дорогу людей резать». Дал я место родительскому гневу, промолчал; через месяц опять завел было речь; куда ты — с первого слова так его лицо и зардело. Делать нечего, жду особого случая, а сам только и занимаюсь латынью. Отец ректор славно знал латинский язык и полюбил меня за мои успехи. Я выбрал минуту добрую да в ноги ему; он так кротко и благосклонно сказал: «Встань, сын мой, встань, что тебе надобно, говори просто». Я рассказал ему о моем желании и просил замолвить отцу. Отец ректор покачал головой и велел мне утром и вечером сверх обыкновенной читать другую молитву, говорил, что это влияние нечистой силы, отвлекающей от служения престолу к служению мирскому, от лечения духовного — к лечению плотскому. Потом напомнил четвертую заповедь, дал прочесть сочине-

ние Нила Сорского о монашеском житии. Я все исполнил в точности, но не мог переломить влечения к медицине.

На вакации поехал я опять домой. Левка еще более одичал, он добровольно помогал пастуху пасти стадо и почти никогда не ходил домой. Меня, однако, он принял с прежней безграничной, нечеловеческой привязанностью; грустно мне было на него смотреть, особенно потому, что у него язык как-то сделался невнятнее, сбивчивее и взгляд еще более одичал. Через год мне приходилось окончить курс, временить было нечего, батюшка уже готовил мне место. Что было делать, утопающий за соломинку хватается; слыхал я от дворовых людей, что сын нашего помещика (они жили это лето в деревне) — добрый барин, ласковый, я и подумал, если бы он через Федора Григорьевича попросил обо мне моего отца, может, тот, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сделать опыта? Надел я свой нанковый сюртук, тщательно вычистил сапоги, повязал голубой шейный платок и пошел в господский дом. На дороге попался Левка.

— Сенька,— кричал он мне,— в лес, Левка гнездо нашел, птички маленькие, едва пушок, матери нет, греть надо, кормить надо.

— Нельзя, брат, иду за делом, вон туда.

— Куда?

— В барский дом.

— У-у! — сказал Левка, поморщившись,— у-у! Весной, весной дядя Захар — его били, Левка смотрел, дядя Захар здоровый, сильный, а дурак стоит, его бьют — а он ничего — дядя Захар дурак, сильный, большой и стоит. Не ходи, прибьют.

— Не бось, дело есть.

Он долго смотрел мне вслед, потом свистнул своей собаке и побежал к лесу, но, едва я успел сделать двадцать шагов, Левка нагнал меня. «Левка идет туда — Сеньку бить будут — Левка камнем пустит»,— при этом он мне показал булыжник величиною с индеичье яйцо. Но меры его были не нужны, люди отказали, говоря, что господа чай кушают; потом я раза три приходил, все недосуг молодому барину; после третьего раза я не пошел больше. И чем же это молодой барин так занят? Вечно ходит или с ружьем, или так просто, без всякого дела, по полям, особенно где

крестьянские девки работают. Неужели он не мог оторваться на пять минут?

Сам бог показал выход, хотя, по правде, очень горестный. В селе Поречье, верст восемь от нас, был храмовый праздник; село Поречье казенное, торговое, богаче нашего, праздник у них справлялся всегда отлично. Тамошний священник (он же и благочинный) пригласил нас всех на праздник. Мы отправились накануне: отец Василий с попадьей, батюшка один, причетник и я, для того чтобы отслужить всенощную соборне. Праздник был великолепный, фабричные пели на крылосе. Во время литургии приехал сам капитан-исправник с супругой и двумя заседателями. Голова за месяц собирал по двадцати пяти копеек серебром с тягла начальству на закуску. Словом сказать, было весело, шумно; один я грустил; грустил я и потому, что намерения мои не удавались, и по непривычке к многолюдию; вина я тогда еще в рот не брал, в хороводах ходить не умел, а пуще всего мне досадно было, что все перемигивались, глядя на меня и на дочь пореченского священника. Я приглянулся ее отцу, и он предлагал, как меня похиротонисают, женить на дочери, а он-де место уступит и обзаведение, самому, мол, на отдых пора. А дочь-то его, несмотря на то что ей было не более восемнадцати или девятнадцати лет, была сильно поражена избытком плоти, так что скорее напоминала образ и подобие оладий, нежели господа бога.

Таким образом поскучав в Поречье до вечера, я вышел на берег реки; откуда ни возьмись — Левка тут, и он, бедняга, приходил на праздник, сам не зная зачем. Его никто не звал и не потчевал. Стоит лодочка, причаленная к берегу, и покачивается, давно я не катался,— смерть захотелось мне ехать домой по воде. На берегу несколько мужичков лежали в синих кафтанах, в новых поярковых шляпах с лентами; выпивши, они лихо пели песни во все молодецкое горло (по счастию, в селе Поречье не было слабонервной барыни). «Позвольте, мол, православные, лодочку взять прокатиться до Раздеришина»,— сказал я им. «С нашим удовольствием, мы-де вашего батюшку знаем. Митюх, Митюх, отвяжь-ка лодочку-то, извольте взять»,— и Митюх, несколько покачиваясь и без нужды ступая в воду по колена отвязал лодку, я принялся править, а Левка грести; поплыли мы по Оке-реке. Между тем смерклось,

месяц взошел, с одной стороны было так светло, а с другой черные тени берегов, насупившись, бежали на лодку. Поднимавшаяся роса, словно дым огромного пожара, белела на лунном свете и двигалась по воде, будто нехотя отдираясь от нее.

Левка был доволен, мочил беспрестанно свою голову водой и встряхивал мокрые волосы, падавшие в глаза. «Сенька, хорошо?» — спрашивал он, и когда я отвечал ему: «Очень, очень хорошо»,— он был в неописанном восторге. Левка умел мастерски грести, он отдавался в каком-то опьянении ритму рассекаемых волн и вдруг поднимал оба весла, лодка тихо, тихо скользила по волнам, и тишина, заступавшая мерные удары, клонила к какому-то полусну, и издали слышались песни празднующих поречан, носимые ветром, то тише, то громче.

Мы приехали поздно ночью, Левка отправился с лодкой назад, а я домой. Только что я лег спать, слышу — подъезжает телега к нашему дому. Матушка — она не ездила на праздник, ей что-то нездоровилось,— матушка послушала да говорит:

— Это не нашей телеги скрып — стучат, треба, мол, верно, какая-нибудь.

— Не вставайте, матушка, я схожу посмотреть,— да и вышел, отворяю калитку, пореченский голова стоит, немножно хмельный.

— Что, Макар Лукич?

— Да что,— говорит,— дело-то неладно, вот что.

— Какое дело?— спросил я, сам дрожу всем телом, как в лихорадке.

— Вестимо, насчет отца диакона.

Я бросился к телеге: на ней лежал батюшка без движения.

— Что с ним такое?

— А бог его ведает, все был здоров, да вдруг что ни есть прилучилось.

Мы внесли батюшку в дом, лицо у него посинело, я тер его руки, вспрыскивал водой, мне казалось, что он хрипит, я уложил его на постель и побежал за пьяным портным; на этот раз он еще был довольно трезв, схватил ланцет, бинт и побежал со мною. Раза три просек руку, кровь не идет... я стоял ни живой ни мертвый; портной вынул табакерку, понюхал, потом начал грязным платком обтирать инструмент.

— Что?— спросил я каким-то не своим голосом.

— Не нашего ума дело-с, экскузе[1],— отвечал он,— а извольте молитву читать.

Матушка упала без чувств, у меня сделался озноб, а ноги так и подламывались.

II

После смерти отца матушка не препятствовала, и я выхлопотал себе наконец увольнение из семинарии и вступил в Московскую медико-хирургическую академию студентом. Читая печатную программу лекций, я увидел, что адъюнкт ветеринарного искусства, если останется время, будет читать студентам, оканчивающим курс, *общую психиатрию,* то есть науку о душевных болезнях. Я с нетерпением ждал конца года, и хотя мне еще не приходилось слушать психиатрии, явился на первую лекцию адъюнкта. Но я тогда так мало был образован по медицинской части, что почти ничего не понял, хотя слушал с таким вниманием, что до сих пор помню красноречивое вступление ветеринарного врача. «Психиатрия,— говорил он,— бесспорно, самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но зато нравственное влияние ее самое благотворное. Ни метафизика, ни философия не могут так ясно доказать независимость души от тела, как психиатрия. Она учит, что все душевные болезни — расстройства телесные, она учит, следственно, что без тела, без сей скудельной оболочки, дух был бы вечно здрав» и проч. Я уже в семинарии знал Вольфиеву философию, но совершенно ясно изложения адьюнкта не понимал, хотя и радовался, что самая медицина служит доказательством высоких метафизических соображений.

Когда я порядком изучил приуготовительные части, я стал мало-помалу делать собственные наблюдения над одержимыми душевными болезнями, тщательно записывая все виденное в особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводил я почти всегда в доме умалишенных. Все наблюдения мои вели постоянно к мысли, поразившей меня при созерцании спавшего Левки, то есть что официальные, патентованные сумасшедшие, в сущности, и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее

[1] извините (от *фр.* excusez).

тех. Странные поступки безумных, раздражительную их злобу объяснял я себе тем, что все окружающее нарочно сердит их и ожесточает беспрерывным противуречием, жестким отрицанием их любимой идеи. Замечательно, что люди делают все это только в домах умалишенных; вне их существует между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признают пункты помешательства друг в друге. Все несчастие явно безумных — их гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально поврежденные, со всею злобою слабых характеров, запирают их в клетки, поливают холодной водой и проч.

Главный доктор в заведении был добрейший человек в мире, но, без сомнения, более поврежденный, нежели половина больных его (он надевал, например, на себя один шейный и два петличных ордена для того, чтобы пройти по палатам безумных; он давал чувствовать фельдшерам, что ему приятно, когда они говорят «ваше превосходительство», а чином был статский советник, и разные другие шалости ясно доказывали поражение больших полушарий мозга); больные ненавидели его оттого, что он сам, стоя на одной почве с ними, вступал всегда в соревнование. «Я китайский император»,— кричал ему один больной, привязанный к толстой веревке, которой по необходимости ограничили высочайшую власть его. «Ну когда же китайский император сидит на веревке?» — отвечал добрейший немец с пресерьезным видом, как будто он сам сомневался, не действительно ли китайский император перед ним. Больной выходил из себя, слыша возражение, скрежетал зубами, кричал, что это Вольтер и иезуиты посадили его на цепь, и долго не мог потом успокоиться. Я, совсем напротив, подходил к нему с видом величайшего подобострастия. «Лазурь неба, прозрачнейший брат солнца,— говорил я ему,— плодородие земли, позволь мне, презренному червю, грязи, отставшей от бессравненных подошв твоих, покапать холодной воды на светлое чело твое, да возрадуется океан, что вода имеет счастие освежать священную шкуру, покрывающую белую кость твоего черепа».

И больной улыбался и позволял с собою делать все, что я хотел.

Обращаю особенное внимание на то, что я для этого

больного не делал ничего особенного, а поступал с ним так, как добрые люди поступают друг с другом всегда — на улице, в гостиной.

В заведение ездил один тупорожденный старичок, воображавший, что он гораздо лучше докторов и смотрителей знает, как надобно за больным ходить, и всякий раз приказывал такой вздор, что за него делалось стыдно; однако главный доктор с непокрытой головой слушал его до конца благоговейно и не говорил ему, что все это вздор, не дразнил его, а китайского императора дразнил. Где же тут справедливость!

Продолжая мои наблюдения, я открыл, что между собой нередко сумасшедшие признают друг друга; эти уже ближе к обыкновенному гражданскому благоустройству. Так, в V палате жили восемь человек легко помешанных в большой дружбе. Один из них сошел с ума на том, что он сверх своей порции имеет призвание есть по полупорции у всех товарищей, основывая пресмешно свои права на том, что его отец умер от объядения, а дед опился. Он так уверил своих товарищей, что ни один из них не смел есть своей порции, не отдав ему лучшей части, не смел ее взять украдкой, боясь угрызений совести. Когда же изредка кто-либо из дерзких скептиков утаивал кусок, он гордо уличал преступного, и шесть остальных готовы были оттаскать злодея; он называл его вором, стяжателем; и глава этой общины до того добродушно верил в свое право, что, не имея возможности съедать все набранное, с величавой важностью награждал избранных их же едою, и награжденный точил слезы умиления, а остальные — слезы зависти.

Нельзя отказать этим безумным в высоком политическом смысле, так точно, как нельзя отказать в безумии людям, не только считающим себя здоровыми (самые бешеные собою совершенно довольны), но признаваемым за таких другими. Для убедительного доказательства присовокуплю отрывок из моего журнала, предпослав оному следующую краткую диагностику безумия.

Главные признаки расстройства умственных способностей состоят:

а) в неправильном, но и непроизвольном сознании окружающих предметов;

б) в болезненной упорности, стремящейся сохранить

это сознание с явным даже вредом самому больному, и отсюда —

c) тупое и постоянное стремление к целям несущественным и упущение целей действительных.

Этого достаточно для того, чтобы убедиться в истине моих выводов.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА

Субъект 29. Мещанка Матрена Бучкина. Сложение сангвиническое, наклонность к толщине, лет тридцати, замужем.

Субъект этот находится у меня в услужении в должности кухарки, а потому я изучал его довольно внимательно в главных психических и многих физиологических отправлениях. Alienatio mentale[1], не подлежащее никакому сомнению; все умственные отправления поражены, несмотря на хорошие врожденные способности, что доказывается сохранившеюся ловкостию обсчитывать при покупках и утаивать половину провизии. Как женщина Матрена живет более сердцем, нежели умом; но все ее чувства так ниспровергнуты болезненным отклонением деятельности мозга от нормального отправления, что они не только не человеческие, но и не животные.

а) Чувство любви.

Не видать, чтобы у нее была особенная нежность к мужу, но отношения их в высшей степени замечательны и драгоценны как патологический факт. Муж ее — сапожник и живет в другом доме, он приходит к ней обыкновенно утром в воскресенье. Матрена покупает на последние деньги простого вина и печет пирог или блины. Часу в десятом муж ее напивается пьян и тотчас начинает ее продолжительно и больно бить; потом он впадает в летаргический сон до понедельника, а проснувшись, отправляется с страшной головной болью за свою работу, питаясь приятной надеждой через семь дней снова отпраздновать так семейно и кротко воскресный день.

Так как она приходила всякий раз с горькими жалобами ко мне на своего мужа, я советовал ей не покупать ему вина, основываясь на том, что оно имеет на него дурное влияние. Но больная весьма оскорбля-

[1] Умопомешательство (*лат.*).

лась моим советом и возражала, что она не бесчестная какая-нибудь и не нищая, чтобы своему законному мужу не поднести стакан вина — свят день до обеда, что, сверх того, она покупает вино на свои деньги, а не на мои, и что если муж ее и колотит, так все же он богом данный ей муж. Ответ этот, много раз повторяемый, очень замечателен. Можно добраться по нем до странных законов мышления мозга, пораженного болезнию; ни одного слова нет в ее ответе, которое бы шло к моему замечанию, а при болезни мозга ей казалось, что она вполне опровергала меня.

Но до какой степени и это поверхностно, я доказываю тем, что стоило мне, продолжая мои наблюдения, сказать ей: «А ты зачем с ним споришь, ты бы смолчала, ведь он твой муж и глава?» — тогда больная приходила в состояние, близкое мании, и с сердцем говорила: «Он злодей мне, а не муж, я ему не дура досталась молчать, когда он несет всякий вздор!» И тут она начинала бранить не только его, но и барыню свою, которая, истинно в материнских попечениях своих о подданных, сама приняла на себя труд избрать ей мужа; выбор пал на сапожника не случайно, а потому, что он крепко хмелем зашибал, так барыня думала, что он остепенится, женившись, — конечно, не ее вина, что она ошиблась, errare humanum est![1]

b) Отношение к детям.

Любопытно до высшей степени и имеет двойной интерес. Тут я имел случай видеть, как с самого дня рождения прививают безумие. Сначала чисто механически крепким пеленанием, причем сдавливают ossa parietalia[2] черепа, чтобы помешать мозговому развитию, — это с своей стороны уже очень действительно. Потом употребляются органические средства; они состоят преимущественно в чрезмерном развитии прожорливости и в дурном обращении. Когда организм ребенка не изловчился еще претворять всю дрянь, которая ему давалась, от грязной соски до жирных лепешек, дитя иногда страдало; мать лечила сама и в медицинских убеждениях своих далеко расходилась со всеми врачами, от Иппократа до Боергава и от Боергава до Гуфланда; иногда она откачивала его так, как спасают утопленников

---

[1] человеку свойственно ошибаться! (*лат.*)

[2] теменные кости (*лат.*).

(средство совершенно безвредное, если утопленник умер, и способное показать усердие присутствующих), ребенок впадал в морскую болезнь от качки, что его действительно облегчало, или мать начинала на известном основании Ганеманова учения клин клином вышибать, кормить его селедкой, капустой; если же ребенок не выздоравливал, мать начинала его бить, толкать, дергать, наконец прибегала к последнему средству — давала ему или настойки, или макового молока и радовалась очевидной пользе от лекарства, когда ребенок впадал в тяжелое опьянение или в летаргический сон. В дополнение следует заметить, что Матрена, на свой манер, чрезвычайно любила ребенка. Любовь ее к детям была совершенно вроде любви к мужу: она покупала на скудные деньги свои какой-нибудь тафтицы на одеяльце и потом бесщадно била ребенка за то, что он ненарочно капал на него молоко. Мне очень жаль, что я скоро расстался с Матреной и не мог доучить этот интересный субъект; к тому же я впоследствии услышал, что ее ребенок не выдержал воспитания и умер.

c) и d) Отношения гражданские и общественные; отношения к церкви и государству...

Но я полагаю, сказанного совершенно достаточно, чтобы убедиться, что жизнь этого субъекта проходила в чаду безумия. А посему снова обращаюсь к прерванной нити моего жизнеописания, которое с тем вместе и есть описание развития моей теории.

По окончании курса меня отправили лекарем в один пехотный полк. Я не нахожу нужным в предварительной части говорить о наблюдениях, сделанных мною на сем специальном поприще безумия, я им посвятил особый отдел в большом сочинении моем[1]. Перехожу к более разнообразному поприщу. Через несколько лет по распоряжению высшего начальства, которому, пользуясь сим случаем, свидетельствую искреннейшую благодарность за начальственное внимание,— получил я место по гражданскому ведомству; тут с большим досугом предался я сравнительной психиатрии. Для занятий и наблюдений я избрал на первый случай два заведения — дом умалишенных и канцелярию врачебной управы.

Добросовестно изучая субъекты в обоих заведениях,

[1] См.: Сравнительной психиатрии часть II, глава IV. Марсомания, отдел I. Марсомания мирная и т. д. (*Примеч. А. И. Герцена.*)

я был поражен сходством чиновников канцелярии с больными; разумеется, наружные различия тоже бросались в глаза, но врач должен идти далее,— по наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различие между писарями и больными состояло в образе поступления в заведение: первые просились об определении, а вторые были определяемы высшим начальством вследствие публичного испытания в губернском правлении. Но однажды помещенные в канцелярию писаря тотчас подвергались психической эпидемии, весьма быстро заражавшей все нормально человеческое и еще быстрее развивавшей искаженные потребности, желания, стремления; целые дни работали эти труженики с усердием, более нежели с усердием, с завистью; штаты тогда были еще невероятные, едва эти бедняки в будни досыта наедались и в праздники допьяна напивались, а ни один не хотел заняться каким-нибудь ремеслом, считая всякую честную работу не совместною с человеческим достоинством, дозволяющим только брать двугривенные за справки. Признаюсь, когда я вполне убедился, что чиновничество (я, разумеется, далее XIII класса восходить не смею) есть особое специфическое поражение мозга, мне опротивели все эти журнальные побасенки, наполненные насмешками над чиновниками. Смеяться над больными показывает жестокость сердца.

Влияние эпидемии до того сильно, что мне случалось наблюдать ее действие на организации более крепкие и здоровые, и тут-то я увидел всю силу ее. Какое-то беспокойное чувство, похожее на угрызение совести, овладевало вновь поступавшими здоровыми субъектами; им становилось заметно тягостно быть здоровыми, они так страдали тоскою по безумию, что излечались от умственных способностей разными спиртными напитками, и я заметил, что при надлежащем и постоянном употреблении их они действительно успевали себя поддерживать в искусственном состоянии безумия, которое мало-помалу становилось естественным.

От чиновников я перешел к прочим жителям города, и в скором времени не осталось ни малейшего сомнения, что все они поврежденные. Предоставляю тем, которые долго трудились над каким-нибудь открытием, оценить то чувство радости, которым исполнилось сердце мое, когда я убедился в этом драгоценном факте.

Городок наш вообще оригинален, это губернское правление, обросшее разными домами и жителями, собравшимися около присутственных мест; он тем отличается от других городов, что он возник, собственно, для удовольствия и пользы начальства. Начальство составило сущность, цвет, корень и плод города. Остальные жители — как купцы, мещане — больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу без купцов и мещан. Все получали смысл только в отношении к начальству (и к откупу, впрочем); мастеровые — например, портные, сапожники — шили для чиновников фраки и сапоги, содержатель трахтира имел для них бильярд. Прочие не служащие в городе занимались исключительно произведением тех средств, на которые чиновники заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярде.

В нашем городке считалось пять тысяч жителей; из них человек двести были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи семьсот человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые денно и нощно работали, не выработывали ничего, а те, которые ничего не делали, беспрерывно выработывали, и очень много.

Утвердив на прочных началах общую статистику помешательства, перейдем снова к частным случаям. В качестве врача я был часто призываем лечить тело там, где следовало лечить душу; невероятно, в каком чаду нелепостей, в каком резком безумии находились все мои пациенты обоих полов.

«Пожалуйте сейчас к Анне Федоровне, Анне Федоровне очень дурно». — «Сию минуту, еду». Анна Федоровна — лет тридцати женщина, любившая и любящая многих мужчин, за исключением своего мужа, богатого помещика, точно так же расположенного ко всем женщинам, кроме Анны Федоровны. У них от розовых цепей брачных осталась одна, которая обыкновенно бывает крепче прочих, — ревность, и ею они неутомимо преследовали друг друга десятый год. Приезжаю; Анна Федоровна лежит в постеле с вспухшими глазами, у нее жар, у нее боль в груди; все показывает, что было семейное Бородино, дело горячее и продолжительное. Люди ходят испуганные, мебель в беспорядке, вдребезги разбитая трубка (явным образом не случайно) лежит в углу и переломленный чубук — в другом.

— У вас, Анна Федоровна, нервы расстроены, я вам пропишу немножко лавровишневой воды, на свет не ставьте — она портится, так принимайте... сколько бишь вам лет?— капель по двадцать.— Больная становится веселее и кусает губы.—Да знаете ли что, Анна Федоровна, вам бы надо ехать куда-нибудь, ну хоть в деревню; жизнь, которую вы ведете, вас расстроит окончательно.

— Мы едем в мае месяце с Никанор Ивановичем в деревню.

— А! Превосходно — так вы останьтесь здесь. Это будет еще лучше.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вам надобен покой безусловный, тишина; иначе я не отвечаю за то, что наконец из всего этого выйдут серьезные последствия.

— Я несчастнейшая женщина, Семен Иванович, у меня будет чахотка, я должна умереть. И все виноват этот изверг — ах, Семен Иванович, спасите меня.

— Извольте. Только мое лекарство будет не из аптеки, вот рецепт: «Возьми небольшой чистенький дом, в самом дальнем расстоянии от Никанор Ивановича, прибавь мебель, цветы и книги. Жить, как сказано, тихо, спокойно». Этот рецепт вам поможет.

— Легко вам говорить, вы не знаете, что такое брак.

— Не знаю —но догадываюсь; полюбовное насилие жить вместе — когда хочется жить врозь, и совершеннейшая роскошь — когда хочется и можно жить вместе; не так ли?

— О, вы такой вольнодум! Как я покину мужа!

— Анна Федоровна, вы меня простите, одна долгая практика в вашем доме позволяет мне идти до такой откровенности, я осмелюсь сделать вам вопрос.

— Что угодно, Семен Иванович, вы—друг дома, вы...

— Любите ли вы сколько-нибудь вашего мужа?

— Ах, нет, я готова это сказать перед всем светом, безумная тетушка моя сварганила этот несчастный брак.

— Ну, а он вас?

— Искры любви нет в нем. Теперь почти в открытой интриге с Полиной, вы знаете, — мне бог с ним совсем, да ведь денег что это ему стоит...

— Очень хорошо-с. Вы друг друга не любите, скучаете, вы оба богаты — что вас держит вместе?

— Да помилуйте, Семен Иванович, за кого же вы меня считаете, моя репутация дороже жизни, что обо мне скажут?

— Это конечно. Но, боже мой, — половина первого! Что это, как время-то? Да-с, так по двадцати каплей лавровишневой воды, хоть три раза до ночи, а я заеду как-нибудь завтра взглянуть.

Я только в залу, а уж Никанор Иванович, небритый, с испорченным от спирту и гнева лицом, меня ждет.

— Семен Иванович, Семен Иванович, ко мне в кабинет.

— Чрезвычайно рад.

— Вы честный человек, я вас всю жизнь знал за честного человека, вы благородный человек — вы поймете, что такое честь. Вы меня по гроб обяжете, ежели скажете истину.

— Сделайте одолжение. Что вам угодно?

— Да как вы считаете положение жены?

— Оно не опасно; успокойтесь, это пройдет; я прописал капельки.

— Да черт с ней, не об этом дело, по мне хоть сегодня ногами вперед да и со двора. Это змея, а не женщина, лучшие лета жизни отняла у меня. Не об этом речь.

— Я вас не понимаю.

— Что это, ей-богу, с вами? Ну, то есть болезнь ее подозрительна или нет?

— Вы желаете знать насчет того, нет ли каких надежд на наследничка?

— Наследничка — я ей покажу наследничка! Что это за женщина! Знаете, для меня уж коли женщина в эту сторону, все кончено — нет, не могу! Законная жена, Семен Иванович, она мое имя носит, она мое имя пятнает.

— Я ничего не понимаю. А впрочем, знаете, Никанор Иванович, жили бы вы в разных домах, для обоих было бы спокойнее.

— Да-с — так ей и позволить, ха-ха-ха, выдумали ловко! Ха-ха-ха, как же — позволю! Нет, ведь я не француз какой-нибудь! Ведь я родился и вырос в благочестивой русской дворянской семье, нет-с, ведь я знаю закон и приличие! О, если бы моя матушка была жива, да она из своих рук ее на стол бы положила. Я знаю ее проделки.

— Прощайте, почтеннейший Никанор Иванович, мне еще к вашей соседке надобно.

— Что у нее?— спросил врасплох взятый супруг и что-то сконфузился.

— Не знаю — присылали горничную, дочь что-то все нездорова,— девка не умела рассказать порядком.

— Ах, боже мой,— да как же это? Я на днях видел Полину Игнатьевну.

— Да-с, бывают быстрые болезни.

— Семен Иванович, я давно хотел — вы меня извините, ведь уж это так заведено: священник живет от алтаря, а чиновник от просителей, я так много доволен вами. Позвольте вам предложить эту золотую табакерку, примите ее в знак искренней дружбы,— только, Семен Иванович, я надеюсь, что, во всяком случае,— молчание ваше...

— Есть вещи, на которые доктор имеет уши — но рта не имеет.

Никанор Иванович обнял меня и своими мокрыми губами и потным лицом произвел довольно неприятное впечатление на щеке.

И кто-нибудь скажет, что это не поврежденные! Позвольте еще пример.

Рядом со мною живет богатый помещик, гордый своим имением, скряга. Он держит дом назаперти, никого не пускает к себе, редко сам выезжает, и что делает в городе, понять нельзя; не служит, процессов не имеет, деревня в пятидесяти верстах, а живет в городе. Были, правда, слухи, что один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил; он так испугался его взгляда, что очень ласково отпустил мужика, а сам на другой день перебрался в город. Главное занятие его — стяжание и накапливание денег; но это делается за кулисами; я вам хочу показать его в торжественных минутах жизни. У него в гостинице и на почте закуплены слуги, чтобы извещать его, когда по городу проезжает какой-нибудь сановник, генерал внутренней стражи, генерал путей сообщения, ревизующий чиновник не ниже V класса.

Сосед мой, получивши весть, тотчас надевал дворянский мундир и отправлялся к его превосходительству; тот, разумеется, с дороги спал, соседа не пускали; он давал на водку целковый, синенькую, упорствовал, дожидался часы целые,— наконец об нем докладывали.

Генерал (ибо в эти минуты и чиновник V класса чувствовал себя не только генералом, но генерал-фельдмаршалом) принимал просителя, не скрывая ярости и не воздавая весу и меры словам и движениям. Проситель после долгих околичностей докладывал, что вся его просьба, от которой зависит его счастие, счастие его детей и жены, состоит в том, чтобы его превосходительство изволило откушать у него завтра или отужинать сегодня; он так трогательно просил, что ни один высокий сановник не мог противустоять и давал ему слово. Тут наставали поэтические минуты его жизни. Он бросался в рыбные ряды, покупал стерлядь ростом с известного тамбурмажора, и ее живую перевозили в подвижном озере к нему на двор, выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино. Он бегал из комнаты в комнату, бранился с женою, делал отеческие исправления дворецкому, грозился на всю жизнь сделать уродом и несчастным повара (для ободрения), звал человек двадцать гостей, бегал с курильницей по комнатам, встречал в сенях генерала, целовал его в шов, идущий под руку. Шампанское лилось у скряги за здравие высокого проезжего. И заметьте, все это из помешательства, все это бескорыстно. И что еще важнее для психиатрии,— что его безумие всякий раз полярно переносилось с обратными признаками на гостя. Гость верил, что он по гроб одолжает хозяина тем, что прекрасно обедал. Каковы диагностические знаки безумия!

Отовсюду текли доказательства очевидные, не подлежащие сомнению моей основной мысли.

Успокоившись насчет жителей нашего города, я пошел далее. Выписал себе знаменитейшие путешествия, древние и новые исторические творения и подписался на аугсбургскую «Всеобщую газету».

Слезы умиления не раз наполняли глаза мои при чтении. Я не говорю уже об аугсбургской газете, на нее я с самого начала смотрел не как на суетный дневник всякой всячины, а как на всеобщий бюллетень разных богоугодных заведений для несчастных, страждущих душевными болезнями. Нет! Что бы историческое я ни начинал читать, везде, во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное хроническое сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббона — никакой разницы: все

они, равно как и наш отечественный историк Карамзин,— все доказывают одно: что история не что иное, как связный рассказ родового хронического безумия и его медленного излечения (этот рассказ даст по наведению полное право надеяться, что через тысячу лет двумя-тремя безумиями будет меньше). Истинно, не считаю нужным приводить примеры; их миллионы. Разверните какую хотите историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы; вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайпость, что восхваляют, что порицают,— и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине — и истине, полной утешения на второй взгляд, что все это следствие расстройства умственных способностей. Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие почти так же очевидно, как в новом. Тут Курций бросается в яму для спасения города, там отец приносит дочь на жертву, чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку, и этого бешеного не посадили на цепь, не свезли в желтый дом, а признали за первосвященника. Здесь персидский царь гоняет море сквозь строй, так же мало понимая нелепость поступка, как его враги афиняне, которые цикутой хотели лечить от разума и сознания. А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство! Разве трудно было рассудить, что эти средства палачества, тюрем, крови, истязаний ничего не могли сделать против сильных убеждений, а удовлетворяли только животной свирепости гонителей?

Как только христиан домучили, дотравили зверями, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняли свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики.

Кто не видит ясные признаки безумия в средних веках — тот вовсе незнаком с психиатрией. В средних веках все безумно. Если и выходит что-нибудь путное, то совершенно противуположно желанию. Ни одного здорового понятия не осталось в средневековых головах, все перепуталось. Проповедовали любовь — и жили в

ненависти, проповедовали мир — и лили реками кровь. К тому же целые сословия подвергались эпидемической дури — каждое на свой лад; например, одного человека в латах считали сильнее тысячи человек, вооруженных дубьем, а рыцари сошли с ума на том, что они дикие звери, и сами себя содержали по селлюлярному порядку новых тюрем в укрепленных сумасшедших домах по скалам, лесам и проч.

История доселе остается непонятною от ошибочной точки зрения. Историки, будучи большею частию не врачами, не знают, на что обращать внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий; совсем напротив, надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения нелепости и ненужности.

История — горячка, производимая благодетельной натурой, посредством которой человечество пытается отделываться от излишней животности; но как бы реакция ни была полезна, все же она — болезнь. Впрочем, в наш образованный век стыдно доказывать простую мысль, что история — аутобиография сумасшедшего.

Интерес летописей и путешествий тот же самый, который мы находим в анатомико-патологическом кабинете. Кстати — о путешествиях. Они не менее истории принесли мне подтверждений, и тем приятнейших, что все описываемые в них безумия делались не за тысячу лет, а совершаются теперь, сейчас, в ту минуту, как я пишу, и будут совершаться в ту минуту, как вы, любезный читатель, займетесь чтением моего отрывка. Доказательства и здесь совершеннейшая роскошь; разверните Магеллана, разверните Дюмон д'Юрвиля и читайте первое, что раскроется,— будет хорошо: вам или индеец попадется какой-нибудь, который во славу Вишны сидит двадцать лет с поднятой рукой и не утирает носу для приобретения бесконечной радости на том свете, или женщина, которая из учтивости и приличия бросается на костер, на котором жгут труп мужа. Восток — классическая страна безумия, но, впрочем, и в Европе очень удовлетворительные симптомы и в ирландском вопросе, и в вопросе о пауперизме, и во многих других. Да, сверх того, в Европе оста-

лись несколько видоизмененными и все азиатские глупости, собственно переменились только названия.

Здесь я останавливаюсь. Я хотел передать публике на первый случай небольшой отрывок. Кто желает более знать по сей части, тот пусть купит курс психиатрии, когда он выйдет (о цене и условиях подписки своевременно через ведомости объявлено будет).

Объяснительное прибавление от автора

Я не могу положить пера, не сказав еще несколько объяснительных и, так сказать, предупредительных замечаний. Знаю я, что неблагонамеренность обвинит меня в желании блеснуть новизною, в гордости и пренебрежении к больным — за то, что я их не считаю здоровыми. Совесть моя чиста. Не гордость и пренебрежение, а любовь привела меня к моей теории, и когда я совершенно убедился в истинности ее, весь нравственный быт мой переменился; мне стало легко, упования и надежды расцвели, как в молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицания и осуждения заменились теплым чувством сострадания к больным, и вместо желания отвратительной мести за действия, явным образом сделанные под влиянием болезни, явилось кроткое снисхождение и сильное желание помочь больному. (Я даже в доме умалишенных вывел наказания, не желая вступать в соревнование с безумными, ни побеждать их в нелепости). Что же касается до предполагаемого мною обвинения в желании блеснуть новизною, то я обязан заметить, что в разных формах мысль медицинская, мною проведенная, являлась многим в голову. Аристотель называл Анаксагора единым трезвым в сонме пьяных. Спиноза видел одно бессилие разума в человеке безнравственном, Бентам прямо сказал, что «всякий преступник прежде всего дурной счетчик», человек с здравым смыслом не может дурно считать. Бентам прав; он, однако, не понял, что если преступник делает арифметические ошибки слишком грубые, то все остальные — тоже дурные счетчики, но ошибаются в мелочах или с общего согласия. Люди окружены целой атмосферой, призрачной и одуряющей, всякий человек более или менее, как Матренина дочь (зри выше), с малых лет, при содействии родителей и семьи, приобща-

ется мало-помалу к эпидемическому сумасшествию окружающей среды (немецкие врачи называют эту болезнь der historische Standpunkt[1]); вся жизнь наша, все действия так и рассчитаны по этой атмосфере, в том роде, как нелепые формы ихтиосауров, мастодонтов были рассчитаны и сообразны первобытной атмосфере земного шара.

Местами воздух становится чище, болезни душевные укрощаются. Но нелегко переработывается в душе человеческой родовое безумие; большие усилия надобно употреблять для малейшего шага. Вспомните романтизм — эту духовную золотуху, одну из злотворнейших психических эпидемий, поддерживающую организм в беспрерывном и неестественном раздражении, поселяющую отвращение к всему действительному, практическому и истощающую страстями вымышленными.

Вспомните аристократизм, эту застарелую подагру нравственного мира, иудейскую проказу исключительной национальности и проч.

Предвижу еще один вопрос: что же ты, занимавшийся столько лет исторической психиатрией,— открыл ли какие-нибудь средства лечения? Что же плод твоих трудов?

Во-первых, истина, во-вторых, точка зрения, в-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только.

Средств я нашел мало, но средства есть. При дальнейшем развитии органической химии, при благодетельной помощи натуры можно будет выделывать и поправлять вещество мозга.

Мы имеем уже драгоценные наблюдения касательно возможности химически улучшать и видоизменять духовную сторону, хотя она совершенно независима. Так, например, прилично употребленное лечение шампанским располагает человека к дружбе, к доблести, к чувствам радостным и объятиям разверстым. Действуя же бургонским точно таким же образом, то есть отправляя его через желудок в вены и оттуда в голову, выходит результат совсем иной: человек делается мрачен, несообщителен, более склонен к ревности,

---

[1] исторической точкой зрения (*нем.*).

нежели к любви, к раскаянию, нежели к наслаждению, к плачу о грехах мира сего, нежели к снисхождению,— для меня тут ключ к психотерапии, и вот я десятый год, не щадя ни издержек, ни здоровья, занимаюсь постоянно изучением действия на умственные способности вышеозначенных медикаментов и разных других. Чего не сделает человек из пламенной любви к науке!

Москва, 10 февраля 1846



МИМОЕЗДОМ

Отрывок

Ехавши как-то из деревни в Москву, я остановился дни на два в одном губернском городе. На другое утро явилась ко мне жена одного крестьянина из нашей вотчины, который торговал тут. Она была в отчаянии: муж ее сидел шестой месяц в остроге, и до нее дошел слух, что его скоро накажут. Я расспросил дело; никакой важности в преступлении его не было.

Я знавал когда-то товарища председателя, честнейшего человека в мире и большого оригинала; отправляюсь прямо к нему в уголовную палату; присутствие еще не начиналось; мой старичок, с своим добродушным лицом и с синими очками на глазах, сидел один-одинехонек, читая страшной толщины дело. Мы с ним не видались года три, он обрадовался мне, и я ему обрадовался, не потому, чтобы мы друг друга особенно любили, а потому, что человек всегда радуется, когда увидит знакомые черты после долгого отсутствия. Я сказал ему о причинах моего появления. Он велел подать дело; резолюция была подготовлена, я попросил его обратить внимание на некоторые «облегчающие обстоятельства», он согласился в возможности уменьшить наказание.

Поблагодаривши его, я не мог удержаться, чтобы не сказать ему, дружески взявши его за руку:

— Владимир Яковлевич, ну, а если б я не пришел да не попросил бы вас перечитать дело, мужика-то бы наказали строже, нежели надобно.

— Что делать, батюшка,— отвечал старик, поднимая свои синие очки на лоб,— совесть у меня чиста; я, не читавши всего дела, никогда не подпишу прото-

кола, но, признаюсь, как огня боюсь отыскивать облегчающие причины.

— Ну, вас нельзя обвинить ни в снисходительности, ни в особом желании облегчить участь подсудимого.

— Совсем напротив. Я двадцатый год служу в этой палате, а всякий раз как придется подписывать строгий приговор, так мурашки по телу пробегут.

— Так отчего же вы не любите облегчающих обстоятельств?

— Ведут далеко, вот что; право, вы, нынешние, все только вершки хватаете — ну, ведь вы, чай, служили там где-нибудь в министерстве, а дела, наверно, в руки не брали; но вам оно все темная грамота. Не хотите ли позаняться у нас в архиве, прочтите дела хоть за два последние года, вперед пригодится, и судопроизводство узнаете, и людей тоже. Тут и поймете, что такое отыскивать оправдания и куда это ведет.

— Благодарю за доброе предложение, однако прежде, нежели я перееду в ваш архив на несколько месяцев,— скорее не прочтешь двух полок,— объясните теперь еще более непонятное для меня отвращение ваше от облегчающих обстоятельств. Хлопот, что ли, много, времени недостает рыться в каждом деле?

— Господи, прости мои прегрешения, да что я, батюшка, в ваших глазах турка или якобинец какой, что из лени (заметьте, якобинцев во всем обвиняли прежде, но исключительно Владимиру Яковлевичу принадлежит честь обвинения их в лени) стану усугублять участь несчастного; говорю вам — далеко поведет.

— Воля ваша, я готов согласиться, что я непростительно туп, но не понимаю вас.

— О... о... ох, эти мне петербургские чиновники, портфельчик эдакий сафьянный с золотым замочком под мышкой, а плохие дельцы. Да помилуйте, возьмите любое дело да начните отыскивать облегчающие обстоятельства, от одного к другому, от другого к третьему, так к концу-то и выйдет, что виноватого вовсе нет. Что же за порядки?

— Тем лучше.

— Так это, по-вашему, за все по головке гладить. Это где-нибудь в Филадельфии хорошо, где люди друг друга едят, как же в благоустроенном обществе виноватого не наказать?

— Да какой же он виноватый, когда вы сами найдете ему оправдание?

— Ну, да эдак и всякого оправдаешь, коли дать волю мудрованиям. Я разве затем тут посажен? Я старого покроя человек, мое дело — буквальное исполнение, да и так нехорошо — ну, как же, видишь, что человек украл, вор есть, а тут пойдет... да он от голоду украл, да мать больна, да отец умер, когда ему было три года, он по миру с тех пор ходил, привык бродяжничать... и конца нет; так вора и оставить без наказания? Нет, батюшка, собственное сознание есть, улики есть — прошу не гневаться, XV том Свода законов да статейку. Вот оттого эти облегчительные обстоятельства для меня нож вострый, мешают ясному пониманию дела.

Теперь я, знаете, понаторел и попривык, а, бывало, сначала, ей-богу, измучишься, такой скверный нрав. Ночью придет дело в голову, вникнешь, порассудишь — не виноват, да и только, точно на смех, уснуть не дает: кажется, из чего хлопотать,— не то что родной или друг, а так — бродяга, мерзавец, беглый... поди ты, а сердце кровью обливается. Оправдай этого, оправдай другого, а там третьего... на что же это похоже, я себя на службе не замарал, честное имя хочу до могилы сохранить. Что же начальство скажет — все оправдывает, словно дурак какой-нибудь, да и самому совестно. Я думал, думал, да и перестал искать облегчающих причин. Наша служба мудреная, не то что в гражданской палате — доверенность засвидетельствовал, купчую совершил, духовную утвердил, отпускную скрепил, да и спи спокойно. А тут подумаешь — такой-то Еремей вот две недели тому назад тут стоял, говорил, а идет теперь по Владимирской; такая-то Акулина идет тоже, да и, знаете... того... на ногах... ну и сделается жаль. Понимаете теперь?

— Понимаю, понимаю, добрейший и почтеннейший Владимир Яковлевич. Прощайте, этого разговора я не забуду.

— Пожалуйста, батюшка, по Питеру-то не рассказывай такого вздору, ну, что скажет министр или особа какая — «Баба, а не товарищ председателя».

— О нет, нет, будьте уверены — я вообще с *особами* ни о чем не говорю.

Москва. Май 1846



ПОВРЕЖДЕННЫЙ

Повесть

I

В одну очень тяжелую эпоху моей жизни, после бурь и утрат и перед еще большими бурями и утратами, встретил я одно странное лицо, которого слова и суждения мне сделались больше понятны спустя некоторое время.

Человек этот попался мне на дороге, точно как эти мистические лица чернокнижников, пилигримов, пустынников являются в средневековых рассказах, для того чтобы приготовить героя к печальным событиям, к страшным ударам, вперед примиряя с судьбой, вооружая терпением, укрепляя думами.

Дело было на Корниче.

Я приплыл на лодке из Ниццы в небольшой городок; оттуда я собирался ехать сухим путем, но лошади единственного ветурина[1] только что воротились, надобно было им дать отдохнуть, по его словам, «два маленьких часа», что значило, по крайней мере, четыре очень больших. Мне было некуда торопиться и совершенно все равно, днем позже или раньше приеду в Геную. Я заказал себе завтрак и пошел бродить по берегу.

Какое счастие, что есть на свете полоса земли, где природа так удивительно хороша и где можно еще жить до поры до времени свободному человеку.

Когда душа носит в себе великую печаль, когда человек не настолько сладил с собою, чтобы примириться с прошедшим, чтобы успокоиться на понимании,—

[1] извозчика (от *ит.* vetturino).

ему нужна и даль, и горы, и море, и теплый, кроткий воздух; нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в отчаяние, чтобы он не зачерствел. Хороший край нужнее хороших людей. Люди готовы сострадать, но почти никогда не умеют; от их сострадания становится хуже, они бередят раны, они неловки. Сверх того, люди бесят или рассеивают; к чему еще беситься, к чему, с другой стороны, бежать от печали, это так же робко и слабо, как глупо бежать от наслаждений, когда они еще веселят.

Досадно, что я не пишу стихов. Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... в прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии.

День был удивительный, жар только что начинался, яркое, утреннее солнце освещало маленький городок, померанцевую рощу и море. Пригорок был покрыт лесом маслин. Я лег под старой, тенистой оливой недалеко от берега и долго смотрел, как одна волна за другою шла длинной, выгнутой линией, подымалась, хмурилась, начинала закипать и разливалась, пропадая струями и пеной, в то время как следующая с тем же важным и стройным видом хмурилась и закипала, чтобы разлиться. Нам так чуждо все бескорыстное, так дешево все настоящее, что и в вечном колыхании природы человек невольно ждет чего-то — следующей волны, развязки... вот теперь, кажется, что-то да выйдет... кажется, что теперь, а волна опять разлилась и шумит, шурстя камнями, которые утягивает с собой вглубь, чтобы при первом ветре выбросить их снова на берег.

Волна моей жизни, думалось мне, тоже перегнулась и течет вспять, я чувствую, как она отступает, касается каменьев дна и берега, как увлекает меня назад, не обращая внимания ни на ушибы, ни на усталь и нашептывая в утешение:

Погоди немного,
Отдохнешь и ты!

... Наша жизнь вовсе не наша, все делается помимо нас.

Человек растет, растет, складывается и прежде, нежели замечает, идет уж под гору. Вдруг какой-нибудь удар будит его, и он с удивлением видит, что жизнь не только сложилась, но и прошла. Он тут только замечает тягость в членах, седые волосы, усталь в сердце, вялость в чувствах. Помочь нечем. Узел, которым организм связан и затянут,— личность — слабеет. Жгучие страсти выдыхаются в успокоивающие рассуждения, дикие порывы — в благоразумные отметки, сердце холодеет, привыкает ко всему, мало требует, мало дает, химическое сродство, где может, утягивает составные части в минеральный мир и заменяет их чем-то мертвым, каменным. Безличная мысль и безличная природа одолевают мало-помалу человеком и влекут его безостановочно на свои вечные, неотвратимые кладбища логики и стихийного бытия...

II

... Когда я пришел в гостиницу, на дворе уже было очень жарко, я сел на балконе. Перед глазами тянулась длинной ниткой обожженная солнцем дорога, она шла у самого моря, по узенькой нарезке, огибавшей гору. Мулы, звоня бубенчиками и украшенные красными кисточками, везли бочонки вина, осторожно переступая с ноги на ногу; медленное шествие их нарушилось дорожной каретой, почталион хлопал бичом и кричал, мулы жались к скалистой стене, возчики бранились, карета, покрытая густыми слоями пыли, приближалась больше и больше и остановилась под балконом, на котором я сидел.

Почталион соскочил с лошади и стал откладывать, толстый трактирщик в фуражке Национальной гвардии отворил дверцы и два раза приветствовал княжеским титулом сидевших в карете, прежде нежели слуга, спавший на козлах, пришел в себя и, потягиваясь, сошел на землю.

«Так спят на козлах и так аппетитно тянутся только русские слуги,— подумал я и пристально посмотрел на его лицо; русые усы, сделавшиеся светло-бурыми от пыли, широкий нос, бакенбарды, пущенные прямо в усы на половине лица, и особый националь-

ный характер всех его приемов убедили меня окончательно, что почтенный незнакомец был родом из какой-нибудь тамбовской, пензенской или симбирской передней. Как ни философствуй и ни клевещи на себя, но есть что-то шевелящееся в сердце, когда вдруг неожиданно встречаешь, в дальней дали своих соотечественников. Между тем из кареты выскочил человек лет тридцати, с сытым, здоровым и веселым видом, который дает беззаботность, славное пищеварение и не излишне развитые нервы. Он посадил на нос верховые очки, висевшие на шнурке, посмотрел направо, посмотрел налево и с детским простодушием закричал спутнику в карете:

— Чудо какое место́, ей-богу, прелесть, вот Италия так Италия, небо-то, небо синее, яхонт! Отсюда начинается Италия!

— Вы это шестой раз говорите с Авиньона,— заметил его товарищ усталым и нервным голосом, медленно выходя из кареты.

Это был худощавый, высокий человек, гораздо постарше первого; он почти весь был одного цвета, на нем был светло-зеленый пальто, фуражка из небеленого батиста, под цвет белокурым волосам, покрытым пылью, слабые глаза его оттенялись светлыми ресницами, и, наконец, лицо завялое и болезненное было больше изжелта-зеленоватое, нежели бледное.

Печальная фигура посмотрела молча в ту сторону, в которую показывал его товарищ, не выражая ни удивления, ни удовольствия.

— Ведь это всё оливы, всё оливы,— продолжал молодой человек.

— Оливовая зелень прескучная и преоднообразная,— возразил светло-зеленый товарищ,— наши березовые рощи красивее.

«Ба,— подумал я,— да это старые знакомые, это Ноздрев и Мижуев, переложенные на новые нравы и едущие не в Заманиловку, а в Сен-Ремо».

Молодой человек покачал головой, как будто хотел сказать: «Неисправим, хоть брось!»— и взглянул наверх. Лицо его показалось мне знакомо, но, сколько я ни старался, я не мог припомнить, где я его видел. Русских вообще трудно узнавать в чужих краях, они в России ходят по-немецки без бороды, а в Европе по-русски, отращивая с невероятной скоростью бороду.

Мне не пришлось долго ломать головы. Молодой человек с тем добродушием и с той беззаботной сытостью в выражении, с которыми радовался оливам, бежал ко мне и кричал по-русски:

— Вот не думал, не гадал — истинно говорят, гора с горой не сходится — да вы меня, кажется, не узнаете? Старых знакомых забывать стали?

— Теперь-то очень узнаю; вы ужасно переменились, и борода, и растолстели, и похорошели, такие стали кровь с молоком.

— In corpore sano mens sana,— отвечал он, от души смеясь и показывая ряд зубов, которому бы позавидовал волк.— И вы переменились, постарели — а что? Жизнь-то кладет свои нарезки? Впрочем, мы четыре года не видались; много воды утекло с тех пор.

— Не мало. Как вы сюда попали?

— Еду с больным...

Это был лекарь Московского университета, исправлявший некогда должность прозектора; лет пять перед тем я занимался анатомией и тогда познакомился с ним. Он был добрый, услужливый малый, необыкновенно прилежный, усердно занимавшийся наукой à livre ouvert[1], то есть никогда не ломая себе головы ни над одним вопросом, который не был разрешен другими, но отлично знавший все разрешенные вопросы.

— А! Так этот зеленый товарищ ваш больной; куда же вы его дели?

— Это такой экземпляр, что и в Италии у вас не скоро сыщешь. Вот чудак-то. Машина была хороша, да немного повредилась (при этом он показал пальцем на лоб), я и чиню ее теперь. Он шел сюда, да черт меня дернул сказать, что я вас знаю, он перепугался; ипохондрия, доходящая до мании; иногда он целые дни молчит, а иногда говорит, говорит — такие вещи, ну просто волос дыбом становится, все отвергает, все — оно уж эдак через край; я сам, знаете, не очень бабьим сказкам верю, однако ж все же есть что-то. Впрочем, он претихий и предобрый; ему ехать за границу вовсе не хотелось. Родные уговорили, знаете, с рук долой, ну да и языка-то его побаивались — лакеи, дворники все на откупу у полиции — поди там, оправдывайся. Ему хотелось в деревню, а имение у него с сестрой

[1] без труда; буквально — непосредственно с листа (*фр.*).

неделеное; та и перепугалась — коммунизм, говорит, будем мужикам проповедовать, тут и собирай недоимку. Наконец, он согласился ехать, только непременно в Южную Италию, Magna Graecia![1] Отправляется в Калабрию и ваш покорный слуга с ним в качестве лейбмедика. Помилуйте, что за место, там, кроме бандитов да попов, человека не найдешь; я вот проездом в Марселе купил себе пистолет-револьвер, знаете, четыре ствола так повертываются.

— Знаю. Однако ж должность ваша не из самых веселых, быть беспрестанно с сумасшедшим.

— Ведь он не в самом деле на стену лезет или кусается. Он меня даже любит по-своему, хотя и не даст слова сказать, чтобы не возразить. Я, впрочем, совершенно доволен; получаю тысячу серебром в год на всем готовом, даже сигарок не покупаю. Он очень деликатен, что до этого касается. Чего-нибудь стоит и то, что на свет посмотришь. Да, послушайте, надобно вам показать моего чудака.

— Бог с ним совсем. Кстати, вы не только других не знакомьте, но и сами будьте осторожны, со мной верноподданным дозволяется только грубить, а не то вас, пожалуй, после возвращения из Италии в такую Калабрию пошлют, где ни попов, ни разбойников нет. А может быть, и peggio[2] — такое зададут arpeggio[3].

— Ха-ха-ха — эк язык-то, язык, все тот же, все с ядом, все бы кусаться, вот небось этого не забыли — arpeggio. Не боимся мы, наше дело медицинское; ну, позовут к Леонтию Васильевичу, что же? Я скажу откровенно — помилуйте, генерал, на дороге встретил человека, без живота лежит, не может дальше ехать, ну я ему лауданума с мятой дал, это обязанность звания, долг человечества. Он ведь и поймет, что это вздор, ну, да умный человек, надоело же все в Сибирь да в Сибирь, скажет — ну вперед будьте осторожны, я говорю для вашего собственного блага, это отеческий совет,— так и отпустит. Нынче у нас как-то меньше смотрят за этим, ей богу; у Излера «Пресса» лежит так, как «Петербургские ведомости», просто на столе лежит.

[1] Великая Греция — название Южной Италии (*лат.*).
[2] хуже (*ит.*).
[3] арпеджио (музыкальный термин) (*ит.*).

— И притом еще отборные нумера, не так, как здесь, сплошь да рядом.

— Смейтесь, смейтесь, много небось вы здесь выиграли февральской революцией?

— У... у ... да вы преопасный человек, вы уж разрешили эдак о мятежах и злоумышленниках говорить,— смотрите — до добра это не доведет.

— Я притащу моего пациента — ну что вам в самом деле, через час разъедетесь; он предобрейший человек и был бы преумный.

— Если б не сошел с ума.

— Это несчастие... вам, ей-богу, все равно, а ему рассеяние и нужно и полезно.

— Вы уже меня начинаете употреблять с фармацевтическими целями,— заметил я, но лекарь уже летел по коридору.

Я не подчинился бы его желанию и его русской распорядительности чужою волею, но меня, наконец, интересовал светло-зеленый коммунист-помещик, и я остался его ждать.

Он взошел робко и застенчиво, кланялся мне как-то больше, нежели нужно, и нервно улыбался. Чрезвычайно подвижные мускулы лица придавали странное неуловимое колебание его чертам, которые беспрерывно менялись и переходили из грустно-печального в насмешливое и иногда даже в простоватое выражение. В его глазах, по большей части никуда не смотревших, была заметна привычка сосредоточенности и большая внутренняя работа, подтверждавшаяся морщинами на лбу, которые все были сдвинуты над бровями. Недаром и не в один год мозг выдавил через костяную оболочку свою такой лоб и с такими морщинами, недаром и мускулы лица сделались такими подвижными.

— Евгений Николаевич,— говорил ему лекарь,— позвольте вас познакомить, представьте, какой странный случай, вот где встретился —старый приятель, с которым вместе кошек и собак резали.

Евгений Николаевич улыбался и бормотал:

— Очень рад — случай — так неожиданно — вы извините.

— А помните,— продолжал лекарь,— как мы собачонке сторожа Сычева перерезали пневмогастрический нерв — закашляла голубушка.

Евгений Николаевич сделал гримасу, посмотрел в окно и, откашлянув раза два, спросил меня:

— Вы давно изволили оставить Россию?

— Пятый год.

— И ничего, привыкаете к здешней жизни?— спросил Евгений Николаевич и покраснел.

— Ничего.

— Да-с, но очень неприятная, скучная жизнь за границей.

— И в границах,— прибавил развязный лекарь.

Вдруг, чего я никак не ожидал, мой Евгений Николаевич покатился со смеху и, наконец, после долгих усилий успел настолько успокоиться, чтобы сказать прерывающимся голосом:

— Вот Филипп Данилович все со мной спорит, ха-ха-ха, я говорю, что земной шар или неудавшаяся планета, или больная; а он говорит, что это пустяки; как же после этого объяснить, что за границей и дома жить скучно, противно,— и он опять расхохотался до того, что жилы на лбу налились кровью.

Лекарь лукаво подмигнул мне с таким видом превосходства, что мне стало его ужасно жаль.

— Отчего же не быть больным планетам, — спросил пресерьезно Евгений Николаевич,— если есть больные люди?

— Оттого,— отвечал лекарь за меня,— что планета не чувствует; где нет нервов, там нет и боли.

— А мы с вами что? да для болезни нервов и не нужно, бывает же виноград болен и картофель? Я того и смотрю, что земной шар или лопнет, или сорвется с орбиты и полетит. Как это будет странно, и Калабрия, и Николай Павлович с Зимним дворцом, и мы с вами, Филипп Данилович, все полетит, и вашего пистолета не нужно будет.—Он снова расхохотался и в ту же минуту продолжал, с страстной настойчивостью обращаясь ко мне:— Так жить нельзя, ведь это, очевидно, надобно, чтобы что-нибудь да сделалось; лучше планете сызнова начать; настоящее развитие очень неудачно, есть какой-то фаут[1]. При составе, что ли, или когда месяц отделялся, что-то не сладилось, все идет с тех пор не так, как следует. Сначала болезни были острые; каков был жар внутренний во время геологических пе-

---

[1] промах, ошибка (от *фр.* faute).

реворотов! Жизнь взяла верх, но болезнь оставила следы. Равновесие потеряно, планета мечется из стороны в сторону. Сначала ударилась в количественную нелепость; ну пошли ящерицы с дом величины, папоротники такие, что одним листом экзерциргауз покрыть можно, ну, разумеется, все это перемерло, как же таким нелепостям жить. Теперь в качественную сторону пошло — еще хуже — мозг, мозг, нервы, развивались, развивались до того, что ум за разум зашел. История сгубит человека, вы что хотите говорите, а увидите — сгубит.

После этой выходки Евгений Николаевич замолчал. Подали завтрак, он очень мало ел, очень мало пил и во все время ничего не говорил, кроме «да» и «нет». Перед концом завтрака он спросил бордо, налил рюмку, отведал и поставил ее с отвращением.

— Что,— спросил лекарь,— видно, скверное?

— Скверное,— отвечал пациент, и лекарь принялся стыдить трактирщика, бранить слугу, удивляться корыстолюбию людей, их эгоизму, упрекал в том, что трактирщики берут 35 процентов и все-таки обманывают.

Евгений Николаевич равнодушно заметил, что он не понимает, за что сердится лекарь, что он с своей стороны не видит, отчего трактирщику не брать 65 процентов — если он может, и что он очень умно делает, продавая скверное вино — пока его покупают.

Этим нравственным замечанием кончился наш завтрак.

III

Поврежденный с самого первого разговора удивил меня независимою отвагой своего больного ума. Он был явным образом «надломлен», и хотя лекарь уверял меня, что он во всю жизнь не имел ни большого несчастия, ни больших потрясений, я плохо верил в психологию моего доброго прозектора.

Мы поехали вместе в Геную и остановились в одном из дворцов, разжалованных в наш мещанский век в отели. Евгений Николаевич не показывал ни особенного интереса к моим беседам, ни особенного отвращения от них. С доктором он беспрестанно спорил.

Когда темные минуты ипохондрии подавляли его,

он удалялся, запирался в комнате, редко выходил, был желто-бледен, дрожал, как в ознобе, а иногда, казалось, глаза его были заплаканы. Лекарь побаивался за его жизнь, брал глупые предосторожности, удалял бритвы и пистолеты, мучил больного разводящими и ослабляющими нервы лекарствами, сажал его в теплую ванну с ароматической травой. Тот слушался с желчной и озлобленной страдательностью, возражая на все и все исполняя, как избалованное дитя.

В светлые минуты он был тих, мало говорил, но вдруг речь его неслась, как из прорвавшейся плотины, перерываемая спазматическим смехом и нервным сжатием горла, и потом, скошенная середь дороги, она останавливалась, оставляя слушавшего в тоскливом раздумье. Его странные парадоксальные выходки казались ему легкими, как таблица умножения. Взгляд его действительно был верен и последователен тем произвольным началам, которые он брал за основу.

Он много знал, но авторитеты на него не имели ни малейшего влияния, это всего более оскорбляло хорошо учившегося лекаря, который ссылался как на окончательный суд на Кювье или на Гумбольдта.

— Да отчего мне,— возражал Евгений Николаевич,— так думать, как Гумбольдт. Он умный человек, много ездил, интересно знать, что он видел и что он думает, но меня-то это не обязывает думать, как он. Гумбольдт носит синий фрак — что же, и мне носить синий фрак? Вот небось Моисею так вы не верите.

— Знаете ли,— говорил глубоко уязвленный доктор, обращая речь ко мне,— что Евгений Николаевич не видит разницы между религией и наукой — что скажете?

— Разницы нет,— прибавил тот утвердительно,— разве то, что они одно и то же говорят на двух наречиях.

— Да еще то, что одна основана на чудесах, а другая на уме, одна требует веры, а другая знания.

— Ну чудеса-то там и тут, все равно, только что религия идет от них, а наука к ним приходит. Религия так уж откровенно и говорит, что умом не поймешь, а есть, говорит, другой ум, поумнее, тот, мол, сказывал вот так и так. А наука обманывает, воображая, что понимает *как*... а в сущности, и та и другая доказывают одно, что человек не способен знать всего, а так кое-что таки понимает; в этом сознаться не хочется,

ну, по слабости человеческой, люди и верят, одни Моисею, другие Кювье; какая поверка тут? Один рассказывает, как бог создавал зверей и траву, а другой — как их создавала жизненная сила. Противуположность не между знанием и откровением в самом деле, а между сомнением и принятием на веру.

— Да на что же мне принимать на веру какие-нибудь патологические истины, когда я их умом вывожу из законов организма?

— Конечно, было бы не нужно, да ведь ни вы и никто другой не знает этих законов, ну так оно и приходится верить да помнить.

В мире не было человека, менее способного ладить с нашим чудаком, как лекарь, он вовсе не был глуп, но принадлежал к числу тех светлых, практических умов, умов подкожных, так сказать, которые дальше рассудочных категорий и общепринятых мнений не только не идут, но и не могут идти. Он удивлялся, как я мог иной раз артистически наслаждаться разговорами Евгения Николаевича и брать его сторону; я утешал его, говоря: «Свой своему поневоле брат».

— Однако некоторые законы организма нам известны, — возражал защитник наук.

— Какие же, например?

— Мало ли — я не знаю,— да чтобы далеко не искать — вот вам общий закон: все родившееся должно умереть.

— Зачем же?— возразил Евгений Николаевич, —что за долг умирать? Да это и не закон, это так, факт; внутренней необходимости никакой нет в смерти; неужели вы думаете, что медицина не дойдет до того, чтобы продолжать жизнь до бесконечности?

При этом вопросе и я, грешный человек, взглянул на него почти так же, как доктор.

— Я много встречал людей,— заметил я в свою очередь,— верящих и не верящих в бессмертие души, но вы первый, который не верите в смертность тела.

— Как не верить, я не то говорю — я только не вижу никакой серьезной необходимости в смерти. Жить—значит есть окружающее; если пища будет поддерживать химический процесс, он и продолжится. Если пища будет мешать костям каменеть, хрящу делаться костью, крови становиться гуще или жиже, нежели надобно, на что же умирать? Родившееся должно жить;

оно умирает не потому, что родилось, а потому, что не ту пищу нужно. Следует ли теперь из того, что мы плохие повара, что смерть нельзя удалить на бесконечное время? Жизнь лучше не просит, как продолжаться.

— Со стороны послушаешь, точно будто и дело,— сказал Филипп Данилович.— А вот как нам быть с этим, если медицина дойдет до того, что людей будут лечить от смерти; а планета, которая, по-вашему, сильно хиреет, совсем зачахнет и умрет, странное будет положение, переезжать придется на Луну или прямо на Венеру.

Вопрос этот несколько смутил Евгения Николаевича, он задумался, походил по комнате и потом с видом человека, доискавшегося до важного разрешения, ответил:

— Tout bien pris[1] болезнь не так глубока, я, может, ошибался; во-первых, уж то хорошо, что болезнь специальная — один только род человеческий ею поражен. Да и род-то человеческий не весь болен. Это местная болезнь, эндемическая[2], в одной Европе. Так, как холера идет с берегов Инда, чума с берегов Нила, желтая лихорадка с устьев Миссисипи, так болезнь исторического развития идет из Европы. Как только люди коснутся этой проклятой земли, так их мозг и поражается болезнию. С пелазгов, с греков начиная и до нашего времени. Англия разнесла заразу по всему земному шару. Чего Австралия — совсем негодный материк, и тот не оставляют в покое. В Африке жить нельзя европейцу — так по закраине поселились — вот вам за холеру да за чуму, это уж не зуб за зуб, а челюсть за зуб.

— Вы так рассуждаете,— сказал я ему шутя и взяв его за обе руки,— что я нисколько не удивлюсь, если после вашего возвращения Николай Павлович сделает вас министром народного просвещения.

— Не обвиняйте меня, пожалуйста, не обвиняйте,— возразил он с чувством,— и не шутите над моими мыслями. Я сам шутил над Руссо и знаю, как Вольтер ему писал, что учиться ходить на четвереньках поздно. Трудом тяжелым и мученическим дошел я до того, что по-

[1] Приняв все во внимание (*фр.*).

[2] свойственная данной местности (от *греч.* endemos — местный, туземный).

нял, откуда все зло,— понял и сам оробел; я никому не говорил, молчал, но когда страдания и плач людей становились громче и громче, зло очевиднее и очевиднее, тогда я перестал прятать истину. Мы погибшие люди, мы жертвы вековых отклонений и платим за грехи наших праотцев, где нас лечить! Будущие-то поколения, может, опомнятся.

— Итак, à la fin des fins[1], выздоровление человека начнется тогда, когда вместо прогресса люди пойдут вспять с целью зачислиться со временем в орангутанги,— сказал лекарь, закуривая свежую сигару.

— Приблизиться к животным не мешает, после неудачных опытов сделаться ангелами. Все звери рассчитаны по среде, в которой жить должны, перестановки почти всегда гибельны. Речная вода для нас приятнее и чище морской, а пустите в нее какого-нибудь морского моллюска — он умрет. Человек вовсе не так богато одарен природой, как воображает; болезненное развитие его нервов и мозга увлекает его в жизнь, ему не свойственную, высшую, в ней он гибнет, чахнет, мучится. Где люди переломили эту болезнь, там они успокоились, там они довольны и были бы счастливы, если бы их оставляли в покое. Посмотрите на эти ряды поколений где-нибудь в Индии, природа им дала все с избытком, язва государственной и политической жизни прошла, болезненное преобладание ума над другими отправлениями организма утихло; всемирная история их забыла, и они жили так, как людям хорошо живется, так, как людям возможно жить до проклятой Ост-Индской компании, которая все перепортила.

— Впрочем,— заметил лекарь,— толпа почти так и у нас живет.

— Это было бы важнейшее доказательство в мою пользу, то, что вы называете толпой, это-то и есть человеческий род; но толпе не дают жить так, как она хочет,— вот беда-то в чем. Просвещение страшно дорого стоит; государство, религия, солдаты морят с голоду нижние слои; да чтобы окончательно их сгубить, развешивают перед их глазами свои богатства, они развивают в них неестественные вкусы, ненужные потребности и отнимают средства удовлетворения даже необходимых; какое печальное, раздирающее душу положе-

[1] в конце концов (*фр.*).

ние! Снизу кишит задавленное работой, изнуренное голодом население, сверху вянет и выбивается из сил другое население, задавленное мыслию, изнуренное стремлениями, на которые так же мало ответа, как мало хлеба на голод бедных. А между этими двумя болезнями, двумя страданиями, между лихорадкой от другой жизни и чахоткой от сумасшедших нерв, между ними лучший цвет цивилизации, ее балованные дети, единственные люди, кое-как наслаждающиеся, кто же они? Наши помещики средней руки и здешние лавочники. Но природа себя в обиду не дает... она клеймит за измену не хуже всякого палача...— продолжал он, ходя по комнате, и вдруг остановился перед зеркалом:— Ну, посмотрите на эту рожу — ха-ха-ха, ведь это ужасно, сравните любого крестьянина нашего со мной, новая varietas[1], которую Блуменбах проглядел, «кавказско-городская», к ней принадлежат чиновники и лавочники, ученые, дворяне и все эти альбиносы и кретины, которые населяют образованный мир — племя слабое, без мышц, в ревматизме, и притом глупое, злое, мелкое, безобразное, неуклюжее — точь-в-точь я, старик в тридцать пять лет, беспомощный, ненужный, который провел всю жизнь, как кресс-салат, выращенный зимой между двух войлоков — фу, какая гадость! Нет, нет, так продолжаться не может, это слишком нелепо, слишком гнило. К природе... к природе на покой,— полно строить и перестроивать вавилонскую башню общественного устройства; оставить ее, да и кончено, полно домогаться невозможных вещей. Это хорошо влюбленным девочкам мечтать о крыльях, vo einer besseren Natur, von einem andern Sonnenlichte[2]. Пора домой на мягкое ложе, приготовленное природой, на свежий воздух, на дикую волю самоуправства, на могучую свободу безначалия.

— Так это уже просто врассыпную по лесам?— заметил Филипп Данилович.

— Люди всегда будут жить стадами,— ответил докторально наш чудак.

— Евгений Николаевич,— прибавил я,— а ведь как люди-то надуют философию истории и учение о совершенствовании, когда они вылечатся от хронической бо-

[1] разновидность (*лат.*).
[2] о лучшей природе, об ином солнечном сиянии (*нем.*).

лезни historia morbus[1] и начнут жить мирными стадами?

— Да, да,— с восторгом подхватил он,— Кондорсето с своей книжкой, ха! ха!

И Евгений Николаевич, раскрасневшийся в лице, с жилами, налившимися кровью на лбу, вдруг сморщился, сделал серьезный вид и упорно замолчал.

IV

— Вы там что ни толкуйте, Филипп Данилович, а в истории вашего больного есть какие-нибудь странные события, — сказал я раз доктору, гуляя с ним по мраморной террасе у моря.

— Ну да как не быть чего-нибудь, кто же до тридцати пяти лет доживал без каких-либо неприятностей.

— Какие же, однако, были у него неприятности?

— Я важного ничего не знаю. Вы сами видите, какой организм, нервы почти наруже, всякая всячина его раздражает, крови нет, от природы слаб, пищеварение скверное, матери было за сорок лет, когда он родился, да еще по смерти отца, форсепсом полуживого достали. А тут петербургский климат, богатство, английская болезнь, глупое холенье довоспитали. С родными он никогда особенно близок не бывал; оно и не мудрено, он давно уже занимается болезнию земного шара и излечением рода человеческого от истории, а те думают, как бы побольше денег слупить с крестьян. Разумеется, хозяйство шло у него через пень-колоду; сестра жила на его счет и теперь на его счет всю семью содержит, да это его и не заботит, благо конца нет деньгам. Сначала, говорят, он жил покойно, занимался науками, не выходил почти никогда из своей половины, пристрастился к музыке, читал всякую всячину, только на службу никак не хотел. Потом, говорили, какая-то девчонка обманула его и обобрала. Он все становился пасмурнее, тяжелее для окружающих, ипохондрия развивалась, они его и спровадили.

— Какая же это девчонка его обманула?

— У вас так уж в голове и вертятся Вертер и Шар-

[1] болезнь истории (*лат.*).

лотта, письма, пистолеты — мечтатели и вы страшные; успокойтесь, история эта очень проста, Шарлотта была сестрина горничная. Он презастенчивый и отроду не подходил близко к женщине, не знаю уж, как там их бог свел, только, говорят, он ее любил, воображал, что чудо открыл, кантатрису[1], а она как-то, сговорившись с любовником, обокрала его — вот вам и весь роман. Я видел ее перед отъездом, так, неважная, а впрочем, недурна, если бы мы дольше остались в Петербурге, я, так и быть, приволокнулся бы за ней.

Больше я не мог ничего добиться от моего патолога, мне было досадно, что он так, играя, скользит по жизни, досадно, а может, и завидно...

Стройная, высокая генуэзка в черном платье и покрытая белым, длинным, прикрепленным к косе вуалем, шмыгнула мимо нас, незаметно улыбнулась, прищурила глаза и быстро прошла.

— Ah, che bellezza, che bellezza![2] — закричал лекарь.

Она обернулась и поблагодарила его тем грациозным, легким, чисто итальянским движением руки, которым они кланяются, и, как будто этого было мало, кивнула своей прекрасной головкой. Лекарь бросился за ней.

Я оставил его и пошел в Stabilimento della Concordia.

Это самое изящное, самое красивое кафе во всей Европе. Там, бродя между фонтанами, цветами, при гремящей музыке и ослепительном освещении, переходя из мраморных зал в сад и из сада в залы, раскрытые al fresco[3], середь энергических, вороных голов римских изгнанников, середь бесконечных савойских усов и генуэзских породистых красавиц, я продолжал думать о поврежденном.

Вспоминая его речи и рассказ лекаря, я пошел к одному из маленьких столиков в саду и спросил граниту. Увидя меня, человек, сидевший за ближним столом, поспешно встал, выпил наскоро свою рюмку росолио и собрался уйти. Это был слуга Евгения Николаевича, который так по-русски тянулся на козлах.

— Для чего ж вы это идете? Я вам не мешаю, ни вы мне.

---

[1] певицу (от *фр.* cantatrice).

[2] Ах, какая прелесть, какая прелесть! (*ит.*)

[3] настежь (*ит.*).

— Помилуйте-с, — отвечал Спиридон, снявши шляпу, — оно нашему брату не приходится, то есть с господами.

— Ведь вы теперь не в Петербурге и не в Москве. Пожалуйста, наденьте вашу шляпу и останьтесь — или я уйду.

Он остался и надел шляпу, но садиться не хотел никак.

— Да ведь вы сидели же прежде меня, почем вы знаете, кто были ваши соседи, может, князья какие-нибудь? — спросил я.

— Это точно-с. Но ведь вы русские, а те что же — тальянцы-с.

«Voilà mon homme»[1], — подумал я и потребовал у камериера графинчик марсалы и две рюмки.

— Что это ваш Евгений-то Николаевич здоровьем эдак расстроен; жаль его, такой, кажется, хороший человек.

— Это-с, позвольте вам доложить, таких господ на редкость, самый душевный-с характер. Как же не жаль-с, очень даже жаль; мыслями всё расстроиваются... такой нрав-с. Все изволют к сердцу брать и никакой отрады не имеют. Бывало, когда им на душе нехорошо сделается, сядут за клавикорд — то есть так играли, что не уступят любому музыканту в александрынском оркесте. Господа, прекрасно одетые, барыни, настоящие, останавливались иной раз на улице. Бывало, в передней сидишь, сердце радуется, каково наш-то отличается. Иногда так жалобно играют, что даже истома возьмет — отменно играли. Ну, впрочем, как оставили музыку, так больше стали сбиваться, по нашему замечанию.

— Да разве он совсем не играл дома последнее время?

— Больше двух годов-с. Раз София Николаевна, сестрица их, бымши в их комнате, отворили клавикорд и так взяли одну акорду: «Вечерком красна девица». А Евгений Николаевич только глухо сказали: «Зачем это вы, сестрица, боже мой». Да так, как пласт, и упали, потом сделались спазмы, слезы и смех-с — с полчаса продолжалось. Дохтур говорит, нервы у них так расстроены, не могут слышать музыки. Так с тех

[1] Вот нужный мне человек (*фр.*).

пор наш дом и замолк-с. А им все хуже; в лице много перемены, стареют... так жаль, что сказать нельзя, больше все молчат, а иногда слово одно скажут: «Ты устал, чай, Спиридон, поди-ка да ляг», таким трогательным голосом, и взгляд такой доброй у них сделается, и, видно, самим-то им плохо, наболело на сердце; вот те и богатство и все, — иной раз, доложить вам откровенно, слеза прошибет.

— Мне Филипп Данилович говорил, что у Евгения Николаевича какая-то история была с горничной.

— Дело точно было-с. И она, эта самая Ульяна, доводится мне сродни, племянница, сестрина дочь. Наварила каши, чего сама не стоит, — а добрейшая душа была, ей-богу-с. Жаль, что барин тогда так к сердцу приняли и огорчились. Просто дуру следовало проучить, и все тут; и она благодарить стала бы потом, ей всего было лет восемнадцать, какой ум в эти лета, к тому же баловство-с.

— Да в чем же дело-то?

— Извольте видеть, Ульяна эта у Софии Николаевны при комнате находилась, и барыня ее жаловали, умница такая была. Был у нас тоже-с человек Федор, человек пьющий, но, впрочем, играл на скрыпке отменно; только рука уж очень дрожала от горячих напитков, а чести был примерной. Вот Федор этот возьми и обучи песни петь Ульяну, голосом она брала-с и на музыку препонятливая. Так это шло, год-другой, и никто подумать не мог, что за катавасия выйдет. Барин наш слышали несколько раз, как Ульяна поет, и говорят сестрице: «Ведь это клад, дайте ей, мол, вольную, а я ее певицей сделаю». Вот, извольте заметить, какая душа, не хотели, чтобы, обучимшись, крепостной осталась. Сестрица им в глаза смотрели: «Сейчас, мол, Енюша», — и отпускную совершила. Учитель ходил из немцев, иной раз с нами вступал в разговор, шинель когда подаешь или что, приостановится, не гордой был, простой, — вот как вы теперь изволите, примером, со мной разговаривать. «Ну, — говорил он, — а помещик ваш в музыке собаку съел, мне у него учиться приходится, и голос у фрейлен Юльхен оченно прекрасен; да и глаза-то у нее недурны, философ-то ваш знает, где раки зимуют». Ну, так, бывало, посмеемся для балагурства, а то в самом-то деле он у нас вел себя, как красная девица, только к церкви не был прибежен

и постов не соблюдал. Однако мы стали замечать уж и промеж себя, что Евгений Николаевич очень руководствуются Ульяной. Уж и сестрица-то перепужались, что, мол, много воли заберет. Но только она никому вреда никогда не делала и смысла не имела о том; так, детской, пустой нрав, безосновательный — поет себе, бывало, день-деньской да конфект накупит — а грубого слова никто не слыхал, со всеми преласковая была.

К тому случаю у Евгения Николаевича будь камердинером Архип. С детства при них состоял, только был года четыре помоложе, казачком так поступил с малолетства к Евгению Николаевичу на половину. И кто его знает, какой человек, не то что дурной, а безалаберной и нерегулярный. Пить пойдет, весь дом поит до положения риз и с себя все спустит, часы, жилетку, исподнее. Барин его жаловали очень, с детства, например, росли вместе, и что ему давали — невероятно, они же забывчивы. Евгений Николаевич ему верили, как самому себе. Вот этот самый Архип и сбил с толку Ульяну. Мудрено ли глупую девку с ума свести, а уж это до добра в доме никогда не доводит; на стороне разве мало есть, слава богу, этого снадобья довольно, Петербург не клином сошелся. Сначала все шло благополучно, вдруг только случись такая беда, что у нас в доме отродясь не бывало; у барина из шкатулки пропало две тысячи рублев. Евгений Николаевич, изволите видеть сами, какой человек, самый бессчетный, они бы, может, и не догадались, но деньги-то следовало сестрице отдать, они их и приготовили с вечера, утром хвать-похвать, а денег нет. Поднялся в доме гвалт, Архип наш суетится, ищет, платья швыряет, волосы на себе рвет — денег нет. Барин-то и ничего, словно не его дело, но София Николаевна расходилась, говорит, это дело Федьки-музыканта, он все пьян, откуда деньги берет. Так-с женское рассуждение, видите, на вино эдакой куш украл. Взял я смелость и говорю: «Вы меня простите, барыня, а только Федор человек слабый, точно, но вором не будет, я его с малолетства знаю». — «Ты, говорит, молчи да за себя отвечай», — и Федора отправили при записке во вторую адмиралтейскую. Жаль мне стало старика, так мочи нет, сошел я в людскую, да и говорю: «Ребята, если вор дома, следует его сыскать и выдать, а старого человека и невинного не прихо-

дится отдать на терзание, хоша на то и барская воля, но мы в очистку себя и его, вора, поймать должны». Все наши говорят в одно слово — как не сыскать вора, коли дома. Ну, думаю, постой, не уйдешь ты, голубчик, от нашего глаза, а сам пошел наверх и присматриваюсь часок-другой, так, как будто не мое дело. Вижу я-с эдак в Архипе перемену. Э, брат, это не мадель, суетится слишком Архип, ищет после обеда за диваном, изволите знать, у нас что называются турецким диваном, подушки по стене. «Что, мол, ты это, Архип, хлопочешь?» — «Да что, говорит, все эти проклятые деньги, такая беда».—«Да как же, мол, деньгам попасть за диван?» — А он мне в ответ: «Да вот, мол, подите, с полоумного спрашивайте отчет, все побросает, а потом ищи за ним, да еще, чего доброго, скажут, что кто-нибудь украл».

Посмотрел я ему в глаза, вижу — взгляд нехорош, ну, думаю, была не была — то есть Федора мне было смерть жаль, да и на дом похула нехороша — я таки, не говоря худого слова, хвать его в грудь, да и на пол, тут я его коленкой прижал, да и говорю: «Ну, признавайся, мошенник, твое это дело, а других не марай и за себя не губи». Он так оторопел, что ни слова. На этот шум выходит барин. Я ему докладываю: «Батюшка, мол, Евгений Николаевич, извольте меня на поселенье послать, как угодно, а деньгам вашим вор не кто иное, как Архип». — «Да ты, братец, пьян, — барин-то мне в ответ, — оставь его, как вором называть?» — «Нет-с, говорю, воля ваша, а я не пьян и до квартального надзирателя его не пущу. Что Федора, невинного человека, сестрица ваша отправила в часть, это бог рассудит. А вор ваших денег вот».

Барин эдак приостановился, подумал и таким тихим и грустным голосом сказал: «Архип, неужели в самом деле?» Не выдержал Архип, в три ручья залился, рванулся от меня и барину в ноги: «Виноват, говорит, кругом виноват и запираться не намерен. Запутался я в одном нечистом деле, мне приходилось в острог идти или выкупиться,—ну, лукавый подтолкнул меня. Готов я всякое наказание принять, а деньги ваши, Евгений Николаевич, еще целы». При этом он в азарте, расплаканный, вытащил из кармана ассигнации, завернутые в бумажку, и подал.

Барин все время не говорили ни слова, только, взям-

ши деньги, они вздрогнули и вышли вон. А Архип так и взвыл: «Посажу себе пулю в лоб, не хочу больше горе мыкать, лучшего я недостоин; господи, что я наделал, ведь деньги-то были завернуты в Ульянино письмо — сгубил я себя и ее».

«Спиридон»,— позвал барин из кабинета — я взошел. А Архип так и остался на коленях расплаканный, индо самому мне жаль его стало. Барин стояли близь дверей, прислонившись к стене, такой страшной, будто неживой, губы посинели; они два раз хотели что-то сказать — и не могли, голоса не было, — потом они так ручку приложили ко лбу — плохо-с им было. Собрались с силами, наконец, и говорят таким глухим голосом: «Спиридон, никто в доме не знает, что было. Так вот поди сюда, вот отпускная Архипа и еще отпускная,—тут они остановились, однако так и не сказали,— так ты им отдай, да устрой, чтобы сейчас из дому переехали, только сейчас, не мешкая, возьми сколько надобно денег из тех. Да ты, Спиридон, сделай это все помягче, понимаешь; ну, да хорошо, ступай»,— прибавил он, видя, что слова-то не выходят.

Ну, уж как бедная Ульяна плакала, у меня сердце надорвалось. И взять ничего не хотела своего: «У меня ничего, говорит, нет собственного. Хоть бы взглянуть еще раз на него, прощенья бы попросить, руку бы поцеловать. Ведь как добр-то он был ко мне, как ласково смотрел — пусть бы, кажется, побил меня, все лучше бы было». — «Ну, я говорю, послушай, Уля, о том надобно было думать прежде, а теперь убирай-ка свои пожитки». Пока я с ней хлопотал, привел полицейский Федора, и комиссар с ним, говорит: «Сколько мы его ни принимались сечь, не признается, видно, деньги не он украл». Я посмотрел — Федор в лице нехорош. Комиссар говорит барыне: «Следует допросить других, на кого есть подозрение»; она пошла к братцу, что-то по-французски потолковали, вдруг она выходит в зал и говорит комиссару: «Представьте, какой случай: брат мой нашел деньги, мне, право, совестно, что вас даром обеспокоили». — «Помилуйте, это наша обязанность», — говорит комиссар, а она ему красненькую да Федора приказала чаем напоить.

Я вечером взошел с докладом, барин сидел за столом, опершись на обе руки. Увидевши меня, он, как с испуга, вскочил, поднял руку и сказал: «Не нужно».

С тех пор и помину не было об этой истории. Тем дело, почитай, и кончилось. Ну только Федор слег в постель, да месяца через два и помер. Невинную душу загубила София Николаевна. Наше крепостное дело, не приведи бог!

— Я не понимаю в этой истории одного: как же Ульяна могла так сблизиться с Архипом — из ваших слов видно, что она Евгения Николаевича любила.

— Да еще как-с. Вот теперь третий год пошел, как она выбыла из дома. Без слез ни разу не говорила о барине, Архип ей совсем опостылел; он, впрочем, ушел в солдаты охотником, мы об нем не слыхали после. Все ветреность-с и баловство. По нашему простому рассуждению, извольте видеть, Ульяна и не подумала, ей и в голову не приходило, что она барину в самом деле что-нибудь значит. Ведь все же он был барин, не могла же она его не бояться, быть его ровней, не могла эдак вольной дух иметь с ним, как с Архипом, они же по характеру всегда серьезны бывали. Изволите сами знать, молодость кипит, все бы смехи да дурачества. Ну, Архип мелким бесом, бывало, рассыпается—и пляшет, и на торбане играет, и кроновским пивом потчует, и мороженым угощает, — всякой под богом ходит, оно нехорошо потачку давать, но так к слову, по человечеству рассудить, так оно и понятно. В самый день нашего отъезда, утром из ресторации с Сучка, где мы обыкновенно чай пивали, прибегает за мной половой, говорит: «Барыня вас требует какая-то», что, думаю, за пропасть, однако пошел. Смотрю, Ульяна сидит и опять заливается слезами. «Дяденька, говорит, уладьте, как хотите, мне хоть бы взглянуть на Евгения Николаевича, и что у них за сердце за жестокое, что гневаются так долго; меня, говорит, в театр в хористки взяли, ему ведь я обязана, что петь обучил. Хоть бы поблагодарить, слово одно сказать, камень точно на сердце. Да еще Василиса говорит, что и болезнь их все через меня — жизнь мне не мила». Не хотелось мне долго барина беспокоить, но вижу, она никакого интереса не имеет, а сильно кручинится, думаю, что же, головы не снимет. Вхожу в кабинет, Евгений Николаевич, как обыкновенно, сидят в задумчивости, вид ничего, добрый. Я, эдак, немного позамявшись, говорю: «Да вот еще, Евгений Николаевич, я осмелюсь доложить, так уж оченно меня просила»; вдруг у них глаза так сверк-

нули, лицо переменилось. Я поскорее за чемодан. Она потом, бедняжка, в людской спряталась, чтобы в окно взглянуть, когда мы поедем, тут я Филиппу Даниловичу ее показывал...

— Я вам очень, очень благодарен, — сказал я Спиридону, — ну, пойдемте-ка в наше Groce di Malta да выпьемте последнюю рюмку марсалы за здоровье бедной Ульяны. Мне ее жаль, несмотря ни на что.

— Точно-с, не наше дело чужие грехи судить, и за ваше, сударь, здоровье с тем вместе, — прибавил Спиридон...

С.-Елен, возле Ниццы. Зимой 1851



ТРАГЕДИЯ ЗА СТАКАНОМ ГРОГА

Тебе, друг мой Тата,
дарю я этот рассказ
в память нашего свидания
в Неаполе.
28 сентября 1863 г.

Очерки, силуэты, берега беспрерывно возникают и теряются,— вплетаясь своей тенью и своим светом, своей ниткой в общую ткань движущейся с нами картины.

Этот мимо идущий мир, это проходящее, все идет и все не проходит — а остается чем-то *всегдашним*. Мимо идет, видно, *вечное* — оттого оно и не проходит. Оно так и отражается в человеке. В отвлеченной мысли — нормы и законы; в жизни — мерцание едва уловимых частностей и пропадающих форм.

Но в каждой задержанной былинке несущегося вихря те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотах, — и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется.

I

Я искал загородный дом. Утомившись одними и теми же вопросами, одними и теми же ответами, я взошел в трактир, перед которым стоял столб, и на столбе красовался портрет Георга IV — в мантии, шитой на манер той шубы, которую носит бубновый король, в пудре, с взбитыми волосами и с малиновыми щеками. Георг IV, повешенный, как фонарь, и нарисованный на большом железном листе, — не только видом напоминал путнику о близости трактира, но и каким-то нетерпеливым скрежетом петлей, на которых он висел.

Сквозь сени был виден сад и лужайка для игры в шары, — я прошел туда. Все было в порядке, — то есть совершенно так, как бывает в загородных трактирах под Лондоном. Столы и скамьи под трельяжем, раковины в виде руин, цветы, посаженные так, чтоб вышел узор или буква; лавочники сидели за своими столами с супругами (может быть, не с своими) и тяжело напивались пивом, сидельцы и работники играли шарами — тяжести и величины огромного пушечного ядра, не выпуская из рта трубки.

Я спросил стакан грогу, усаживаясь в стойло под трельяжем.

Толстый слуга в очень истертом и узком черяом фраке, в черных и лоснящихся панталонах приподнял голову и вдруг, как обожженный, повернулся в другую сторону и закричал: «Джон, водки и воды в восьмой номер!» Молодой, неловкий и рябой до противности малый принес поднос и поставил передо мной.

Как ни быстро было движение толстого служителя, но лицо его мне показалось знакомо; я посмотрел, — он стоял спиной ко мне, прислонясь к дереву. Фигуру эту я видел... но, как ни ломал себе голову, вспомнить не мог; удрученный, наконец, любопытством и улучив минуту, когда Джон побежал за пивом,—я позвал слугу.

— Yes, sir![1] — отвечал спрятавшийся за дерево слуга, и, как человек, однажды решившийся на трудный, но неотвратимый поступок, как комендант, вынужденный сдать крепость, — он бодро и величественно подошел ко мне, несколько помахивая грязной салфеткой.

Эта величественность и показала мне, что я не ошибся, что я имею дело с старым знакомым.

...Три года тому назад останавливался я на несколько дней в одном аристократическом отеле на Isle of Wight[2]. В Англии эти заведения не отличаются ни хорошим вином, ни изысканной кухней, а обстановкой, рамами и — на первом плане прислугой. Официанты в них совершают службу с важностию наших действительных статских советников прежнего времени—и современных камергеров при немецких *задних* дворах.

Главным Waiter'ом в «Royal Hotel»[3] был человек не-

---

[1] Да, сэр! (*англ.*)
[2] острове Уайт (*англ.*).
[3] официантом в «Королевском отеле» (*англ.*).

приступный, строгий к гостям, взыскательный к живущим, он бывал снисходителен только к людям, привычным к отельной жизни. Новичков он не баловал и вместо ободрения — взглядом обращал назад дерзкий вопрос: «Как могут котлета с картофелем и сыр с латуком стоить пять шиллингов?» Во всем, что он делал, была обдуманность, потому что он ничего не делал спроста. В градусе поворота головой и глазами и в тоне, которым он отвечал «Yes, sir», можно было до мелочи знать лета, общественное положение и количество издерживаемых денег господина, который звал.

Раз, сидя один в кабинете с открытым окном, я его спросил, позволяют ли здесь курить. Он отступил от меня к двери — и, выразительно глядя на потолок, он сказал мне голосом, в котором дрожало негодование:

— Я, sir, не понимаю, sir, что вы спрашиваете?

— Я спрашиваю, можно ли курить здесь? — сказал я, поднимая голос, что всегда удается с вельможами, служащими в Англии за трактирным, а в России за присутственным столом.

Но это был не обыкновенный вельможа, — он выпрямился, но не потерялся, а отвечал мне с видом Каратыгина в Кориолане:

— Не знаю, в мою службу, сэр, этого не случалось, *таких* господ не бывало,—я справлюсь у говернора...[1]

Не нужно и говорить, что «губернатор» велел меня за такую дерзость конвоировать в душный smoking room[2], куда я не пошел.

Несмотря на гордый нрав и на постоянно бдящее чувство своего достоинства и достоинства «Royal Hotel», главный Waiter сделался ко мне благосклонен, и этому я обязан не личным достоинствам, а месту рождения — он узнал, что я русский. Имел ли он понятие о вывозе пеньки, сала, хлеба и казенного леса, я не могу сказать, — но он положительно знал, что Россия высылает за границу огромное количество князей и графов и что у них очень много денег. (Это было до 19 февраля 1861 года.)

Как аристократ по убеждениям, по общественному положению и по инстинктам, — он с удовольствием узнал, что я русский. И, желая поднять себя в моих

---

[1] хозяина (от *англ.* governor).

[2] курительный зал (*англ.*).

глазах и сделать мне приятное, он как-то, грациозно играя листком плюща, висевшего над дверью в сад, обратился ко мне с следующей речью:

— Дней пять тому назад я служил вашему великому князю, — он приезжал с ее величеством из Осборна.

— А!

— Ее величество, His Highness[1], кушали лэнч[2], ваш эрчдюк[3]—очень хороший молодой человек, — прибавил он, одобрительно закрывая глаза, и, ободрив меня таким образом, поднял серебряную крышку, под которой не простывала цветная капуста.

Когда я поехал, он указал мизинцем дворнику на мой дорожный мешок,—но и тут, желая засвидетельствовать свою благосклонность, схватил мою записную книжку и сам ее донес до кэба. Прощаясь, я ему подал гафкрону[4] — сверх взятого за службу, он ее не заметил, и она каким-то чародейством опустилась в карман жилета — такой белизны и крахмальной упругости, которых мы с вами не допросимся у прачки...

— ...Ба! — сказал я, сидя в стойле трактирного сада, служителю, подававшему мне спичку,—да мы старые знакомые!..

Это был *он*.

— Да, я *здесь,*—сказал Waiter—и вовсе не был похож ни на Каратыгина, ни на Кориолана.

Это был человек, разбитый глубоким горем; в его виде, в каждой черте его лица выражалось невыносимое страдание, человек этот был убит несчастьем. Он сконфузил меня. Толстое румяное лицо его, откормленное до арбузной упругости и полноты мясами «Royal Hotel'я», висело теперь неправильными кусками, обозначая как-то мускулы в лице; черные бакенбарды его, подбритые на пол-лице, с необыкновенно удачным выемом к губам, одни остались памятником иного времени.

Он молчал.

— Вот не думал...—сказал я чрезвычайно глупо.

Он посмотрел на меня с видом пойманного на деле преступника и потом окинул глазами сад, деревянные

---

[1] Его величество (*англ.*).
[2] завтрак (от *англ.* lunch).
[3] великий князь (от *англ.* archduke).
[4] полкроны (от *англ.* halfcrown).

скамьи, пиво, шары, сидельцев и работников. В его памяти, очевидно, воскресал богатый стол, за которым сидели русские эрцдюк и ее величество, за которым стоял он сам, благоговейно нагнувшись и глядя в сад, посаженный по кипсеку и вычищенный, как будуар... воскресала вся столовая, с ненужными вазами и кубками, с тяжелыми, толстыми шелковыми занавесками,— и его собственный безукоризненный фрак воскресал, и белые перчатки, которыми он держал серебряный поднос со счетом, приводившим в уныние неопытного путника..

А тут — гам играющих в шары, глиняные трубки, плебейский джинватер[1] и вечное пиво draft[2].

— Тогда, sir, было другое время,—сказал он мне,— а теперь другое!..

— Waiter,—закричал несколько подгулявший сиделец, стуча оловянной стопкой по столу, — пинту гафанаф[3], да скорее, please![4]

Мой старый знакомый взглянул на меня и пошел за пивом, — в его взгляде было столько унижения, стыда, презрения к себе, столько помешательства, предшествующего самоубийству, что у меня мороз пробежал по жилам. Сиделец стал расплачиваться медью, я отвернулся, чтобы не видеть лишний пенс.

Плотина была прорвана,—ему хотелось сказать мне что-нибудь о перевороте, низвергнувшем его из «Royal Hotel'я» в «Георга IV». Он подошел ко мне, без моего зова, и сказал:

— Я очень рад вас видеть в полном здоровье.

— Что нам делается!

— Как это вам вздумалось прогуляться в *наши* захолустья?

— Дом ищу.

— Домов много, вот тут, пройдя шагов десять направо, да еще другой. А насчет того, что со мной случилось, это, точно, замечательно.

Все, что я заработал с малых лет, все погибло,—все до фартинга... Вы, верно, слышали о типерарском банкрутстве — именно тут-то все и погибло. Я в газетах

---

[1] водка (от *англ.* ginwater).

[2] дешевое пиво (*англ.*).

[3] пополам (половину пива, половину водки) (от *англ.* half-and-half).

[4] пожалуйста! (*англ.*)

прочитал, сначала — не поверил, бросился, как поврежденный, к солиситору[1] — тот говорит:

«Оставьте всякое попечение, вы не спасете ничего, а только последнее израсходуете,—вот, например, мне за совет потрудитесь шесть шиллингов шесть пенсов отдать».

Ходил я, ходил по улицам — день целый ходил, — думаю, что ж тут делать, со скалы да и в море — самому утопиться — да и детей утопить, — я даже испугался, когда их встретил. Слег я больным — это в нашем деле первейшее несчастие, — через неделю воротился к службе, — разумеется, лица нет, а внутри словно рана не дает покоя. — Говернор раза два заметил: что вид у меня печальный, что сюда, мол, не с похорон ездят, гости не любят печальные физиономии. А тут середь обеда я уронил блюдо, — отроду подобного случая не бывало, — гости хохочут, а содержатель вечером отзывает меня в сторону и говорит: «Вы уж себе поищите другое место, — у нас нельзя служить невоздержному человеку».

— Как? — говорю я, — я был болен.

— Ну, так и лечитесь,— а здесь для *таких* места нет.

Слово за слово, пошло крупно, — он мне в отместку ославил по всем отелям пьяницей и буяном. Как ни бился, нет места, — переменил я имя, как какой-нибудь вор, и стал искать хоть на время место, — нет как нет; между тем все, даже серьги и брошка жены — ей их подарила герцогиня, у которой она жила четыре года в должности Upperlady-maid[2], — все пошло на крючок. Пришлось закладывать платье — это у нас первая вещь — без платья ни в одно хорошее заведение не примут. Служил я иногда во временных буфетах и в этой бродячей жизни совсем обносился, — я и сам не знаю, как меня принял хозяин «Георга IV», — и он взглянул с отвращением на свой старый фрак.—Кусок хлеба могу для детей заработать, и жена... она теперь... — он приостановился, — она стирает на других, не надобно ли вам, sir, вот карточка... она очень хорошо стирает. А прежде никогда... никогда... она... ну, да что толковать, — где же нищим выбирать работу. Лишь бы *милости* не просить,— а только тяжело...

---

[1] стряпчему, поверенному (от *англ.* solicitor).
[2] старшей горничной (*англ.*).

Слеза, дрожавшая на реснице, блеснула и капнула на его грудь, уже не покрытую жилетом из лубка или латуни с белой эмалью.

— Waiter! — кричали с другой стороны.

— Yes, sir!

Он ушел, и я тоже.

II

Такой искренней, разрушающей боли я давно не видал. Человек этот явным образом подавался под тяжестью удара, разрушившего его существование, и, конечно, страдал не меньше всех падших величин, прибиваемых со всех сторон к английскому берегу...

Не меньше?.. Да полно, так ли? Не больше ли в десять, во сто раз страдал он, чем Людвиг-Филипп, например, живший возле «Георга IV»?

Крупные страдания, перед которыми обыкновенно останавливаются целые столетия, пораженные ужасом и состраданием, большею частью достаются крупным людям. У них бездна сил и бездна врачеваний. Удары топора в дуб раздаются по целому лесу, раненое дерево стоит себе, потряхивая верхушкой, — а трава грядой падает, подрезанная косой, и мы, не замечая, топчем ее ногами, идучи за своим делом. Я нагляделся на столько несчастий, что сознаю себя знатоком, экспертом в этом деле, и потому-то у меня перевернулось сердце при виде обнищавшего слуги, — у меня, видевшего столько *великих нищих*.

...Знаете ли вы, что значит везде, и особенно в Англии, слово *нищий* — beggar, произнесенное им самим? В этом слове заключается все: средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи... всякой защиты, лишение всех прав... даже права просить помощи у ближнего...

...Усталый, оскорбленный, возвращался этот человек в свою конуру из «Георга IV», преследуемый своими воспоминаниями, с своей открытой раной в груди, — и там его встречала старшая горничная герцогини, сделавшаяся, по его милости, прачкой. Сколько раз, должно быть, бессильный, чтоб наложить на себя руки, то есть покинуть детей на голодную смерть, он искал облегченья у единого утешителя бедных и страждущих, у джина, у оклеветанного джина, снявшего на себя

столько бремени, столько горечи и столько жизней, — которых продолжение было бы одно безвыходное страдание, одна боль в невидимой мгле...

... Все это очень хорошо — да почему этот человек не стал выше своего несчастия? В сущности, быть напыщенным лакеем в «Queen's Hotel» или скромным половым «Георга IV» — разница не бог знает какая...

— Для философа, — но он был трактирным слугой, в их числе редко бывают философы, — я помню только двух: Езопа и Ж.-Ж. Руссо, — да и то последний в молодых летах оставил свою профессию. Впрочем, спорить нельзя, гораздо было бы лучше, если б он *мог* стать выше своей беды, — ну а если он *не мог?*

— Да зачем же не мог?

— Ну, уж это вы спрашивайте у Маколея, Лингарда и прочее... а я вам лучше когда-нибудь расскажу о других *нищих*.

Да, я знал *великих нищих* — и потому-то, что я их знал, я и жалею слугу в «Георге IV», — а не их.

1864

СОДЕРЖАНИЕ

Герцен А. И.

Г41 Кто виноват? Повести. Рассказы. — М.: Пищевая пром-сть, 1980. — 288 с.

В книгу вошли образцы художественной прозы А. И. Герцена (1812—1870), художника, революционера, мыслителя: роман «Кто виноват?», повести «Сорока-воровка», «Доктор Крупов» и другие.

Г $\frac{4702010100—145}{044(01)—80}$ **без объявл.**

Александр Иванович Герцен

«КТО ВИНОВАТ?». ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Редактор *Л. И. Воробьева*
Художественный редактор *Н. В. Гусев*
Технический редактор *Т. С. Пронченкова*
Корректор *Р. А. Взорова*

ИБ № 1352

Сдано в набор 03.01.80. Подписано в печать 15.07.80. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Обыкновенно-новая гарнитура. Высокая печать. Объем 9,0 печ. л. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 14,69. Тираж 210 000 экз. (1-й завод 1—160000). Заказ 236. Цена в обложке 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 40 к.

Издательство «Пищевая промышленность», 113035, Москва, М—35, 1-й Кадашевский пер., д. 12

Владимирская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном Комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

1 р. 20 к

